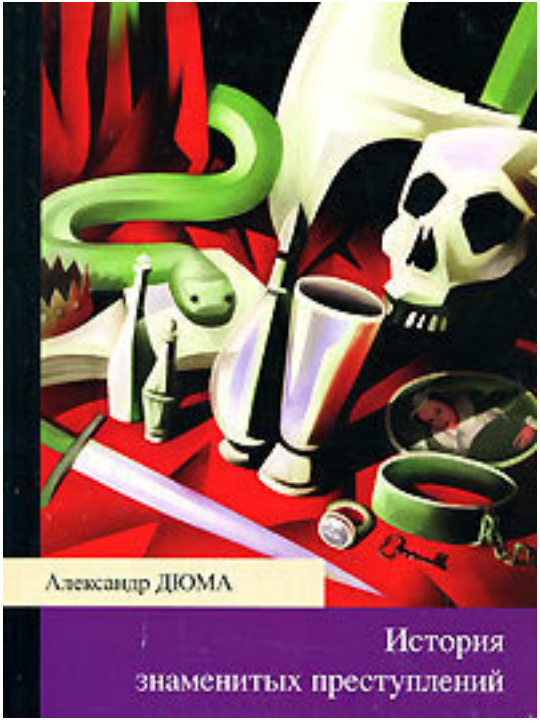

Александр ДЮМА

История знаменитых преступлений

Александр Дюма
История знаменитых преступлений (сборник)

Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=178292
История знаменитых преступлений: Эксмо; Москва; 2007
ISBN 978-5-699-25149-0

Аннотация

«Знаменитые преступления» Александра Дюма-отца, быть может, известны менее его романов, однако не менее значимы в его творчестве. Это собрание интригующих историй о знаменитых преступниках и преступлениях в европейской истории – от эпохи Возрождения до XIX столетия, от Англии до России – представляет читателю живописную и устрашающую картину яростных страстей и ярких событий.

Вся человеческая мудрость заключается в двух словах: ждать и надеяться.

Содержание

Семейство Ченчи 4
Карл Людвиг Занд (1819) 58
Мюрат (1815) 148
Иоанна Неаполитанская (1343–1382) 208

Александр Дюма
История знаменитых преступлений

Семейство Ченчи

Если вы приедете в Рим и, конечно, посетите виллу Памфили, то, поискав там под высокими соснами и у каналов тени и прохлады, которые так редки в столице христианского мира, вы отправитесь на холм Джаникуло по прелестной дороге и на середине ее увидите источник Паолины. Миновав этот памятник и задержавшись на минуту на террасе церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио, возвышающейся над Римом, вы посетите монастырь Браманте[1], в центре которого в небольшой впадине, на том самом месте, где был распят апостол Петр, построен маленький храм, полугреческий-полухристианский; затем через боковую дверь вы войдете в самое церковь. Там чичероне заставит вас посмотреть в первом приделе справа «Бичевание Христа» Себастьяно дель Пьом-

[1] *Браманте, Донато* (1444–1514) – итальянский архитектор. В 1502 г. построил во дворе церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио упоминаемый А. Дюма небольшой храм, называемый Темпьетто, т. е. «храмик», шедевр архитектуры Высокого Возрождения.*(Здесь и далее примеч. переводчиков, кроме специально оговоренных случаев.)*

бо[2], а в третьем приделе слева «Христа во гробе» Фьяминго; дав вам вволю налюбоваться этими двумя шедеврами, он проведет вас по всем четырем концам нефа и трансепта и продемонстрирует в одном картину Сальвиати, писанную в серо-жемчужных тонах, а в другом холст Вазари, потом, приняв скорбный вид, он покажет вам над главным алтарем копию «Мученичества святого Петра» Гвидо и сообщит, что в течение трех столетий здесь любовались «Преображением» божественного Рафаэля, которое в 1809 году было похищено французами, а в 1814 возвращено союзниками папе. Но поскольку вы, очевидно, уже восхищались этим шедевром в Ватикане, не мешайте ему говорить и поищите у алтаря надгробную плиту, которую вы распознаете по кресту и одному-единственному слову «Orate»[3]; под этой плитой погребена Беатриче Ченчи, чья трагическая история, несомненно, произведет на вас глубокое впечатление.

Она была дочерью Франческо Ченчи. И если кто-то верит, что люди рождаются в гармонии со своим временем, причем одни это понимают в хорошем смысле, а другие иначе, то, может быть, нашим читателям будет любопытно бросить взгляд на период, предшествующий тому, когда произошли события, о которых мы намерены рассказать. И тогда Фран-

---

[2] Здесь и ниже Дюма упоминает итальянских художников периода Возрождения: *Себастьяно дель Пьомбо* (1485–1547), *Чекко Росси де Сальвиати* (1510–1563), *Гвидо Рени* (1575–1642), *Джорджо Вазари* (1511–1574).

[3] Молитесь *(лат.)*.

ческо Ченчи предстанет перед ними как дьявольское воплощение своей эпохи.

11 августа 1492 г., после продолжительной агонии Иннокентия VIII[4], во время которой на улицах Рима было совершено двести двадцать убийств, на папский престол взошел Александр VI. Сын сестры папы Каликста III[5], Родриго Ленцоли Борджа, прежде чем стать кардиналом, прижил пятерых детей с римлянкой Ваноццей Катанеи, которую впоследствии выдал замуж за богатого римлянина. Вот его дети:

Джованни, который был герцогом Гандии.

Чезаре, который был епископом, кардиналом, а потом герцогом Валентинуа.

Лукреция, побывав сперва любовницей отца и обоих братьев, четырежды выходила замуж: в первый раз за Джованни Сфорца, владетеля Пезары, которого оставила по причине его импотенции; во второй – за Альфонсо, герцога Бичелья, которого Чезаре приказал убить; в третий за Альфонсо д'Эсте, герцога Феррарского, с которым она также развелась; наконец, в четвертый – за Альфонса Арагонского, который сперва был пронзен кинжалом на ступенях базилики Св. Петра, а через три недели удавлен, так как слишком долго не желал умирать от ран, хотя те были смертельными.

Гофредо, граф Скуиллаче, о котором почти ничего не известно.

---

[4] *Иннокентий VIII* (1432–1492) – римский папа с 1484 г.

[5] *Каликст III (Альфонсо Борха)* – римский папа в 1455–1458 гг.

И наконец, последний, о котором не известно совершенно ничего.

Самым знаменитым из троих братьев был Чезаре Борджа; он все подготовил к тому, чтобы стать после смерти отца королем Италии, и меры были приняты им такие, что не оставалось никаких сомнений в успехе этого грандиозного плана. Предусмотрены были все обстоятельства, кроме одного, но, чтобы предвидеть его, надо было быть дьяволом. Однако пусть читатель судит сам.

Папа пригласил кардинала Адриана отужинать на своем винограднике в Бельведере. Кардинал Адриан был безмерно богат, и папа жаждал стать его наследником, как уже стал наследником кардиналов Сант-Анджело: Капуанского и Моденского. Для этой цели Чезаре Борджа прислал отцовскому кравчему две бутылки отравленного вина, однако не поставил его в известность о том, что оно отравлено, а лишь распорядился подать это вино только тогда, когда будет приказано; к несчастью, кравчий на минуту удалился, а в это время ничего не подозревающий слуга налил вина из одной из этих бутылок папе, Чезаре Борджа и кардиналу Корнето.

Александр VI скончался через несколько часов; Чезаре Борджа долго был прикован к постели, и у него слезла вся кожа; кардинал же Корнето, утратив зрение и способность пользоваться остальными органами чувств, тяжело заболел и уже думал, что умрет.

Александру VI наследовал Пий III; он пробыл на пап-

ском престоле двадцать пять дней, а на двадцать шестой был отравлен.

Чезаре Борджа опирался на восемнадцать испанских кардиналов, которые были обязаны ему избранием в священную коллегию; они безоговорочно стояли за него, и он мог распоряжаться ими, как хотел. Но поскольку он все еще был при смерти и не в силах воспользоваться ими в своих целях, он продал их голоса Джулиано делла Ровере, и тот был избран папой под именем Юлия II. Рим Нерона сменили Афины эпохи Перикла.

Лев X[6] продолжал линию Юлия II, и христианство в период его понтификата приняло языческий характер, что придало эпохе, ежели перейти от искусства к нравам, несколько странный оттенок. Злодеяния мгновенно прекратились, уступив место порокам, но порокам очаровательным, в хорошем вкусе, вроде тех, которым предавался Алкивиад[7] и которые воспевал Катулл[8]. Лев X умер, пробыв на папском престоле восемь лет восемь месяцев и девятнадцать дней и собрав за это время в Риме Микеланджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Корреджо, Тициана, Андреа дель Сарто, Фрате, Джулио Романо, Ариосто, Гвиччардини и Макиавелли[9].

---

[6] *Лев X (Джованни Медичи)* (1475–1521) избран папой на конклаве в 1513 г.

[7] *Алкивиад* (451–404 до н. э.) – афинский государственный деятель и полководец, ему приписывается склонность к мужеложству.

[8] *Гай Валерий Катулл* (ок. 87 – ок. 54 до н. э.) – римский поэт.

[9] *Корреджо (Аллегро) Антонио* (ок. 1489–1534); *Тициан Тициано Вечелли)* (ок. 1476/1477—1576); *Андреа дель Сарто* (1486–1530); *Фрате* – прозвище *Барто-*

После его смерти за избрание соперничали Джулио Медичи и Помпео Колонна. Поскольку оба были опытные политики и ловкие царедворцы, а кроме того, практически равны по своим достоинствам, ни один из них долго не мог получить большинства, и конклав все длился, к великому неудовольствию кардиналов. И вот однажды некий кардинал, видимо утомившийся более других, предложил вместо Медичи или Колонны избрать сына, одни говорят, ткача, а другие – пивовара из Утрехта, о котором никто до сей поры и не думал и который в ту пору был, в отсутствие Карла V, правителем Испанского королевства. Шутка имела успех; кардиналы обрадовались предложению, и вот так, по чистой случайности, Адриан[10] стал папой.

То был подлинный фламандец, не знавший ни слова по-итальянски. Когда он прибыл в Рим и увидел шедевры греческих ваятелей, с огромными затратами собранные Львом X, то хотел отдать приказ разбить их, воскликнув: «Sunt idola antiquorum!»[11] Первейшей его заботой была посылка на им-

---

ломмео делла Порта (1472 или 1475–1517); *Джулио Романо (Джулио Пиппи)* (1492 или 1499–1546) – итальянские художники, работавшие в Риме. *Ариосто, Лудовико* (1474–1533) – итальянский поэт, автор поэмы «Неистовый Роланд». *Гвиччардини, Франческо* (1483–1540) – итальянский философ-гуманист, историк («История Италии»). *Макиавелли, Никколо* (1469–1527) – итальянский политический мыслитель, писатель, сторонник объединения Италии.

[10] *Адриан Дедел* (1459–1523) – воспитатель императора Священной Римской империи Карла V, по настоянию которого в 1522 г. он был избран папой под именем Адриана VI.

[11] Это же древние идолы! *(лат.)*

перский сейм в Нюрнберг, собравшийся по причине вызванного Лютером возмущения, нунция Франческо Керегати с инструкциями, которые вполне дают представление о нравах той эпохи.

«Чистосердечно признайте, – велел папа, – что Господь попустил сей раскол и смятение по причине грехов людей, особливо священнослужителей и князей церкви, ибо ведомо нам, что в курии происходит множество мерзостей».

Адриан хотел вернуть римлян к простым и строгим нравам времен раннего христианства и с этой целью подготовил разработанную до мелочей реформу. К примеру, из ста конюхов, которые были у Льва X, он оставил только двенадцать, и то лишь затем, чтобы, как он сказал, иметь на два конюха больше, чем у кардиналов.

Такой папа не мог долго править и умер через год после избрания. Назавтра после смерти дверь дома папского врача была украшена цветочными гирляндами с надписью: «Избавителю отечества».

Джулио Медичи и Помпео Колонна вновь вступили в соперничество. Опять начались интриги, конклав опять разделился, причем до такой степени, что кардиналы стали уже подумывать, а не стоит ли, дабы выйти из создавшегося положения, снова прибегнуть к однажды использованному средству, то есть избрать третье лицо; уже стали поговаривать о кардинале Орсини, но тут Джулио Медичи придумал достаточно невинную уловку. Ему не хватало пяти голосов;

пять его сторонников предложили пяти сторонникам Колонны пари: они ставили сто тысяч дукатов против десяти тысяч, что Джулио Медичи не будет избран. В первом же после этого пари туре выборов Джулио Медичи получил пять недостававших ему голосов, но претензий тут никаких быть не могло: кардиналы отнюдь не продали голоса, они всего-навсего заключили пари.

В результате 18 ноября 1523 года Джулио Медичи был провозглашен папой под именем Климента VII. В тот же день он благородно уплатил пятьсот тысяч дукатов, проигранных его сторонниками.

В его понтификат, в один из тех семи месяцев, когда Рим, взятый солдатами-лютеранами коннетабля де Бурбона[12], с ужасом взирал, как оскверняются самые святые реликвии, родился Франческо Ченчи.

Он был сыном мессира Ченчи, апостолического казначея в понтификате Пия V. Этот папа куда больше был занят духовными вопросами, нежели мирскими делами своего государства, и Никколо Ченчи весьма успешно воспользовался безразличием святейшего отца к светской стороне жизни, сколотив себе состояние, дававшее доход в сто шестьдесят

---

[12] *Герцог де БурбонШарль* (1490–1527) – коннетабль (главнокомандующий войсками) французского короля Франциска I, вступил в тайные сношения с императором Карлом V и после разоблачения бежал к испанцам, был назначен императором командующим имперской армией в Италии, в 1527 г. осадил Рим и во время осады был убит. Имперские войска, состоявшие по большей части из немецких наемников, взяли город и подвергли его чудовищному разграблению.

тысяч пиастров, то есть в два с половиной миллиона франков по теперешнему курсу. Франческо Ченчи, бывший его единственным сыном, унаследовал все это богатство.

Юность его прошла при папах, которые так были заняты лютеровой схизмой, что у них просто не было времени подумать о чем-либо другом. Поэтому дон Франческо Ченчи, родившись с дурными задатками и будучи притом обладателем огромного состояния, которое обеспечивало ему безнаказанность, имел возможность следовать всем побуждениям своего пылкого и необузданного темперамента. Трижды оказавшись в тюрьме по причине своих гнусных любовных наклонностей, он выходил из нее, платя за это примерно по двести тысяч пиастров, то есть три миллиона франков. Надо заметить, что в ту эпоху папы крайне нуждались в деньгах.

Серьезно начали заниматься Франческо Ченчи при папе Григории XIII[13]. И то сказать, понтификат наилучшим образом подходил для того, чтобы добиться дурной славы, к которой стремился этот странный донжуан. В правление болонца Бонкомпаньи в Риме было позволено все при условии, что человек мог заплатить и убийце и судьям. Насилие и душегубство стали настолько обычным делом, что правосудие практически не занималось подобными пустяками, ежели на месте не оказывалось никого, чтобы преследовать преступника; зато Господь вознаградил доброго Григория XIII за его

---

[13] *Григорий XIII (Уго Бонкомпаньи)* (1512–1586) – папа с 1572 г., ввел современный (григорианский) календарь.

снисходительность – доставил ему радость узреть Варфоломеевскую ночь.

В ту пору Франческо Ченчи было уже года сорок четыре – сорок пять; росту он был около пяти футов четырех дюймов, хорошо сложен и очень силен, хотя с виду худощав. Волосы у него были с проседью, глаза большие и выразительные, правда, верхние веки несколько тяжеловаты, нос длинный, губы тонкие, улыбка приятная; впрочем, она очень легко меняла выражение и становилась злобной, ежели его взгляд встречал врага; тогда, а равно при незначительном даже волнении или гневе его начинала бить нервическая дрожь, которая продолжалась, хотя и куда слабее, еще долго после того, как приступ, вызвавший ее, прекращался. Ловкий во всех телесных упражнениях, особенно в верховой езде, он неоднократно проезжал из Рима в Неаполь без остановки, хотя расстояние между этими городами составляет сорок одно лье, причем ехал через леса Сан-Джермано и Понтинские болота, ничуть не тревожась из-за разбойников, а ведь несколько раз он этот путь проделывал один, вооруженный только шпагой или кинжалом. Когда конь его падал от усталости, он покупал другого, а ежели продавать не хотели – брал силой; в случае сопротивления наносил удар, и всегда сталью, а не кулаком. Впрочем, поскольку во всех владениях, принадлежащих его святейшеству, хорошо знали и самого Ченчи, и его щедрость, никто не противился его воле – одни движимые страхом, другие корыстью. Нечестивец, богохульник и

атеист, он никогда не ходил в церковь, а уж если заглядывал туда, то лишь ради какого-нибудь богохульства. Ходили толки, что он жаден до всяких нелепостей и несообразностей и что нет такого преступления, которого он не совершил бы, ежели полагал, что оно позволит ему испытать какое-нибудь новое ощущение.

В возрасте около сорока пяти лет он женился на одной очень богатой женщине, имени которой не приводит ни один из хронистов. Она скончалась, оставив ему семь детей – пятерых сыновей и двух дочек. После ее смерти он женился вторым браком на Лукреции Петрони; у нее была ослепительно белая кожа, и она являла собой совершенный тип римской красоты. Второй его брак был бездетным.

Франческо Ченчи ненавидел своих отпрысков, как если бы ему были совершенно чужды все естественные человеческие чувства, и даже не пытался скрывать ненависть, которую к ним питал. Он велел построить во дворе своего великолепного дворца, расположенного неподалеку от берега Тибра, церковь во имя св. Фомы и однажды, велев архитектору показать план склепа, бросил: «Вот сюда я надеюсь всех их уложить». Архитектор впоследствии признавался, что пришел в ужас от зловещего смеха, каким Франческо Ченчи сопроводил свое высказывание, и что, если бы не большие деньги, которые ему предстояло получить, он тут же отказался бы продолжать строительство.

Чуть только старшие его сыновья Джакомо, Кристофоро

и Рокко выросли, он тут же отослал их в Испанию в Саламанкский университет; очевидно, Франческо полагал, что достаточно их удалить – и он навсегда избавится от них; едва они уехали, он перестал думать о них и даже посылать им содержание. После нескольких месяцев борьбы с нищетой трем несчастным юношам пришлось покинуть Саламанку; пешком, босые, прося по пути подаяние, они пересекли всю Францию и Италию, возвратились в Рим и обнаружили, что отец стал еще более суровым, непримиримым, жестоким, чем прежде.

То были первые годы правления Климента VIII[14], славившегося справедливостью. Молодые люди решили обратиться к нему с прошением, чтобы его святейшество повелел их отцу назначить им из своих огромных богатств хотя бы небольшую пенсию. Они приехали во Фраскати, где папа строил прекрасную виллу Альдобрандини, и представили ему свою просьбу; папа признал их правоту и повелел Франческо выплачивать каждому из них пенсию в две тысячи экю. Франческо всеми правдами и неправдами пытался обойти это решение, но получил настолько точный приказ, что ему оставалось только подчиниться.

Как раз в это время он в третий раз был заключен в тюрьму за свои гнусные любовные похождения. Трое его сыновей вновь обратились к папе, утверждая, что отец бесчестит их

---

[14] *Климент VIII (Ипполито Альдобрандини)* (1536–1605) – римский папа с 1592 г.

имя, и умоляя применить к нему закон во всей его строгости. Папа счел такой поступок сыновей чудовищным и с позором прогнал их с глаз. Франческо же и на этот раз, как дважды до этого, уплатив большие деньги, вышел из тюрьмы.

Само собой разумеется, подобные прошения не способствовали тому, чтобы ненависть, какую испытывал Франческо к своим детям, превратилась в любовь, но поскольку сыновья, обретшие независимость благодаря получаемой ими пенсии, имели возможность избежать злобы отца, гнев его обратился на двух несчастных дочерей. Вскоре их положение стало до такой степени невыносимым, что старшая, хотя за ней был очень суровый надзор, сумела переслать папе слезное прошение, в котором рассказывала о чудовищном обращении с нею и умоляла его святейшество выдать ее замуж либо поместить в монастырь. Климент VIII сжалился над ней; он заставил Франческо Ченчи дать дочери в приданое шестьдесят тысяч экю и выдал ее за Карло Габриелли из благородного рода Губбио. Франческо чуть было не сошел с ума от злости, что у него вырвали эту жертву.

К тому времени смерть освободила его от двух детей; Рокко, а примерно год спустя и Кристофоро были убиты: один – колбасником, имя которого не сохранилось; второй – Паоло Корсо ди Масса. Это хоть в какой-то мере утешило Франческо, который и после смерти преследовал сыновей своей скаредностью: он объявил священникам, что не возместит церкви ни гроша из расходов на похороны. Умерших опустили в

склеп, который Франческо сам приготовил для них, в гробах, предназначенных для нищих; увидев их, лежащих рядом, он воскликнул, что уже вполне счастлив, поскольку избавился от двух столь мерзких тварей, но полное счастье изведает, только когда остальные пятеро детей улягутся рядышком с первыми двумя, а когда умрет последний, он в знак радости устроит иллюминацию у себя во дворце, предав его огню.

Тем не менее Франческо принял все предосторожности, чтобы вторая дочь его Беатриче Ченчи не последовала примеру старшей. В ту пору Беатриче было лет двенадцать-тринадцать, она была прекрасна и невинна, как ангел. Длинные светлые волосы того дивного оттенка, который настолько редок в Италии, что Рафаэль почитал его божественным и придавал всем своим мадоннам, обрамляли лицо восхитительного очертания и крупными кудрями струились у нее по плечам; лазурно-голубые глаза сияли небесной добротой; она была среднего роста, но сложена очень пропорционально, и в те редкие мгновения, когда не плакала и могла высказать свой природный нрав, становилось ясно, что у нее живой, жизнерадостный, ласковый, но в то же время твердый характер.

Для вящего своего спокойствия Франческо держал ее взаперти в комнате, отделенной от остального дворца, и ключ от этой комнаты был только у него. Каждый день этот странный, непреклонный тюремщик навещал ее, принося еду. До того как ей исполнилось тринадцать лет, Франческо был с

нею неумолимо суров, но вскоре, к удивлению несчастной Беатриче, стал ласковей. А произошло это потому, что Беатриче из ребенка превратилась в девушку, ее красота раскрылась, как цветок, и Франческо, не страшившийся никакого преступления, остановил на ней похотливый взор, кровосмесительный выбор.

Само собой разумеется, что при том воспитании, какое получила Беатриче, лишенная общения с людьми и даже с мачехой, она пребывала в полном неведении относительно добра и зла, и погубить ее было легче, нежели кого-либо другого; тем не менее Франческо, чтобы добиться своей дьявольской цели, пустил в ход всю свою изобретательность.

В течение некоторого времени Беатриче каждую ночь просыпалась от сладостной музыки, доносившейся, казалось ей, из рая. Когда она заговорила об этом с отцом, он не разрушил ее иллюзию и только добавил, что ежели она будет ласковой и покорной, то по особой милости Господа не только услышит райскую музыку, но и увидит сам рай.

Действительно, однажды ночью, когда Беатриче, лежа в постели, внимала чарующей гармонии, дверь ее комнаты внезапно растворилась, и взгляд ее из темноты проник в ярко освещенные залы, наполненные ароматами, какие вдыхаешь в снах; по залам прохаживались прекрасные юноши и женщины, излучавшие, казалось, радость и счастье; они были полунагие, как на виденных ею полотнах Гвидо и Рафаэля; то были миньоны и фаворитки Франческо, который при

своем поистине королевском богатстве каждую ночь устраивал оргии, подобные оргиям Александра Борджа на свадьбах Лукреции и распутству Тиберия[15] на Капри. Через час дверь затворилась, скрыв соблазнительные картины и оставив Беатриче в изумлении и тревоге.

Следующей ночью все повторилось с той лишь разницей, что на сей раз Франческо вошел в комнату дочери и пригласил ее принять участие в празднестве. Франческо был голый. Сама не зная почему, Беатриче поняла, что поступит скверно, уступив настояниям отца, и ответила, что не видит среди этих женщин Лукрецию Петрони, свою мачеху, а потому не смеет встать с постели и выйти к незнакомым людям. Франческо угрожал и умолял, но и угрозы, и мольбы оказались безуспешными. Беатриче завернулась в простыни и наотрез отказалась подчиниться отцу.

Назавтра она легла в постель одетая. В обычный час дверь отворилась, и Беатриче вновь увидела ту же картину. Но теперь среди женщин, прогуливавшихся у дверей Беатриче, была и Лукреция Петрони: муж силой принудил ее к этому позору. Беатриче находилась слишком далеко, чтобы видеть ее слезы и краску стыда. Франческо указал дочери на мачеху, которую она тщетно искала вчера, и поскольку девочке нечего было возразить, он повел ее, зардевшуюся и смущенную, туда, где происходила оргия.

---

[15] *Тиберий* (42 г. до н. э. – 37 г. н. э.) – римский император с 14 г. н. э. С 26 г. безвыездно пребывал на о. Капри.

Там Беатриче увидела вещи доселе неведомые и омерзительные!

Тем не менее она долго сопротивлялась: некий внутренний голос подсказывал ей, что все это чудовищно, но Франческо была свойственна неспешная настойчивость демона. Эти картины, которые, как он полагал, способны пробудить чувственность девочки, он сопровождал и лживыми измышлениями, дабы ввести ее в заблуждение; он говорил ей, что все величайшие святые, которых чтит христианская церковь, рождены от сожительства отца с дочерью, и Беатриче совершила преступление, даже не подозревая, какой это грех.

С тех пор грубости и свирепости Франческо не было предела: он принудил Лукрецию и Беатриче одновременно делить с ним ложе, пригрозив жене убить ее, если она хоть словом обмолвится дочери, сколь чудовищно такое совместное сожительство. Так все и продолжалось в течение почти трех лет.

И тут Франческо потребовалось на время уехать, и женщины остались одни. Первое, что сделала Лукреция, – открыла Беатриче глаза на всю постыдность их жизни; и тогда они написали папе совместное прошение, в котором рассказывали, сколько им пришлось вынести издевательств и побоев. Однако Франческо Ченчи принял перед отъездом меры предосторожности: все, кто окружал папу, были либо подкуплены, либо надеялись на мзду. Жалоба не дошла до его святейшества, и несчастные женщины, припомнив, как Кли-

мент VIII некогда прогнал с глаз Джакомо, Кристофоро и Рокко, решили, что они тоже лишены покровительства закона, и больше уже ни на что не надеялись.

Тем временем, пользуясь отсутствием отца, их навестил Джакомо и привел с собой своего друга, аббата по фамилии Гуэрра; то был молодой человек лет двадцати пяти – двадцати шести, принадлежавший к одному из самых знатных римских родов, обладавший пылким, решительным и отважным нравом, а что касается внешности, то молва о его красоте была на устах всех женщин. У него были крупные римские черты лица, поразительно ласковые синие глаза, длинные светлые волосы и при этом темно-русые борода и брови; добавьте к этому обширные знания, обаятельное природное красноречие, проникновенный мягкий голос, и вы будете иметь представление об аббате Гуэрре.

Он влюбился в Беатриче с первого взгляда. Девушка тоже прониклась симпатией к красавцу-прелату. Дело происходило до Тридентского собора[16], и духовные лица еще могли вступать в брак. Было договорено, что после возвращения Франческо аббат Гуэрра попросит у него руки дочери, и обе женщины, счастливые отсутствием их господина, строили планы на лучшее будущее.

Месяца через четыре возвратился Франческо, причем ни-

---

[16] *Тридентский собор* – вселенский собор католической церкви, заседавший в 1545–1563 гг. в г. Тренто (*лат.* Тридентум), на котором были проведены значительные церковные реформы.

кто не знал, что он делал все это время. В первую же ночь он пожелал предаться кровосмесительным забавам с дочерью, однако Беатриче была уже не та: вместо боязливого, покорного ребенка он увидел возмущенную девушку; на нее не действовали ни мольбы, ни угрозы, ни побои: любовь придала ей силы.

Гнев Франческо пал на жену; обвинив ее в том, что она его предала, он жестоко избил ее палкой. Лукреция Петрони была истинной римской волчицей, страстной и в любви, и в мщении; она все вытерпела, но ничего не простила.

И вот спустя несколько дней аббат Гуэрра явился к Франческо Ченчи с намерением просить руки его дочери. Гуэрра был богат, молод, красив, происходил из благородной семьи, так что у него не было никаких сомнений в положительном ответе, и однако Франческо грубо выпроводил его. Тем не менее отказ не обескуражил молодого человека, он возобновил попытку еще раз, а затем и в третий, доказывая все преимущества этого брака. Наконец потерявший терпение Франческо объявил, что есть одна важная причина, по которой Беатриче никогда не станет женой Гуэрры, равно как и ничьей другой. Гуэрра поинтересовался, что же это за причина, и Франческо ответил:

– Потому что она моя любовница.

Услышав такой ответ, монсеньор Гуэрра побледнел и поначалу не хотел верить, однако, увидев, какой улыбкой Франческо Ченчи сопроводил свои слова, понял: это правда,

как она ни чудовищна.

Три дня понадобилось Гуэрре, чтобы проникнуть к Беатриче, и наконец он увиделся с нею. Он еще надеялся, что Беатриче скажет, что отец солгал, однако она ничего не стала отрицать. С этой минуты для влюбленных не осталось никакой надежды: их разделила непреодолимая пропасть. Молодые люди расстались в слезах, поклявшись вечно любить друг друга.

Между тем обе женщины еще не приняли никакого преступного решения, и, возможно, все так бы и пошло без шума и огласки, если бы однажды ночью Франческо не вошел в комнату к дочери и вновь не принудил силой к греху кровосмешения. Тем самым он подписал себе приговор.

Мы уже говорили, Беатриче принадлежала к существам, способным и на самые темные, и на самые светлые чувства, она могла вознестись и на вершины добра, и пасть в бездну зла. Она обратилась к мачехе и поведала ей о новом осквернении, жертвой которого стала; рассказ напомнил Лукреции, как муж избил ее, и обе женщины, наперебой растравляя обиды друг друга, решили убить Франческо.

На совет относительно убийства позвали Гуэрру. Сердце его было исполнено ненависти, он думал только о мести. Гуэрра вызвался привести Джакомо Ченчи, без которого женщины не соглашались приступать к решительным действиям, поскольку он, как старший сын, был главой семьи. Джакомо Ченчи сразу же согласился вступить в заго-

вор. Как помнят читатели, некогда Джакомо сам страдал от отца; впоследствии он женился, и неумолимый старик оставил его вместе с женой и детьми в бедности. Для обсуждения подробностей были выбраны апартаменты монсеньора Гуэрры. Джакомо нашел одного сбира[17], которого звали Марцио, второго, по имени Олимпио, нашел Гуэрра.

У обоих были причины пойти на преступление: у одного это была любовь, у второго – ненависть. Марцио был в услужении у Джакомо, имел возможность видеть Беатриче, в которую и влюбился; эта, само собой разумеется, безмолвная, безнадежная любовь терзала ему душу. Подумав, что преступление как-то приблизит его к Беатриче, он согласился без раздумий.

Что же касается Олимпио, он ненавидел Франческо, потому что из-за него потерял место кастеляна замка-крепости Рокка Петрелла, находящегося в Неаполитанском королевстве и принадлежащего князю Колонна. Почти каждый год Франческо Ченчи с семейством проводил несколько месяцев в Рокка Петрелле: князь Колонна, высокородный и блистательный вельможа, частенько испытывал нужду в деньгах и находил их в кошельке Франческо, а посему был весьма предупредителен к своему другу. Франческо, имевший какие-то причины для недовольства Олимпио, пожаловался на него князю Колонна, и Олимпио прогнали.

---

[17] *Сбир* в итальянском языке имеет два значения: полицейский и, как в данном случае, наемный убийца.

И вот к какому пришли решению после неоднократных встреч и обсуждений, в которых участвовали обе женщины, Джакомо, Гуэрра, Марцио и Олимпио, и каждый высказал свое мнение.

Приближалась пора, когда Франческо Ченчи обычно уезжал в Рокка Петреллу; было решено, что Олимпио, прекрасно знающий те места, наберет дюжину разбойников; получив весть, что Франческо выехал, они спрячутся в придорожном лесу, нападут и захватят его вместе со всем семейством. Затем, договорившись о большом выкупе, детей отпустят в Рим собрать деньги, однако те изобразят дело так, будто денег не смогли найти, пропустят установленный разбойниками срок, и Франческо убьют. Таким образом подлинные убийцы уйдут из-под подозрения и избегнут кары.

Однако прекрасно продуманный замысел не удался. Когда Франческо выехал из Рима, посланец заговорщиков не сумел найти разбойников, те, не получив вовремя предупреждения, не смогли исполнить уговор и слишком поздно спустились с гор на дорогу. К тому времени Франческо уже проехал и, целый и невредимый, прибыл в Рокка Петреллу. Разбойники, безрезультатно прождав в укрытии, сообразили, что добыча от них ускользнула, и, не желая более оставаться в местности, где пробыли уже почти неделю, сочли за лучшее поискать более верное дело.

Поселившись в крепости, Франческо, дабы беспрепятственно тиранить женщин, отослал в Рим Джакомо вместе с

двумя другими еще оставшимися в живых сыновьями. После этого он опять возобновил гнусные посягательства на Беатриче, причем столь настойчиво, что она приняла решение сама совершить то, что прежде хотела исполнить чужими руками.

Олимпио и Марцио, которым нечего было бояться правосудия, продолжали бродить в окрестностях; однажды Беатриче увидела их из окна и дала знак, что хочет им кое-что сообщить. Ночью Олимпио, который некогда был кастеляном крепости и знал все ходы-выходы в ней, проник туда вместе со своим сотоварищем. Беатриче ждала их у окошка, выходящего в один из уединенных двориков; она передала им письма к монсеньору Гуэрре и Джакомо. Джакомо должен был, как и в первый раз, подтвердить свое согласие на убийство отца, без этого Беатриче не хотела ничего предпринимать. Монсеньор Гуэрра должен был уплатить тысячу пиастров, половину суммы, причитающейся Олимпио, ну а Марцио действовал из любви к Беатриче, перед которой он благоговел, как перед Мадонной; видя это, девушка подарила ему алый плащ, обшитый золотым галуном, и велела носить его, ежели он любит ее. Остаток же суммы женщины намеревались уплатить после смерти старика, когда вступят во владение его состоянием.

Сбиры уехали, и пленницы с тревогой стали ждать их возвращения. В условленный день Олимпио и Марцио вернулись. Монсеньор Гуэрра дал тысячу пиастров, а Джакомо –

согласие. Итак, ничто не препятствовало исполнению чудовищного замысла, и уже была назначена дата – восьмое сентября, день Рождества Пресвятой Богородицы, но синьора Лукреция, будучи весьма набожной, обратила внимание на это обстоятельство и не захотела совершать двойной грех, так что все было передвинуто на девятое.

И вот 9 сентября 1598 года женщины, ужиная со стариком, подлили ему в бокал опиума, причем так ловко, что при всей своей подозрительности он ничего не заметил, выпил снотворный напиток и вскоре заснул глубоким сном.

Марцио и Олимпио были в крепости, они прятались в ней всю прошлую ночь и весь день, поскольку, как помнят читатели, убийство было назначено на предыдущий день и тогда же и произошло бы, если бы не религиозная щепетильность синьоры Лукреции Петрони. Около полуночи Беатриче вывела убийц из их укрытия и впустила в спальню отца, собственной рукой распахнув перед ними дверь. Убийцы вошли, а женщины остались ждать в соседней комнате.

Через несколько секунд сбиры вышли бледные и растерянные; не произнося ни слова, они отрицательно покачали головами, и женщины поняли – ничего не сделано.

– В чем дело? – спросила Беатриче. – Что остановило вас?

– То, что убивать спящего старика – подлость. Мы подумали про его возраст и почувствовали жалость.

Беатриче презрительно вскинула голову и глухим, сдавленным голосом выбранила их:

– Вы, мужчины, притворяющиеся храбрыми и сильными, побоялись убить спящего старика! А что было бы, если бы он проснулся? И за это вы еще берете у нас деньги! Что ж, ваша трусость придала мне силы, и я сама убью своего отца, но помните, вы ненамного переживете его.

После таких слов сбиры устыдились своей слабости и, сделав знак, что исполнят обещанное, вошли в спальню в сопровождении обеих женщин. Лунный свет падал в открытое окошко на безмятежное лицо спящего старика, чьи седины совсем недавно вынудили убийц отступиться от задуманного.

Но на сей раз они подавили в себе жалость. Один из них держал два больших гвоздя наподобие тех, какими воспользовались при распятии Христа, а второй – молоток; первый вертикально приставил гвоздь к глазу Франческо, второй ударил по нему молотком, и гвоздь вошел в голову. Еще один гвоздь они вбили в горло, и душа Франческо, отягченная множеством грехов, которые он совершил в жизни, стремительно и неистово вырвалась из тела, конвульсивно дергавшегося на полу, куда оно скатилось.

После этого Беатриче, верная слову, вручила сбирам туго набитый кошелек с остатком условленной платы и отпустила их.

Как только Олимпио и Марцио ушли, женщины вырвали гвозди из ран, завернули труп в простыню и через все комнаты потащили к небольшой терраске, откуда намеревались

сбросить его в заброшенный сад. Тем самым они надеялись создать впечатление, будто старик погиб, пойдя среди ночи в нужник, расположенный на другом конце галереи. У дверей последней комнаты силы оставили их, они решили минуту передохнуть, и тут Лукреция увидела обоих сбиров, которые еще не успели уйти и делили деньги. Она позвала их на помощь; Марцио и Олимпио перетащили труп на террасу и с места, указанного Беатриче, сбросили труп в заросли бузины, где он и застрял в ветвях.

Все получилось так, как и предвидели Беатриче и ее мачеха; утром обнаружили труп, застрявший в ветвях бузины, и все решили, что Франческо оступился на террасе (на ней не было парапета), упал и убился. На теле у него было множество ран, и никто не обратил внимания на те, что оставлены были гвоздями. Женщины, как только им сообщили эту весть, выбежали, издавая горестные вопли и заливаясь слезами, так что если у кого-то и могли возникнуть подозрения, столь неподдельное и глубокое горе тут же должно было их рассеять; но подозрений ни у кого и не появилось, если не считать за́мковой прачки: Беатриче дала ей постирать простыню, в которую был завернут труп Франческо, сказав, что ночью у нее случилось сильное кровотечение, отчего и запачкалась простыня. Прачка то ли поверила ей, то ли сделала вид, будто поверила; во всяком случае, тогда она ни словом не высказала ни сомнения, ни удивления. Прошли похороны, и женщины без всякой спешки возвратились в Рим,

где собирались наконец-то зажить спокойной жизнью.

И пока они жили без страхов, хотя, возможно, и не без угрызений совести, начало свое дело правосудие Божие. Суд Неаполя узнал о скоропостижной и неожиданной смерти Франческо Ченчи и, заподозрив, что она была насильственной, направил в Петреллу королевского комиссара с приказанием произвести эксгумацию тела и отыскать на нем следы убийства, ежели таковое действительно имело место. По прибытии комиссара все обитатели замка были арестованы и в цепях препровождены в Неаполь. Однако никаких улик обнаружено не было, кроме показаний прачки, которая заявила, что Беатриче дала ей постирать простыню, запачканную кровью. И однако это была страшная улика, так как прачка, спрошенная, верит ли она по совести и чистосердечно, что происхождение пятен именно таково, какое ей назвала Беатриче, ответила, что не верит, поскольку для этой причины пятна ей показались слишком яркими и слишком красными.

Показания ее были отосланы в римский суд, но, разумеется, их оказалось недостаточно, чтобы арестовать семейство Ченчи. Прошло несколько месяцев, и никто их не тревожил. За это время умер младший сын Франческо Ченчи. Из пяти братьев в живых оставались только Джакомо, старший, и Бернардо, предпоследний. Несомненно, они могли бы спастись, бежать в Венецию или Флоренцию, но это им даже в голову не приходило, и они продолжали жить в Риме, ожидая развития событий.

Тем временем монсеньор Гуэрра узнал, что люди видели, как Марцио и Олимпио бродили в окрестностях крепости в дни, предшествовавшие убийству Франческо Ченчи, и что неаполитанская полиция получила приказ арестовать их.

Монсеньор Гуэрра был человеком чрезвычайно осторожным, и ежели он оказывался вовремя предупрежден, его трудно было захватить врасплох. Он послал двух сбиров, поручив им убить Марцио и Олимпио. Тот, кому был поручен Олимпио, настиг его в Терни и честно заколол кинжалом, как было велено, но тот, что должен был убить Марцио, к сожалению, прибыл в Неаполь слишком поздно: днем раньше убийца попал в руки правосудия.

Подвергнутый пытке, Марцио во всем признался.

Его показания также были отосланы в Рим, куда вскорости был препровожден и он сам – для очной ставки с теми, кого он обвинял. Одновременно был отдан приказ об аресте Джакомо, Бернардо, Беатриче и Лукреции; поначалу местом заключения им был назначен дворец отца, где их стерегла сильная полицейская стража. Но улики становились все более и более тяжкими, и их перевели в замок Корте Савелла; там были проведены очные ставки с Марцио, однако они решительно отрицали не только свою причастность к преступлению, но даже знакомство с убийцей; замечательное самообладание выказала Беатриче: она попросила, чтобы ей первой устроили ставку с Марцио, и спокойно, с достоинством заявила, что доносчик лжет, и тогда молодой человек, видя,

как она прекрасна, принял решение, уж коль он не может посвятить себя служению ей, хотя бы спасти ее ценою своей жизни. Он объявил, что все его показания были ложью и что он просит за это прощения у Бога и у Беатриче; ни угрозы, ни пытки с той поры не смогли вырвать у него других показаний; Марцио умер в муках, но продолжал молчать. Ченчи уже были уверены, что им удалось спастись.

Однако Господь своей благой волей решил иначе. Примерно в это же время был за какое-то преступление арестован сбир, убивший Олимпио. Поскольку у него не было причин одни преступления скрывать, а другие нет, он признался, что был нанят монсеньором Гуэррой избавить его от кое-каких неприятностей, которые мог причинить нанимателю некий убийца по имени Олимпио.

К счастью, монсеньор Гуэрра вовремя узнал об этом, а так как был он человеком весьма умным и ловким, то не стал предаваться страхам и впадать в отчаяние, как это сделал бы на его месте кто другой; как раз в то время, когда ему передали это сообщение, у него находился угольщик, снабжавший его дом углем; Гуэрра пригласил угольщика к себе в кабинет и первым делом вручил крупную сумму как плату за молчание, затем приобрел – на вес золота – старые, грязные отрепья, в которые был одет угольщик, обрезал свои чудесные волосы, за которыми так следил, перекрасил бороду, измазал лицо сажей, купил двух ослов, нагрузил их корзинами с углем и, изображая хромоту, пошел по римским ули-

цам, крича: «Угля! Кому угля!» И покуда стража, сбившись с ног, искала его, он выбрался из города, встретил отряд наемных солдат, присоединился к ним и добрался до Неаполя, где сел на корабль. Что стало с ним дальше, неизвестно. Правда, некоторые говорят, но без всякой уверенности, будто он добрался до Франции и вступил там в швейцарский полк, состоявший на службе у Генриха IV.

Признания сбира и исчезновение монсеньора Гуэрры не оставили больше никаких сомнений в виновности Ченчи. Вследствие этого они были переведены из замка в тюрьму; оба брата, подвергнутые пытке, не нашли в себе сил молчать и признали себя виновными. Лукреция Петрони была настолько тучной, что не смогла вынести допроса на виске: чуть только ее оторвали от земли, как она взмолилась, чтобы ее отпустили, и рассказала все, что знала.

Что же касается Беатриче, она проявила исключительную твердость: ни обещания, ни угрозы, ни допрос с пристрастием ничего не смогли поделать с этим крепким и живучим организмом, она с потрясающим мужеством все отрицала, и судья Улиссе Москати, человек весьма опытный в подобных делах, не сумел вырвать у нее ни единого слова, кроме тех, что она хотела сказать. Не решаясь брать на себя ответственность в столь чудовищном деле, он доложил обо всем Клименту VIII, и папа, опасаясь, как бы Москати, соблазненный красотой обвиняемой, которую ему приходится допрашивать, не проявил слабости в применении пыток, от-

странил его и передал дело другому следователю, известному своей непреклонной твердостью.

Новый судья возобновил всю процедуру, касающуюся Беатриче, проверил все предшествовавшие допросы и, обнаружив, что она подвергалась только обычному допросу с пристрастием, распорядился применить к ней и обычную, и чрезвычайную пытки, каковой, как мы уже упоминали, была пытка на виске, самая ужасная из всех, какие только придумал человек, становящийся весьма изобретательным, когда дело касается мучений.

Но поскольку слова «допрос на виске» не дают читателю достаточно ясного представления о самой пытке, мы войдем в некоторые подробности на этот счет, а затем приведем протоколы отдельных эпизодов процесса, хранящиеся в Ватикане.

В Риме в ходу были самые разные пытки, но чаще всего применялись пытки свистульками, пытка огнем, пытка бессонницей и пытка на виске.

Пытка свистульками, самая мягкая из всех, применялась только к детям и старикам; состояла она в том, что под ногти допрашиваемому загоняли тростинки, срезанные наискось, как концы свистулек.

Пытка огнем была самой распространенной, пока не придумали пытку бессонницей, и заключалась в том, что ноги преступника держали над большим огнем, примерно так, как

это делали наши «поджариватели»[18].

При пытке бессонницей, изобретателем которой был некий Марсилиус, обвиняемого усаживали на остроугольную «кобылу» высотой пять футов, руки его привязывали за спиной к «кобыле»; по бокам у него садились два человека, сменявшиеся каждые пять часов, которые расталкивали его, стоило ему закрыть глаза. Марсилиус утверждал, что не видел ни одного человека, который сумел бы устоять перед этой пыткой, но он несколько прихвастнул. Хронисты констатируют, что из ста обвиняемых, подвергнутых пытке бессонницей, не признались лишь пятеро. Но и такой результат весьма лестен для изобретателя.

И наконец, пытка на виске, употреблявшаяся чаще других и известная во Франции под названием дыба.

У этой пытки было три степени: легкая, тяжелая и весьма тяжелая.

Первая степень, или легкая пытка, состояла в самом страхе перед пыткой: обвиняемому грозили, что его станут пытать, приводили в застенок, раздевали, связывали веревкой руки, как если бы намеревались приступить к пытке. Помимо страха, вызванного этими приготовлениями, производила действие и незначительная боль в связанных запястьях. Иногда оказывалось достаточно первой степени, чтобы заставить женщин и слабодушных мужчин признаться в свер-

---

[18] Разбойники времен Великой французской революции; они жгли своим жертвам ноги на огне.

шении преступления.

Вторая степень, или тяжелая пытка, заключалась в следующем: раздетому донага обвиняемому связывали руки за спиной, а веревку продевали во вбитое в потолок кольцо и привязывали к вороту, с помощью которого пытаемого можно было поднимать и опускать, причем делалось это медленно или рывком – как распорядится судья. Подняв, его оставляли висеть, чтобы он не касался ногами пола, на время, за которое можно прочесть «Pater noster», «Ave Maria» или «Miserere»[19]. Ежели он и после этого не признавался, его подвешивали снова. Этой пыткой второй степени завершался обычный допрос, который производился в тех случаях, когда преступление было возможно, но не доказано.

Пытка третьей степени, или весьма тяжелая, которой начинался чрезвычайный допрос, проходила так: после того как допрашиваемый провисел четверть часа, полчаса, три четверти часа или даже целый час, палач начинал его то ли раскачивать наподобие колокола, то ли отпускал вниз и вдруг резко останавливал на некотором расстоянии от пола; если обвиняемый выдерживал и не признавался, что было делом неслыханным, так как вследствие этой пытки у него оказывались вывернутыми суставы, да и веревка, стягивающая запястья, врезалась до кости, к ногам ему привязывали груз, что, увеличивая его вес, усиливало и мучения. Послед-

---

[19] Названия католических молитв, которым соответствуют православные «Отче наш», «Богородица, Дево, радуйся» и «Помилуй мя, Боже».

няя пытка применялась в тех случаях, когда преступление было не только доказано, но и направлено против особ священных, как то: отец, кардинал, монах или ученый.

Читателю уже известно, что Беатриче была подвергнута обычному и чрезвычайному допросу, известно и в чем они состояли, а теперь дадим слово писцу, ведшему пыточные записи.

«Понеже в течение всего допроса она не желала ни в чем признаться, двум стражникам было велено препроводить ее из тюрьмы в пыточную камеру, в каковой ее ждал палач; там, после того как ей обрили волосы, палач усадил ее на низкую скамью, раздел, разул, связал руки за спиной, привязал к веревке, проходящей через блок, закрепленный в потолке оной камеры, а вторым концом привязанной к вороту, каковой вращается посредством четырех рукоятей двумя мужчинами.

И прежде чем подтянуть, мы вновь спросили ее на предмет вышеупомянутого отцеубийства, однако вопреки представленным ей признаниям брата и мачехи, каковые признания те подписали, она упорно все отрицала, говоря: «Подвесьте меня и делайте со мной все, что желаете, я вам сказала правду и ничего иного не скажу, даже если меня разрубят на части».

Вследствие чего мы приказали подтянуть ее за руки, связанные вышеупомянутой веревкой, на высоту около двух футов и оставили так на время, пока читали «Pater noster», по-

сле чего опять же спросили относительно событий и обстоятельств названного отцеубийства, но она не пожелала сказать ничего, кроме того, что уже сказала, не произнося иных слов, опричь нижеследующих: «Вы убиваете меня! Вы убиваете меня!»

Мы распорядились подтянуть ее выше, а именно до высоты четырех футов, и начали читать «Ave Maria». Но посередине нашей молитвы она прикинулась, будто обмерла.

Мы велели плеснуть ей в лицо ведро воды, после чего она пришла в себя и закричала: «Боже мой! Смерть моя пришла! Вы убиваете меня! Боже мой!» – ничего же иного ответить не захотела.

Тогда мы приказали поднять ее еще выше и стали читать «Miserere», она же, вместо того чтобы присоединиться к нашей молитве, дергалась и вскрикивала, произнося неоднократно: «Боже мой! Боже мой!»

Спрошенная вновь относительно названного отцеубийства, не пожелала ничего признать, утверждая, что невиновна, а через несколько секунд обмерла.

Мы приказали снова облить ее водой, после чего она пришла в себя, открыла глаза и вскричала: «Проклятые палачи, вы убиваете меня! Убиваете меня!» – опять же не пожелала сказать ничего иного.

Видя таковое ее упорство в отрицании вины, мы приказали палачу произвести встряску.

Во исполнение палач подтянул ее на высоту десять футов,

и мы попросили ее, подвешенную на таковой высоте, сказать нам правду, но то ли оттого, что она лишилась дара речи, то ли оттого, что не желала говорить, она в ответ покачала головой, что означало либо невозможность, либо нежелание отвечать.

Видя то, мы дали палачу знак отпустить веревку, и она всем своим весом упала с высоты десяти футов до высоты двух футов, от какового сотрясения у нее вывернулись руки; она громко возопила и сомлела, оставшись висеть как мертвая.

Мы приказали плеснуть ей в лицо воды, она пришла в себя и снова крикнула: «Гнусные мучители, вы убиваете меня, но даже если вырвете мне руки, я ничего другого вам не скажу!»

Вследствие этого мы приказали привязать ей к ногам груз в пятьдесят фунтов. Однако в этот момент растворилась дверь, и несколько голосов закричали: «Довольно! Довольно! Не заставляйте ее так долго мучиться…»

То были голоса Лукреции Петрони, Джакомо и Бернардо Ченчи. Судьи, видя упорство Беатриче, распорядились провести очную ставку обвиняемых, не видевшихся друг с другом уже пять месяцев.

Братья и мачеха вошли в застенок и увидели Беатриче, висящую с вывернутыми руками на дыбе и покрытую кровью, которая сочилась у нее из запястий.

– Мы совершили грех, – крикнул ей Джакомо, – и теперь надо покаяться, чтобы спасти душу, с чистым сердцем при-

нять смерть, а не подвергать себя таким мучениям!

Покачав головой, словно бы для того, чтобы умерить боль, Беатриче промолвила:

– Значит, вы хотите умереть? Что ж, раз вы этого хотите, пусть так оно и будет.

После этого она повернулась к стражникам и сказала:

– Развяжите меня и прочтите мне вопросы. То, что я по совести должна признать, я признаю, то же, что должна отрицать, буду отрицать.

После этого Беатриче опустили и развязали; цирюльник обычным способом вправил ей руки, затем, как она и просила, прочли вопросы, и она, исполняя данное обещание, во всем призналась.

После признания Беатриче их всех по просьбе братьев поместили в одной тюрьме, однако на следующий день Джакомо и Бернардо перевели в казематы Тординоне, а женщины остались там, где были.

Папа, прочтя признания, содержавшие все подробности преступления, исполнился столь великим негодованием, что приказал привязать преступников к хвостам необъезженных коней и протащить по улицам Рима. Однако такой суровый приговор вызвал всеобщее возмущение; множество самых влиятельных особ, кардиналов и князей на коленях умоляли святого отца отменить решение или хотя бы позволить приговоренным защищаться.

– А они, – спросил Климент VIII, – дали своему несчаст-

ному отцу возможность защищаться, когда бесчестно и безжалостно убивали его?

Наконец, уступая мольбам, он согласился на трехдневную отсрочку.

Тотчас же за это дело, так взволновавшее всех, взялись самые лучшие и самые знаменитые римские адвокаты; они принялись строчить прошения и заключения и в день, названный для суда, предстали перед его святейшеством.

Первым выступал Никколо дельи Анджели и уже с самого начала своей речи, во вступлении, был так красноречив, что вызвал волнение среди собравшихся, по которому стало ясно, что они на стороне обвиняемых. Ужаснувшись этому, папа неожиданно остановил его.

– Выходит, – негодующе произнес он, – ежели среди дворянства найдется человек, который убьет своего отца, то и среди адвокатов сыщутся люди, которые станут его защищать? Мы никогда не поверим в это и даже допустить подобную мысль не можем.

После столь суровой отповеди папы все, кроме Фариначчи, умолкли; он же, набравшись мужества при мысли о священном долге, возложенном на него, отвечал почтительно, но твердо:

– Пресвятой отец, мы пришли сюда не защищать преступников, но спасти невиновных. Ежели нам удастся доказать, что некоторые из обвиняемых действовали в порядке законной защиты, тогда, я надеюсь, их поступки предстанут ваше-

му святейшеству как заслуживающие оправдания, ибо равно предусмотрены случаи, когда отец может убить свое дитя[20] и когда сын либо дочь могут убить своего отца. Посему мы будем выступать, когда ваше святейшество благоволит нам дозволить это.

Климент VIII выказал столько же терпения, сколько перед тем негодования, и выслушал защитительную речь Фариначчи, который построил ее главным образом на том, что Франческо Ченчи перестал быть отцом с того момента, когда совершил насилие над дочерью. В качестве доказательства насилия он ссылался на прошение, направленное Беатриче его святейшеству, в котором она, по примеру сестры, умоляла папу забрать ее из отцовского дома и поместить в монастырь. К несчастью, прошение это, как мы уже говорили, исчезло, и хотя в канцелярии произвели тщательнейшие розыски, не

---

[20] В римских законах были предусмотрены случаи, когда отец может убить своего ребенка, и таковых случаев тринадцать.Первый. Если сын поднял руку на отца.Второй. Если сын жестоко оскорбил отца.Третий. Если сын обвинил отца в тяжком преступлении, кроме оскорбления величества и измены отечеству.Четвертый. Если сын связался со злонравными людьми.Пятый. Если сын строит козни, посягая на жизнь отца.Шестой. Если сын вступил в кровосмесительную связь с женой отца по второму браку или с его наложницей.Седьмой. Если сын отказывается выкупить отца, посаженного за долги в тюрьму.Восьмой. Если сын насильственно принуждает отца написать завещание.Девятый. Если сын против воли отца стал гладиатором или комедиантом.Десятый. Если дочь, отказавшись от вступления в брак, ведет распутную жизнь.Одиннадцатый. Если дети отказывают в заботах больному отцу.Двенадцатый. Если дети не намерены выкупить отца или мать, попавших в плен к неверным.Тринадцатый. Если сын отрекся от католической религии. (*Примеч. автора.*)

удалось обнаружить никаких его следов.

Папа принял от адвокатов все приготовленные ими материалы, и те тотчас же удалились, за исключением Альтьери, который, преклонив колени перед папой, сказал:

– Пресвятой отец, я не мог поступить иначе и должен был предстать перед вами в связи с этим делом, поскольку являюсь адвокатом бедных, но я смиренно прошу меня за это простить.

На что папа, подняв его, благосклонно ответил:

– Ступайте, мы поражены не вами, но другими, которые им покровительствуют и защищают их.

Папа решил не спать всю ночь, поскольку принял это дело близко к сердцу, и стал изучать его вместе с кардиналом Сан-Марчелло, человеком весьма умным и опытным в подобных материях; затем, сделав заключение, он сообщил его адвокатам, и оно удовлетворило их; они уже начали обретать надежду, что приговоренные будут помилованы, поскольку по материалам дознания было доказано, что, хотя дети и восстали на отца, все обиды и насилия исходили от него, а по отношению к Беатриче эти обиды и насилия были таковы, что она, в определенном смысле, была принуждена пойти на чудовищное преступление тиранией, злодейством и жестокостью собственного отца. Мнение о том, что все склоняется к помилованию, было весьма велико, тем паче что папа распорядился вновь перевести обвиняемых в общую камеру и даже позволил обнадежить, что им сохранят жизнь.

Рим облегченно вздохнул, исполнясь надежды, как и это несчастное семейство, и обрадовавшись, словно милосердие проявлено было не к несчастным людям, а ко всем, как вдруг благие намерения папы развеяло новое преступление: шестидесятилетний маркиз ди Санта-Кроче был убит своим сыном Паоло ди Санта-Кроче, причем убит зверски: ему было нанесено кинжалом около двадцати ран; сын убил маркиза потому, что тот отказался назначить его единственным наследником. Убийца бежал.

Климент VIII содрогнулся, узнав о втором, почти что подобном преступлении, однако он вынужден был выехать в Монте-Кавалло, где следующим утром ему предстояло утвердить одного кардинала в настоятели церкви Санта-Мария дельи Анджели. Но после возвращения, а было это в пятницу 10 сентября 1599 года, он около восьми утра вызвал монсеньора Таверну, губернатора Рима, и сказал:

– Монсеньор, мы передаем вам дело Ченчи, дабы вы совершили справедливый суд и притом как можно скорей.

Выйдя от папы, монсеньор Таверна возвратился к себе во дворец и собрал всех уголовных судей города; на этом заседании Ченчи были приговорены к смертной казни.

Решение тут же стало известно, а поскольку несчастное семейство возбуждало все растущий интерес, множество кардиналов всю ночь мчались кто верхом, кто в карете упросить папу, чтобы хоть над женщинами приговор был исполнен тайно в тюрьме, а Бернардино, пятнадцатилетнему маль-

чику, который никакого участия в преступлении не принимал, но между тем был включен в число приговоренных, было даровано помилование. Более всего трудов и стараний в этом деле приложил кардинал Сфорца, однако не смог получить от его святейшества даже тени надежды. И лишь Фариначчи, сумевшему пробудить в папе угрызения совести, удалось добиться от него обещания, что Бернардино будет сохранена жизнь, и то лишь после долгих и настойчивых просьб.

Но уже накануне конгрегация братьев-утешителей направилась в тюрьмы Корте Савелла и Тординоне. Между тем, хотя приготовления к безмерной трагедии, которая должна была обрести развязку на мосту Св. Ангела, шли всю ночь, судебный пристав лишь в пять утра вошел в камеру к Беатриче и Лукреции Петрони, чтобы прочесть им приговор.

Обе они спали, даже не подозревая о событиях последних трех дней. Пристав разбудил их, дабы объявить, что люди осудили их и теперь им следует приготовиться предстать перед Богом.

Беатриче была раздавлена этим ударом; не найдя ни слова, чтобы посетовать на судьбу, ни одежды, чтобы прикрыть наготу, она, обнаженная, вскочила с кровати и стояла, качаясь, как пьяная; вскоре, однако, дар речи вернулся к ней, и она разразилась воплями и стенаниями. Лукреция же выслушала весть с куда большей твердостью и стойкостью; она стала одеваться, дабы отправиться в часовню, и при этом закли-

нала Беатриче смириться, но та все еще была как безумная, ломала руки, билась головой о стену, вскрикивая: «Умереть! Умереть! Так неожиданно умереть на эшафоте! На виселице! О Боже мой, Боже!» Истерика ее переросла в чудовищный пароксизм, вследствие которого Беатриче совершенно утратила телесную силу, зато обрела духовную, сделалась ангелом смирения и образцом стойкости.

Первое, чего она попросила, – позвать нотариуса, чтобы составить завещание. Просьба ее была немедля удовлетворена. И когда тот пришел, намереваясь одним махом покончить с делом, она спокойно и обстоятельно стала диктовать ему свою последнюю волю. Покончив с завещанием, она попросила, чтобы тело ее погребли в церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио, которая видна из дворца Ченчи и которую она особенно чтила. Пятьсот экю она оставила монахиням монастыря Ран Христовых и распорядилась, чтобы ее приданое, составлявшее пятнадцать тысяч экю, было разделено между пятнадцатью бесприданницами, дабы они смогли выйти замуж. Для погребения она выбрала место у подножия главного алтаря, над которым висела дивная картина «Преображение»: при жизни она многократно с восторгом созерцала ее.

По примеру Беатриче Лукреция тоже сделала последние распоряжения. Она попросила, чтобы тело ее было перенесено в церковь Сан-Джорджо-ин-Велабре, оставила тридцать два экю для раздачи милостыни, а также много другого имущества на богоугодные дела. Завершив распоряжения по за-

вещаниям, обе женщины обратили сердца к Богу, опустились на колени и стали читать псалмы, литании и покаянные молитвы.

Они молились до восьми вечера, после чего попросились к исповеди и прослушали мессу, во время которой причастились; исполнясь после этих святых приуготовлений совершеннейшего смирения, Беатриче обратила внимание мачехи, что непристойно им будет всходить на эшафот в праздничных нарядах; она заказала одеяния для синьоры Лукреции и для себя, распорядившись, чтобы они были сшиты по образцу монашеских, то есть закрытыми до шеи, просторными, с длинными и широкими рукавами. Для синьоры Лукреции – из черной шерсти, для себя – из тафты. Кроме того, себе она заказала небольшой тюрбан – покрыть голову. Одеяния эти были им принесены вместе с веревками, чтобы подпоясаться; они положили их на стул и вновь стали молиться.

Подошел назначенный срок; женщин предупредили, что приближается их смертный час. Беатриче, до этого стоявшая на коленях, поднялась и со спокойным, почти радостным лицом промолвила:

– Госпожа матушка, вот и настал миг, когда начинается наш страстной путь. Думаю, нам пора подготовиться и оказать друг дружке последнюю услугу: помочь одеться, как мы всегда это делали.

Они облачились в подготовленные одеяния, перепоясались веревками, Беатриче надела на голову тюрбан, и они

стали ждать, когда за ними придут.

Тогда же прочли приговор Джакомо и Бернардо, и они тоже ждали, когда их поведут на казнь. К десяти часам флорентийское братство Милосердия прибыло к тюрьме Тординоне и со святым распятием встало у входа, дожидаясь несчастных молодых людей. Там с ними чуть не приключилась беда. Из окон тюрьмы высовывалось множество народу, желавшего посмотреть, как будут выводить приговоренных, и кто-то нечаянно столкнул большой цветочный горшок, полный земли; горшок упал и едва не убил брата, который шествовал впереди распятия, держа горящие свечи. Горшок пролетел так близко от свечей, что поток воздуха загасил пламя.

В этот миг ворота растворились; первым вышел Джакомо и тотчас же опустился на колени, с величайшим благоговением преклонясь перед святым распятием. Он был одет в широкий траурный плащ с капюшоном, но под плащом грудь у него была обнажена, так как на всем пути палач должен был его пытать раскаленными щипцами, которые лежали наготове в жаровне, установленной на повозке. Джакомо поднялся на повозку, и там за него взялся палач, исполняя то, что должен был делать. Затем вышел Бернардино, и, как только он появился, фискал[21] Рима громко объявил:

– Синьор Бернардо Ченчи, во имя приснoблаженного Искупителя наш святой отец папа дарует вам жизнь и повелевает только, чтобы вы сопутствовали вашим родичам до эша-

---

[21] *Фискал* – чиновник, следящий за исполнением законов.

фота и до самой их смерти, а также наставляет вас не забывать молиться за тех, с кем вместе вы должны были умереть.

При этом неожиданном объявлении среди собравшихся прошел радостный ропот, и кающиеся братья немедля повесили Бернардо на глаза небольшую дощечку, так как по причине его нежного возраста было сочтено, что ему не следует видеть эшафот.

Палач, который покончил с Джакомо, спустился, чтобы принять Бернардо, и как только тому было объявлено помилование, снял у него с рук цепи и, усадив на ту же повозку, где сидел брат, набросил на него великолепный плащ, обшитый золотым галуном, поскольку мальчика уже подготовили к отсечению головы и у него были обнажены шея и плечи. Многих удивило, откуда у палача такой богатый плащ, но им растолковали, что это тот самый, который Беатриче подарила Марцио, дабы склонить на убийство ее отца; палач же получил его в наследство после казни убийцы. Вид такого множества народа произвел столь сильное впечатление на Бернардо, что он лишился чувств.

Запели псалмы, и процессия тронулась, направляясь к тюрьме Корте Савелла. У ворот она остановилась в ожидании женщин; те вскоре вышли и тоже пали на колени, поклоняясь распятию; затем процессия продолжила путь.

Обе женщины шли друг за дружкой после кающихся братьев; головы у них были покрыты, длинные вуали спускались почти до пояса с той лишь разницей, что на синьоре Лукре-

ции, как на вдове, была черная вуаль и того же цвета туфли на высоких каблуках, украшенные по тогдашней моде пучками лент, а на незамужней Беатриче шелковый, как и безрукавка, берет, затылок и шея были закрыты куском бархата с серебряным шитьем, который доходил до плеч, ниспадая на ее лиловую рясу; обута она была в белые туфли на высоких каблуках, украшенные золотыми кистями и бахромой вишневого цвета; руки у женщин были связаны, но весьма свободно, веревкой, так что они могли держать в одной руке распятие, а в другой носовой платок.

В ночь с субботы на воскресенье на мосту Святого Ангела был воздвигнут эшафот, а на нем установлены помост и плаха. Над плахой между двумя брусьями было повешено широкое железное лезвие, которое, стоило отпустить пружину, скользило в пазах и всем своим весом обрушивалось на плаху.

У моста Св. Ангела процессия остановилась. Лукреция, будучи слабодушней Беатриче, горько плакала, у Беатриче же лицо было спокойное и замкнутое. Как только процессия вошла на площадь перед мостом, женщин немедленно отвели в часовню, где вскорости к ним присоединились Джакомо и Бернардо; вместе там они оставались недолго: очень скоро за братьями пришли, сперва за старшим, потом за младшим, и проводили их на эшафот, хотя Джакомо должны были казнить последним, а Бернардо получил помилование. Взойдя на помост, Бернардо вторично потерял сознание. Палач на-

правился к нему, чтобы оказать помощь, и тут некоторые в толпе, решив, что мальчика сейчас казнят, стали громко кричать: «Он помилован!» Палач успокоил их и усадил Бернардо рядом с плахой. Джакомо встал на колени по другую сторону.

После этого палач спустился, прошел в часовню и вывел синьору Лукрецию, которую должны были казнить первой. У эшафота он связал ей руки за спиной, разорвал сверху корсаж, чтобы обнажить плечи, и попросил ее в знак примирения облобызать раны Христа; когда она это сделала, он помог ей подняться по лестнице, так как синьоре Лукреции по причине тучности самой взойти было трудно; на помосте он сорвал с нее вуаль. Синьора Лукреция испытывала великий стыд, оттого что все видят ее обнаженную грудь; когда же она взглянула на плаху, плечи у нее затрепетали, отчего вся толпа содрогнулась. И тогда синьора Лукреция со слезами на глазах громко произнесла:

– Господи, смилуйся надо мной, а вы, братья мои, молитесь за спасение моей души.

Произнеся эти слова и не зная, что дальше, она повернулась к Алессандро, старшему палачу, и спросила, что ей делать; он велел ей шагнуть на подножку и вытянуться вверх, что она и сделала с большим трудом и великим стыдом, но поскольку по причине своей высокой груди она никак не могла положить шею на плаху, пришлось подложить еще кусок дерева; все это время несчастная женщина ждала, стра-

дая не столько от страха смерти, сколько от стыда; в конце концов все устроилось как надо, палач отпустил пружину, и отрубленная голова упала на эшафот, раза три подпрыгнула на виду у содрогнувшейся толпы, но тут палач подхватил ее и показал народу; затем он завернул ее в черную тафту и положил вместе с телом в гроб, стоящий у подножия эшафота.

Пока готовили эшафот для Беатриче, ступенчатые подмости, переполненные людьми, обрушились; многие при этом убились, но еще больше народу было покалечено и поранено.

Лезвие подняли, кровь смыли, и палач отправился в часовню за Беатриче, которая молилась перед распятием за спасение своей души и, увидев пришедшего палача с веревкой в руках, воскликнула:

– Богу угодно, чтобы ты связал тело, обреченное тлению, и развязал душу ради бессмертия!

Поднявшись с колен, она вышла из часовни, облобызала раны Христа, после чего, сняв туфли и оставив их у эшафота, медленно взошла по лестнице и, поскольку заранее справилась, что нужно делать, тут же ступила на подножку и быстро, чтобы толпа не видела ее обнаженную грудь, положила голову на плаху. Но, несмотря на всю ее предусмотрительность и желание, чтобы казнь совершилась как можно скорей, ей пришлось ждать. Дело в том, что у папы, знавшего ее вспыльчивый нрав, появились опасения, как бы в промежутке между отпущением грехов и смертью она не совершила какой-либо грех, поэтому он приказал, когда Беатри-

че взойдет на эшафот, дать сигнал выстрелом пушки замка Святого Ангела, каковой выстрел вызвал огромное удивление у собравшихся, потому как никто, в том числе и Беатриче, не ожидали его; папа, который в это время молился в Монте-Кавалло, тотчас же дал Беатриче отпущение грехов in aruculo mortis[22]. Так прошло около пяти минут, и все это время приготовленная ждала, положив голову на плаху; наконец палач решил, что отпущение уже дано, спустил пружину, и лезвие упало.

И тут случилось нечто странное: голова скатилась, а тело отшатнулось назад, как бы пятясь; палач тут же подхватил голову и показал ее народу, затем, проделав с нею то же, что и с головой Лукреции Петрони, хотел положить тело в гроб, но братья из конгрегации Милосердия взяли его из рук палача, и один из них собрался перенести его к гробу, однако тело выскользнуло и свалилось с эшафота на землю; при этом с него сорвались одежды, все оно было в крови и в пыли, так что пришлось потратить немало времени на обмывание; от этого зрелища бедный Бернардино в третий раз лишился чувств, и на сей раз беспамятство его было таким глубоким, что понадобилось дать ему вина, чтобы он пришел в себя.

Наконец настал черед Джакомо; он видел казнь мачехи и сестры, его одежда была забрызгана их кровью; палач подошел к нему, сорвал с него плащ, и все увидели, что грудь у него в ранах от раскаленных клещей, их было столько, что

---

[22] При смерти, на смертном одре *(лат.)*.

на теле не осталось живого места. Итак, он поднялся и, обратясь к брату, сказал:

– Бернардо, на пытке я показал против тебя и обвинил, но то была ложь, и хоть я уже опроверг эти показания, сейчас, готовясь предстать перед Господом, еще раз повторяю: ты невиновен, а суд, приговоривший тебя смотреть на нашу казнь, жесток и немилосерд.

Тут палач бросил его на колени, привязал за ноги к брусу, чуть приподнятому над эшафотом, наложил на глаза повязку и размозжил голову палицей; затем почти тотчас же на глазах у всех четвертовал труп.

Как только закончилась эта бойня, члены конгрегации удалились, уводя с собой Бернардо, но поскольку у него началась сильная горячка, ему пустили кровь и уложили в постель.

Останки обеих женщин в гробах поставили под статуей святого Павла у подножья моста и зажгли четыре свечи белого воска, которые горели до четырех часов пополудни, потом вместе с расчлененным телом Джакомо они были перенесены в храм Святого Иоанна Обезглавленного. В пять часов вечера тело Беатриче, все усыпанное цветами и облаченное в ту одежду, что была на ней во время казни, понесли в церковь Сан-Пьетро-ин-Монторио; гроб сопровождали члены братства Ран Христовых и все монахи-францисканцы города Рима, несшие пятьдесят горящих свечей. Там Беатриче была погребена, как она того и пожелала, около главного

алтаря.

В тот же вечер тело синьоры Лукреции было перенесено в церковь Сан-Джорджо-ин-Велабре.

К сему можно добавить, что весь Рим соучаствовал в этой трагедии, и люди съехались кто в каретах, кто верхом, кто в повозках, а кто пришел пешком, и все они сбились в огромную толпу; по несчастью, день был до того душный и жаркий, что многие теряли сознание, многие заболели лихорадкой, множество также умерло ночью, после того как пробыли на солнце все три часа, что длилась казнь.

Во вторник четырнадцатого сентября по случаю праздника Воздвижения Креста Господня с особого разрешения папы братством Сан-Марчелло был освобожден из тюрьмы бедняга Бернардо Ченчи с обязательством в течение года выплатить две с половиной тысячи римских экю конгрегации Пресвятой Троицы, что у моста Сикста, запись о получении каковых и сейчас находится в ее архиве.

А теперь, если вы, после того как повидали могилу, захотите составить о той, что покоится в ней, представление более полное, чем способно дать наше повествование, посетите галерею Барберини; там вместе с пятью другими шедеврами вы найдете портрет Беатриче, написанный Гвидо, как говорят одни, в ночь перед казнью, меж тем как другие утверждают, что он был сделан, когда она шла к месту казни; на портрете изображена прелестная головка в тюрбане, с которого ниспадает драпировка; у Беатриче густые светло-русые

волосы, черные глаза, словно хранящие следы только-только высохших слез, великолепный нос и детский рот; что же касается ее ослепительно-белой кожи, то портрет не дает о ней представления: в краски переложено кармина, и лицо имеет кирпичный оттенок; если судить по изображению, Беатриче можно дать от двадцати до двадцати двух лет.

Рядом висит портрет Лукреции Петрони; по размерам головы видно, что была она скорее невысокой, чем крупной. Она являла собой тип благородной римской матроны – смуглое лицо с правильными чертами, прямым носом, черными бровями и взглядом властным, но в то же время влажным и полным неги; на ее пухлых, округлых щеках очаровательные ямочки, о которых упоминает хронист и благодаря которым возникает ощущение, будто она улыбается и после смерти; следует еще упомянуть чудесной формы рот и курчавые волосы, ниспадающие на лоб и вдоль висков, создавая великолепное обрамление лица.

Поскольку не осталось ни графических, ни живописных изображений Джакомо и Бернардо, мы вынуждены заимствовать их портреты из рукописи, откуда мы почерпнули все подробности этой кровавой истории; вот какими увидел их автор, очевидец катастрофы, в которой они сыграли главные роли:

«Джакомо был небольшого роста, волосы и борода черные, ему могло быть лет около двадцати шести, он был хо-

рошо сложен и обладал приятной наружностью.

Что касается Бернардино, несчастный отрок был вылитый портрет своей сестры, сходство их было таково, что, когда он взошел на эшафот, многие по причине его длинных волос и девического лица сперва решили, что это и есть Беатриче; ему могло быть лет четырнадцать-пятнадцать.

Упокой, Господи, их души!»

Карл Людвиг Занд (1819)

22 марта 1819 года около девяти утра молодой человек лет примерно двадцати трех – двадцати четырех, одетый, как одеваются немецкие студенты, то есть в короткий сюртук с шелковыми бранденбурами, панталоны в обтяжку и невысокие сапоги, остановился на небольшом холме, который находится в трех четвертях пути из Кайзерталя в Мангейм и с вершины которого открывается вид на этот город, спокойно и безмятежно лежащий среди садов, бывших некогда крепостными валами, а ныне опоясывающих его подобно зеленому, цветущему кольцу. Поднявшись туда, молодой человек снял картуз, на козырьке которого переплетались три вышитых серебром дубовых листа, и подставил обнаженную голову порывам свежего ветерка, долетающего из долины реки Неккар. На первый взгляд его неправильные черты производили странное впечатление, однако стоило присмотреться к его бледному, изрытому оспинами лицу в обрамлении длинных черных кудрей, открывающих большой выпуклый лоб, увидеть поразительную мягкость его глаз, как наблюдатель вскоре начинал испытывать к нему необъяснимую грустную симпатию, какой поддаешься неосознанно, даже не думая ей противиться. Хотя час был еще ранний, молодой человек, похоже, проделал уже долгий путь, так как сапоги его покрывала дорожная пыль, но, видимо, он был уже близок к цели,

потому что, отбросив картуз и сунув за пояс длинную трубку, неразлучную подругу немецких буршей, он вытащил из кармана маленькую записную книжицу и карандашом вписал в нее:

«Вышел из Ванхайма в пять утра и в девять с четвертью нахожусь в виду Мангейма. Да поможет мне Бог!»

Затем он сунул книжку в карман и несколько секунд стоял неподвижно, шевеля губами, словно мысленно творя молитву, после чего надел картуз и твердым шагом направился к Мангейму.

Этот молодой студент был Карл Людвиг Занд, который пришел из Йены через Франкфурт и Дармштадт, чтобы убить Коцебу.

Но теперь, прежде чем представить нашим читателям одно из тех чудовищных деяний, для оценки которого не существует иного судьи, кроме совести, необходимо, чтобы они позволили нам как можно полнее познакомить их с тем, кого монархи считают убийцей, судьи – фанатиком, а молодежь Германии – мучеником.

Карл Людвиг Занд родился 5 октября 1795 года в Вонзиделе, расположенном среди гор Фихтельгебирге; он был младшим сыном Готфрида Кристофа Занда, первого председателя и советника прусского королевского суда, и его супруги Доротеи Иоганны Вильгельмины Шапф. Кроме двух старших братьев – Георга, занимавшегося коммерцией в Санкт-Галлене, и Фрица, адвоката в апелляционном суде в Берли-

не, – у Карла были еще две сестры – старшая, которую звали Каролина, и младшая по имени Юлия.

Еще в колыбели он перенес оспу, причем в самой тяжелой форме. Вирус, распространившийся по всему телу, покрыл его язвами, голова являла собой сплошной струп. Несколько месяцев ребенок находился между жизнью и смертью, но наконец жизнь восторжествовала.

Тем не менее он оставался слабым и болезненным до седьмого года, когда у него случилась мозговая горячка и жизнь его вновь оказалась в опасности. Зато горячка эта, закончившись, унесла с собой все последствия первой болезни.

С этого времени его здоровье и силы, похоже, начали укрепляться, однако из-за двух длительных болезней он весьма задержался в учении и смог пойти в школу только в восемь лет; к тому же, поскольку из-за физических страданий мальчик несколько отстал в развитии умственных способностей, ему поначалу пришлось прикладывать вдвое больше усердия, нежели сверстникам, чтобы достичь одинаковых с ними результатов.

Видя, какие усилия прилагает маленький Занд, чтобы преодолеть изъяны своего организма, директор Хофской гимназии Зельфранк, человек большой учености и благородства, проникся к мальчику такой приязнью, что, когда его впоследствии назначили директором гимназии в Регенсбург, не смог расстаться со своим учеником и взял его с собой. Именно в этом городе Карл Занд в одиннадцатилетнем воз-

расте явил первое доказательство присущих ему мужества и человечности. Однажды, будучи на прогулке с друзьями, он услышал призыв о помощи: мальчик лет восьми-девяти упал в пруд. Тотчас же Занд, не думая о своем праздничном костюмчике, за которым всегда весьма старательно следил, бросился к пруду и, приложив неслыханные для ребенка его возраста усилия, сумел вытащить утопающего на берег.

Лет в тринадцать Занд, который стал проворней, ловчей и отважней многих своих товарищей постарше, любил участвовать в сражениях между мальчишками из города и окрестных деревень. Театром этих ребяческих войн, бледным и невинным отражением жестоких битв, заливавших в ту эпоху Германию кровью, обыкновенно служила равнина, расположенная между городом Вонзиделем и горой Санкт-Катарина, вершину которой увенчивали руины и среди них прекрасно сохранившаяся башня. Занд, ставший одним из самых пылких воителей, видя, что войско его много раз бывало побеждено из-за малочисленности, решил во избежание очередного поражения укрепить башню на горе Санкт-Катарина и укрыться в ней при ближайшем сражении, ежели судьба опять отвернется от них. Он посвятил товарищей в свой план, и тот был с восторгом принят. В течение целой недели в башню стаскивали всевозможные средства для обороны, укрепляли двери и лестницы. Приготовления эти велись в столь глубокой тайне, что вражеской армии не удалось пронюхать о них.

Наступило воскресенье, а именно в праздничные дни происходили сражения. Но то ли из-за стыда за прошлое поражение, то ли по какой другой причине войско, к которому принадлежал Занд, оказалось еще малочисленней, чем обыкновенно. Тем не менее, зная, что есть куда отступить, Занд решился принять битву. Она была не очень продолжительной: одна из армий слишком уступала в численности другой и не могла долго сопротивляться, поэтому она, стараясь сохранять порядок, начала отступление к башне Санкт-Катарины, куда и прибыла без особых потерь. Добравшись туда, часть мальчишек тотчас же поднялась на балконы и, пока остальные внизу защищали стены, принялась осыпать преследователей галькой и камнями. Те же, пораженные новым, впервые использованным способом защиты, отступили на несколько шагов; воспользовавшись этим, остаток отряда вошел в крепость и закрыл двери.

Изумление осаждающих трудно передать: никто никогда не пользовался этими дверями, и вдруг они становятся непреодолимым препятствием, укрывающим осажденных. Несколько человек побежали искать инструменты, которыми можно было бы разбить двери, а оставшаяся часть вражеской армии взяла гарнизон в осаду.

Через полчаса посланцы вернулись не только с кирками и ломами, но и со значительным подкреплением, состоявшим из ребят той деревни, куда они бегали за осадным инструментом. Начался приступ. Занд и его товарищи отчаянно за-

щищались, но скоро стало ясно, что, ежели не придет подмога, гарнизону придется капитулировать. Было предложено бросить жребий, чтобы один из осажденных, пренебрегая опасностью, вышел из крепости, прорвался сквозь вражеские порядки и бросил клич вонзидельским мальчишкам, которые трусливо сидят по домам. Рассказ об опасности, какой подверглись их друзья, позор капитуляции, что падет и на них, вне всяких сомнений, пробудят их от лени и заставят совершить вылазку, которая позволит гарнизону выйти из крепости. Предложение было принято, однако, не желая полагаться на случай, Занд вызвался добровольцем. Поскольку всем была известна его храбрость, ловкость и быстрота, предложение было принято единодушно, и новый Деций[23] приготовился принести себя в жертву.

Дело это, надо сказать, было небезопасное. Существовали лишь два способа выйти из башни: первый – через дверь, и там, разумеется, попасть в руки неприятелей; второй – спрыгнуть с балкона, слишком высокого, чтобы осаждающим пришло в голову караулить под ним. Не раздумывая ни секунды, Карл прошел на балкон; там он, поскольку с малых лет был весьма религиозен, сотворил короткую молитву и затем без страха и колебаний прямо-таки с провиденциальной уверенностью спрыгнул на землю, а высота там была

---

[23] *Публий Деций Мус* – римский консул, в 340 г. до н. э. одержавший победу над латинами. В соответствии с легендой он за победу пожертвовал свою жизнь подземным божествам.

двадцать два фута.

Занд тотчас же устремился к Вонзиделю и достиг его, хотя враги послали вдогонку за ним лучших своих бегунов. К осажденным же, когда они увидели, что его предприятие увенчалось успехом, возвратилось мужество, и они объединили свои усилия против осаждающих в надежде на красноречие Занда, которому оно давало огромную власть над товарищами. И действительно, не прошло и получаса, как они увидели его возвращающимся во главе трех десятков мальчишек, вооруженных пращами и арбалетами. Осаждающие, оказавшись под угрозой нападения как с тыла, так и с фронта, поняли всю невыгодность своего положения и ретировались. Победа досталась армии Занда, и в этот день он был триумфатором.

Мы так подробно рассказали эту историю, чтобы наши читатели поняли по характеру ребенка, каким тот стал, когда превратился в мужчину. Впрочем, у нас еще будет возможность увидеть, как развивался этот спокойный и возвышенный характер среди как малых, так и великих событий.

В то же примерно время Занд, можно сказать, чудом дважды избежал смертельной опасности. Как-то творило, полное извести, упало со строительных лесов и разбилось у его ног. А еще однажды герцог Кобургский, который во время пребывания короля Пруссии на тамошних водах жил у родителей Занда, въезжая на полном скаку в карете, запряженной четверней, во двор, увидел, что под аркой ворот стоит Карл;

у мальчика не было возможности отскочить ни вправо, ни влево, не рискуя оказаться прижатым к стене и раздавленным колесами: кучер был не в состоянии удержать упряжку, но тут Занд упал ничком на землю, карета промчалась над ним, причем ни копыта коней, ни колеса даже не задели его; он встал без единой царапины.

С той поры многие смотрели на Занда как на избранника Божия, говорили, что его хранит Бог.

А тем временем происходили серьезнейшие политические события, под влиянием которых мальчик прежде времени превратился в юношу. Наполеон навис над Германией, подобно новому Сеннахерибу[24]. Штапс[25] пожелал сыграть роль Муция Сцеволы[26] и умер мученической смертью.

Занд жил тогда в Хофе и учился в гимназии добрейшего Зальфранка. Узнав, что тот, кого он считал антихристом, должен приехать в этот город, он тотчас же покинул его и вернулся к родителям. Когда те спросили его, почему он бросил гимназию, Карл ответил:

---

[24] *Сеннахериб* (785–681 до н. э.) – ассирийский царь, упоминаемый в Библии (Царств, 2 и 4), совершал походы в Иудею, осаждал Иерусалим, но вынужден был отступить.

[25] *Штапс, Фридрих* (1792–1809) – немецкий торговец, покушался в Вене на убийство Наполеона, от помилования отказался, предупредив, что в этом случае повторит свою попытку. Расстрелян.

[26] *Муций Сцевола* – легендарный римский герой. Схваченный после неудачного покушения на этрусского царя Порсену, он, доказывая свое мужество, положил левую руку в огонь, после чего пораженный Порсена отпустил его и снял осаду Рима.

– Потому что я не смог бы жить в одном городе с Наполеоном и не попытаться убить его, но я чувствую, что рука у меня еще недостаточно тверда для этого.

Происходило это в 1809 году, Занду было четырнадцать лет.

Мир, подписанный 15 октября, дал Германии небольшую передышку и позволил юному фанатику продолжить учение, не отвлекаясь на политические тревоги; они снова захватят его в 1811 году, когда он узнает, что гимназия ликвидирована и заменена начальной школой. Директор Зальфранк назначен в эту школу учителем, но вместо тысячи флоринов, которые он получал на старом месте, в новой должности ему положили всего лишь пятьсот. Карл не мог оставаться в начальной школе, где у него просто не было возможности продолжать образование, и он написал матери письмо, сообщив об этом событии и о том, с каким душевным спокойствием старый немецкий философ принял перемену своей судьбы. Вот ответ матушки Занда; его вполне достаточно, чтобы узнать эту женщину, чье большое сердце всегда было искренним даже среди самых жестоких страданий; письмо это отмечено печатью немецкого мистицизма, о котором мы во Франции не имеем ни малейшего представления.

«Мой дорогой Карл!

Ты не мог сообщить мне более горестную весть, нежели эта, о событии, которое обрушилось на твоего учителя и приемного отца, и все же, как бы ужасно оно ни было, он прими-

рится с ним, дабы дать добродетели своих воспитанников великий пример покорности, какую всякий подданный должен выказывать королю, которого над ним поставил Бог. Впрочем, можешь быть уверен, что в целом свете нет более верного и разумного поведения, нежели то, что исходит из древней заповеди: «Чти Бога, будь праведен и никого не бойся».

И помни также: если творится вопиющая несправедливость по отношению к честным людям, раздается голос общества и возносит тех, кто унижен.

Но ежели вопреки всякой вероятности этого не произойдет, ежели Господь ниспошлет добродетели нашего друга это наивысшее испытание, ежели Провидение окажется до такой степени у него в долгу, верь мне, оно и в этом случае с лихвой возместит свой долг: события и происшествия, что происходят вокруг нас и с нами, всего лишь механизм, который приводит в движение верховная десница, дабы пополнить наше воспитание для вступления в лучший мир, и только там мы обретем наше истинное место. Постарайся же, дорогое мое дитя, неизменно и беспрерывно следить за собой, дабы не принимать отдельные красивые и возвышенные жесты за подлинную добродетель, и всякий миг будь готов исполнить то, чего требует от тебя долг. Поверь мне, в сущности, когда рассматриваешь явления изолированно, нет ни великого, ни малого, и лишь их совокупность дает нам единство добра либо зла.

Впрочем, Господь ниспосылает испытания только серд-

цам, которым он даровал силу, и твое описание того, как твой учитель воспринял постигшую его беду, является еще одним подтверждением этой великой и вечной истины. Дорогой мой мальчик, бери с него пример, и если тебе нужно покинуть Хоф и переехать в Бамберг, спокойно и мужественно смирись с этой необходимостью; человек получает три разных рода воспитания: то, которое ему дают родители, второе – налагаемое обстоятельствами и, наконец, то, где он сам является собственным воспитателем; раз уж случилось такое несчастье, моли Бога, дабы он помог тебе достойно довершить воспитание третьего рода, самое важное из всех.

В качестве примера я приведу тебе жизнь и поведение моего отца, о котором ты почти ничего не слышал, так как он скончался еще до твоего рождения, но чей дух и облик возродился, если взять всех твоих братьев и сестер, в тебе одном. Злосчастный пожар, обративший его родной город в пепел, уничтожил как родительское, так и его собственное состояние; его отец, видя, что все утратил, поскольку огонь, как было установлено, начался в соседнем доме, скончался от горя, а мать, уже в течение шести лет прикованная к одру болезни по причине чудовищных конвульсий, в перерывах между приступами недуга содержала трудом своих рук трех малолетних дочерей, и тогда твой дед нанялся простым приказчиком в один из самых крупных торговых домов Аугсбурга, где его живой и в то же время ровный характер всем пришелся по сердцу; он поступил на должность, для которой

не был рожден, и возвратился в родной дом с чистым и незапятнанным сердцем, чтобы стать опорой матери и сестрам.

Человек многое может, когда жаждет многое совершить; присоедини же свои усилия к моим молитвам, а остальное доверь Богу».

Предсказание пуританки сбылось: некоторое время спустя директор Зальфранк был назначен учителем в Райхенбург, куда за ним последовал Занд; именно там его настигли события 1813 года. В конце марта он пишет матери:

> *«Я даже не смогу Вам описать, дражайшая матушка, до какой степени я исполнен спокойствия и счастья с той поры, как мне дозволено уверовать в освобождение отчизны, каковое, как я слышу со всех сторон, должно скоро произойти, отчизны, которую, в своем уповании на Господа, я уже заранее вижу вольной и могучей и ради счастья которой я готов на любые муки и даже на смерть. Наберитесь сил, чтобы вынести это потрясение. Если по случайности оно затронет и нашу провинцию, возведите глаза к всемогущему Богу, а затем опустите их и посмотрите на прекрасную и изобильную природу. Всемилостивый Бог, спасавший и сохранивший стольких людей во время гибельной Тридцатилетней войны, сумеет и пожелает и сегодня сделать то, что сумел и пожелал сделать тогда. Ну а я верю и надеюсь».*

Лейпцигская битва подтвердила предчувствия Занда; сле-

дом пришел 1814 год, и он окончательно поверил, что Германия свободна.

10 декабря 1814 года он покинул Райхенбург со следующим свидетельством своих учителей:

> *«Карл Занд принадлежит к тем немногочисленным избранным юношам, которые выделяются одновременно и умственными способностями, и душевными качествами; в прилежании и усердии он превосходит всех своих соучеников, чем объясняются его быстрые успехи во всех философских и филологических науках; единственно ему необходимо еще пополнить знания в математике. Самые сердечные пожелания учителей сопутствуют ему при выпуске.*
> *Райхенбург, 15 сентября 1814 года.*
> *Й. А. Кашн, директор и наставник первого [27]класса».*

Но подготовили эту плодородную почву, в которую учителя посеяли семена знаний, конечно, родители, главным же образом мать, и Занд это прекрасно понимал, так как написал ей при отъезде в Тюбинген в университет, где собирался изучать теологию, необходимую для получения должности пастора, поскольку выбрал для себя это поприще:

> *«Признаюсь, что обязан Вам так же, как мои братья и сестры, той наилучшей и большей частью моего воспитания, которой, как я заметил, недостает многим из окружающих меня людей. Только небо одно*

---

[27] На Западе отсчет классов идет в порядке, обратном нашему.

способно вознаградить Вас за это сознанием, что Вы столь благородным и высоким образом и в этом исполнили свой родительский долг».

Навестив брата в Санкт-Галлене, Занд приехал в Тюбинген, куда его влекла, главным образом, слава Эшенмайера[28]; эту зиму он прожил спокойно и без особых событий, если не считать приема в корпорацию буршей, именуемую «Тевтония», но вот подошла Пасха 1815 года и с нею вместе страшная весть, что Наполеон высадился в бухте Жюан. Тотчас же вся немецкая молодежь, способная носить оружие, объединилась под знаменами 1813 и 1814 года; Занд последовал общему примеру, но только если у других подобный поступок был следствием порыва, то у него – результатом спокойного и обдуманного решения.

Вот что он писал в Вонзидель по этому поводу:

«Дорогие мои родители, до сих пор я слушался Ваших отеческих наставлений и советов моих превосходных профессоров, до сих пор я старался быть достойным воспитания, которое Господь ниспослал мне через Вас, и усердно учился, дабы обрести возможность распространять на своей родине слово Божие; вот почему сегодня я откровенно уведомляю Вас о принятом мною решении, уверенный, что, как нежные и любящие родители, Вы примете его спокойно, а как немецкие родители и патриоты, даже одобрите это

---

[28] *Эшенмайер, Адам Карл Август* (1768–1852) – профессор медицины в Тюбингенском университете.

мое решение и не станете пытаться отговорить меня от него.

Отчизна вновь зовет на помощь, и на сей раз этот призыв обращен и ко мне, ибо теперь у меня достаточно и отваги, и сил. Поверьте, мне пришлось выдержать большую внутреннюю борьбу, чтобы в 1813 году, когда раздался первый ее клич, не отозваться на него, и удержала меня только уверенность, что тысячи других юношей сражаются и побеждают ради счастья Германии, а мне еще нужно расти, дабы вступить на мирное поприще, к которому я предназначен. Теперь же нужно сохранить обретенную свободу, которая во многих местах уже принесла столь обильные плоды. Всемогущий и милосердный Господь послал нам это великое и, убежден, последнее испытание, и мы должны подняться, если мы достойны величайшего его дара и способны силой и твердостью сохранить его.

Никогда отчизне не грозила столь огромная опасность, как сейчас, и потому среди германской молодежи сильные должны поддерживать колеблющихся, дабы подняться всем вместе. Наши отважные братья на Севере уже собираются со всех сторон под свои знамена; Вюртембергский ландтаг объявил всеобщее ополчение, и отовсюду стекаются добровольцы, жаждущие лишь одного – умереть за родину. Мой долг таков же – сражаться за свою страну и за всех, кого я люблю. Не будь я глубочайше убежден в этой истине, я не стал бы

сообщать Вам о своем решении, но ведь у моих родных истинно германские сердца, и они сочли бы меня трусом, недостойным сыном, если бы я не последовал этому порыву. Разумеется, я представляю огромность жертвы, которую приношу; поверьте, мне стоит большого труда бросить занятия и пойти под командование неотесанных и необразованных людей, но эта жертва только укрепляет мое мужество и решимость обеспечить свободу своих братьев; как только эта свобода упрочится, если будет на то соизволение Бога, я вернусь, дабы нести им его слово.

Итак, я на некоторое время расстаюсь с Вами, мои почтенные родители, мои братья и сестры, все, кто мне так дорог. По зрелом размышлении я решил, что всего лучше мне было бы служить с баварцами, и потому добился, чтобы на все время, пока будет длиться война, меня взяли в роту баварских стрелков. Прощайте же, будьте счастливы; как бы далеко Вы ни были от меня, я буду следовать Вашим благочестивым наставлениям. На этом новом пути я надеюсь остаться чист перед Богом и идти той тропой, что возвышается над делами земными и ведет к небесам; быть может, и на этом поприще во мне сохранится высокое стремление спасать души от гибели.

Со мной везде и всегда будет Ваш бесценный образ; везде и всегда я хочу иметь Бога перед очами и в сердце, дабы с радостью вынести страдания и невзгоды этой священной войны. Поминайте меня в своих молитвах;

пусть Господь ниспошлет Вам надежду на лучшее будущее, дабы помочь пережить нынешние скверные времена. Мы вскоре свидимся, если победа будет за нами, а если же потерпим поражение (да сохранит нас от этого Господь!), то моя последняя воля – и я умоляю, заклинаю Вас, мои дорогие и достойные немецкие родители, исполнить эту мою последнюю, предсмертную волю, – чтобы Вы оставили эту порабощенную страну ради любой другой, не попавшей пока еще под иго.

Но зачем печалить друг другу сердца? Разве наше дело не правое и не святое и разве Бог не праведен и не свят? Так неужели же мы не победим? Как видите, иногда у меня тоже случаются сомнения, поэтому в своих письмах, которых я с нетерпением жду, имейте жалость ко мне и не селите в мою душу страхов, ведь в любом случае мы навсегда обретем друг друга в иной отчизне, и она будет свободной и счастливой.

Остаюсь до смерти Вашим почтительным и признательным сыном
Карл Занд».

В постскриптуме были два стиха Кернера[29]:

Быть может, мы узрим над трупами врагов
Взошедшую звезду свободы.

---

[29] *Кернер, Теодор* (1791–1813) – немецкий поэт, участвовавший как партизан в освободительной войне против Наполеона, погиб в сражении.

Попрощавшись таким образом с родителями, Занд со стихами Кернера на устах оставил свои книги, и 10 мая мы уже видим его с оружием в руках среди стрелков-добровольцев, собранных под командованием майора Фалькенхаузена, который в ту пору оказался в Мангейме; там Занд встретил своего второго брата, опередившего его, и они вместе обучаются солдатскому ремеслу.

Хотя Занд не был привычен к большим физическим тяготам, он прекрасно перенес все трудности похода, отказываясь от любых поблажек, которые пробовали предоставить ему командиры; он не хотел, чтобы кто-то превзошел его в трудах, предпринятых им ради блага родной страны. На всем пути он братски делился тем, что у него было, с товарищами, помогал более слабым, беря у них ранцы, и, будучи к тому же проповедником, поддерживал их словом, когда ничего другого сделать не мог.

18 июня в восемь утра он был на поле Ватерлоо. 14 июля вошел в Париж.

18 декабря 1815 года Карл Занд и его брат возвратились в Вонзидель, к великой радости всей семьи. Он провел в родительском доме рождественские и новогодние праздники, но пламенная тяга к своему призванию не позволила ему долго там оставаться, и 7 января он прибывает в Эрланген.

Именно тогда, желая наверстать потерянное время, он решает подчинить свою жизнь жестокому единообразному распорядку и записывать каждый вечер все, что делал с утра.

Благодаря этому дневнику мы сможем проследить не только все поступки юного энтузиаста, но и все его мысли и духовные искания. В нем Занд простодушен до наивности, экзальтирован до помешательства, добр к другим до слабости, суров к себе до аскетизма. Его безмерно удручают расходы, которые родители вынуждены нести ради его образования, и всякие бесполезные и дорогостоящие удовольствия оставляют в его сердце глубокие угрызения.

Так, 9 февраля 1816 года он записывает:

> *«Я рассчитывал сегодня навестить родителей. Поэтому зашел в торговый дом и там весьма приятно провел время. Н. и Т. завели, как всегда, свои бесконечные шуточки насчет Вонзиделя, так продолжалось до одиннадцати. Но затем Н. и Т. стали меня терзать, зазывая в кафе[30], я отказывался до последней возможности. Так как всем своим видом они давали понять, будто считают, что я из пренебрежения к ним не желаю пойти выпить по стаканчику рейнского, я более не посмел отказываться. К несчастью, они не ограничились брауэнбергером, и хотя мой стакан еще не опорожнился и до половины, Н. велел принести бутылку шампанского. Когда она опустела, Т. заказал вторую, а когда и вторая была выпита, оба они*

[30] Во французском языке нет слова, чтобы правильно передать немецкое Weinhaus. Это заведение – нечто среднее между трактиром и кабачком, где студенты собираются по вечерам, чтобы курить и пить пиво и рейнские вина. (Примеч. автора.)

потребовали третью за мой счет, хоть я и был против. Домой я вернулся совершенно одурманенный, рухнул на софу и с час проспал на ней, прежде чем лег в постель.

Так прошел этот постыдный день, в который я так мало думал о моих добрых, почтенных родителях, живущих бедной и трудной жизнью, день, когда я по примеру тех, у кого есть деньги, позволил вовлечь себя в бессмысленную трату четырех флоринов, а ведь на них вся наша семья могла бы жить целых два дня. Прости меня, Господи, умоляю, прости меня и прими мою клятву, что никогда больше я не впаду в подобный грех. Отныне я намерен жить еще воздержанней, чем привык, дабы восполнить в своем скудном кошельке досадные следы роскошества и не оказаться вынужденным просить у матушки денег прежде того дня, когда она сама решит прислать мне их».

Примерно в то же время, когда бедный юноша корит себя, словно за страшное преступление, за трату четырех флоринов, умирает одна из его кузин, перед тем успевшая овдоветь, оставив сиротами троих детей. Занд тотчас же спешит утешить бедных малюток, умоляет мать взять на попечение самого младшего и, обрадованный ответом, так благодарит ее:

«За ту огромную радость, какую Вы доставили мне своим письмом, за любящий голос Вашего сердца, который в нем я услышал, будьте благословенны, матушка! Как я должен был надеяться и в чем

имел даже твердую уверенность, Вы взяли маленького Юлиуса, и это вновь преисполняет меня глубочайшей признательностью к Вам и тем сильней, что в своей всегдашней уверенности в Вашей доброте я дал нашей добрейшей кузине, еще когда она была жива, обещание, что Вы после ее смерти рассчитаетесь с нею за меня».

В начале марта Занд не то чтобы заболел, но почувствовал недомогание, которое заставило его поехать принимать воды; его мать в это время находилась на железоделательном заводе в Редвице, расположенном в трех-четырех лье от Вонзиделя, где как раз и находились воды. Занд поселился на заводе у матери, и хотя намеревался не прерывать трудов, ему приходилось тратить время на ванны, а кроме того, всевозможные приглашения, не говоря уже о прогулках, необходимых для поправки здоровья, нарушали размеренность жизни, к которой он привык, и порождали в нем угрызения совести. Вот что находим мы в его дневнике под датой 13 апреля:

«Жизнь без возвышенной цели, которой подчинены все мысли и поступки, пуста и ничтожна, доказательство тому сегодняшний мой день: я провел его с родными, и для меня это, без сомнения, огромное удовольствие. Но как я его провел? Я беспрерывно ел, так что, когда вознамерился поработать, был уже ни к чему не способен. Исполненный вялости и безразличия, вечером я ходил по гостям и вернулся в том же расположении духа, в каком уходил».

Для верховых прогулок Занд брал рыжую лошадку, принадлежащую брату, и вот такое времяпровождение ему очень нравилось. Лошадка была куплена с огромным трудом, поскольку, как мы уже упоминали, семейство Зандов было небогато. Следующая запись, касающаяся этого животного, дает представление о простодушии Занда.

«19 апреля.

Сегодня я был счастлив на заводе и весьма трудолюбив рядом с матушкой. Вечером вернулся на лошадке домой. С позавчерашнего дня, когда она сделала неловкий прыжок и поранила себе ногу, она стала весьма строптивой и раздражительной, а по приезде отказалась есть. Сперва я подумал, что ей не нравится еда, и дал ей несколько кусочков сахара и несколько палочек корицы, которые она страшно любит; она попробовала их, но есть не стала. Кажется, бедное животное, кроме раны на ноге, страдает от какого-то внутреннего заболевания. Ежели, к несчастью, она охромеет или заболеет, все, включая и родственников, сочтут, что это моя вина, хотя я старательно и заботливо ухаживал за ней. Господи, великий Боже, ты, который можешь все, отведи от меня эту беду и сделай так, чтобы она как можно скорей выздоровела. Но если ты решил иначе, если на меня должно обрушиться это новое несчастье, я постараюсь мужественно перенести его, приняв как искупление за какой-то грех. Впрочем, Господи, я и тут вручаю себя тебе, как вручаю свою душу и жизнь».

20 апреля он записывает:

«Лошадка чувствует себя хорошо, Бог помог мне».

Немецкие нравы так отличны от наших, и противоположности в одном и том же человеке по ту сторону Рейна сходятся настолько часто, что нам просто необходимы цитаты, которые мы тут приводим, чтобы дать нашим читателям верное представление об этом характере, смеси наивности и рассудительности, детскости и силы, унылости и энтузиазма, материальных мелочей и поэтических мыслей, который делает Занда непостижимым для нас. Но продолжим его портрет, поскольку на нем еще не хватает последних мазков.

По возвращении в Эрланген после полного выздоровления Занд впервые прочел «Фауста»; поначалу это произведение поразило его, и он счел было его проявлением извращенности гения, однако, дочитав до конца и вернувшись к первому впечатлению, он записывает:

«4 мая.

О, жестокая борьба человека и дьявола! Только сейчас я ощущаю, что Мефистофель живет и во мне, и ощущаю это с ужасом, Господи!

К одиннадцати вечера я закончил чтение этой трагедии и увидел, почувствовал дьявола в себе, так что когда пробило полночь, я, плача, исполнясь отчаяния, сам себя испугался».

Постепенно Занд впадает в сильную меланхолию, вырвать из которой его может лишь желание усовершенствовать и

сделать нравственней окружающих его студентов. Для всякого, кто знает университетскую жизнь, подобный труд покажется сверхчеловеческим. Однако Занд не падает духом и, если не может распространить свое влияние на всех, ему, по крайней мере, удается сформировать вокруг себя большой кружок, состоящий из самых умных и самых лучших; однако среди этих апостольских трудов его охватывает непонятное желание умереть; кажется, что ему вспоминается небо и он испытывает потребность вернуться туда; он сам называет это стремление «ностальгией души».

Любимыми его авторами являются Лессинг, Шиллер, Гердер и Гете; в двадцатый раз перечитав двух последних, он записывает:

> *«Добро и зло соприкасаются: страдания юного Вертера и совращение Вайслингёна – это почти та же самая история; но неважно, мы не должны судить, что в других есть добро и что зло, ибо это сделает Господь. Я только что долго обдумывал эту мысль и остаюсь в убеждении, что ни при каких обстоятельствах нельзя позволить себе искать дьявола в ближнем и что у нас нет права кого-либо осуждать; единственное существо, по отношению к которому мы получили власть судить и выносить приговор, – это мы сами; нам и с самими собой вполне хватает забот, трудов и огорчений.*
>
> *И еще я сегодня ощутил глубокое желание вырваться из этого мира и вступить в мир высший, но*

желание это скорей от подавленности, чем от силы, скорей усталость, чем порыв».

1816 год для Занда проходит в благочестивых попечениях о своих товарищах, в постоянном исследовании самого себя и в непрекращающейся борьбе, которую он ведет с навязчивым желанием смерти; с каждым днем у него все больше сомнений в себе, и вот первого января 1817 года он записывает в дневнике такую молитву:

«Господи, наделивший меня, посылая на эту землю, свободой воли, даруй мне свою милость, дабы и в наступающем году я ни на миг не ослаблял это постоянное наблюдение за собой и постыдно не прекратил исследовать свою совесть, как я это и делал до сих пор. Дай мне сил, чтобы возрастало то внимание, с каким я обращаюсь к своей жизни, и уменьшалось то, какое я обращаю на жизнь других людей; укрепи мою волю, дабы она стала достаточно сильной, чтобы управлять плотскими желаниями и заблуждениями ума; дай мне благочестивую совесть, всецело преданную твоему царствию небесному, дабы я всегда принадлежал тебе, а ежели вдруг оступлюсь, чтобы вновь смог вернуться к тебе».

Занд имел все основания просить Бога, чтобы тот укрепил его в наступающем 1817 году, так как небо Германии, озаренное Лейпцигом и Ватерлоо, вновь затягивали тучи: на смену безмерному и всеобъемлющему деспотизму Наполеона пришел гнет мелких князьков, составляющих германский

сейм. Низвергнув великана, народ достиг единственно того, что попал под власть карликов.

Тогда-то и начали создаваться по всей Германии тайные общества. В нескольких словах мы расскажем о них, потому что история, которую мы пишем, есть история не только отдельных людей, но и народов, и всякий раз, когда у нас будет появляться возможность, мы станем представлять на нашем крохотном полотне широкую панораму.

Тайные общества Германии, о которых мы столько слышали, ничего о них не зная, прежде чем разлиться, подобно полноводным рекам, имели, по всей видимости, своим истоком своеобразные ответвления клубов иллюминатов и франкмасонов, которые обратили на себя всеобщее внимание в конце XVIII века. В эпоху революции восемьдесят девятого года все эти философские, политические и религиозные секты с энтузиазмом восприняли республиканскую пропаганду, и успехи наших первых генералов нередко приписывались тайным усилиям этих ответвлений.

Когда Бонапарт, который знал о них и, как поговаривают, даже был членом одного из таких обществ, сменил генеральский мундир на императорскую мантию, все эти секты, считавшие его отступником и предателем, не только объединились против него внутри страны, но и стали искать его врагов за границами ее, а поскольку они обращались к возвышенным и благородным страстям, то повсеместно находили отклик, и монархи, у которых была возможность воспользо-

ваться плодами их деятельности, недолгое время поддерживали их. Между прочим, принц Людвиг Прусский[31] был великим магистром одной из лож.

Покушение Штапса, о котором мы уже мельком упоминали, было одним из первых ударов грома этой грозы, но через день был подписан мир в Вене, и унижение Австрии завершило распад дряхлой Германской империи. Претерпевшие смертельный удар в 1806 году и преследуемые французской полицией, эти общества уже не могли организовываться публично и вынуждены были вербовать новых членов тайно.

В 1811 году в Берлине арестовали множество агентов этих обществ, но прусские власти по секретному приказу королевы Луизы покровительствовали им и, когда хотели, легко водили за нос французскую полицию.

После февраля 1813 года поражения французской армии возродили мужество тайных обществ: стало очевидно, что их делу помогает Бог; студенчество по большей части с энтузиазмом присоединилось к их новым стараниям; во множестве университетов студенты дружно и чуть ли не в полном составе поступали на военную службу, выбирая командирами своих ректоров и профессоров; героем этого движения стал поэт Кернер, погибший 18 октября в Лейпцигской битве.

Триумфом этого национального движения было двукратное вступление в Париж прусской армии, большую часть ко-

---

[31] *Людвиг Фердинанд* (1772–1806) – племянник короля Фридриха II, прусский военачальник, участник войн против Франции.

торой составляли добровольцы, но когда стали известны договоры 1815 года и новая германская конституция, они произвели в Германии ужасающее впечатление; все эти молодые люди, воодушевленные своими монархами, поднялись во имя свободы, но вскоре поняли, что оказались всего лишь орудием европейского деспотизма, который воспользовался ими, чтобы укрепиться; они захотели потребовать исполнения данных обещаний, но политика гг. Талейрана и Меттерниха угнетала их и, подавив, после первых же высказанных ими слов, вынудила скрыть свое недовольство и надежды в университетах, которые, пользуясь особым уставом, легче могли избегнуть внимания ищеек Священного союза; таким образом, при любых притеснениях, как бы ни велики они были, тайные общества все-таки продолжали существовать, сообщаясь между собой с помощью путешествующих студентов, которые, получив устное поручение, под предлогом сбора гербариев обходили всю Германию, рассеивая повсюду пламенные и вселяющие надежду слова, каким всегда так жадно внимают народы, но которые так ужасают королей.

Мы уже знаем, что Занд, охваченный общим порывом, волонтером проделал кампанию 1815 года, хотя ему было всего девятнадцать лет; по возвращении он, как и остальные, был обманут в своих лучезарных надеждах, и именно в этот период мы видим, как в его дневнике возникают мотивы мистицизма и печали, что, несомненно, уже отметили наши читатели. Вскоре он вступает в одно из обществ, именуемое

«Тевтония», и, обретя в религии величайшую опору, пытается сделать заговорщиков достойными предпринятой ими цели; его морализаторские старания у некоторых имеют успех, но большинство отвергает их.

Тем не менее Занду удается образовать вокруг себя значительный круг пуритан числом от шестидесяти до восьмидесяти студентов, принадлежащих к секте «Буршеншафт», которая, невзирая на насмешки соперничающей секты «Ландсманшафт», следует своим политическим и религиозным путем; во главе ее становятся он сам и его друг по имени Дитмар, и хотя власть их не основывается на выборности, их влияние при принятии решений свидетельствует, что в сложившихся обстоятельствах сотоварищи непроизвольно подчиняются импульсам, которые эти двое считают необходимым внушать своим адептам. Собрания буршей происходят на невысоком холме неподалеку от Эрлангена, на вершине которого стоит старый замок; Занд и Дитмар называли его Рютли в память о том месте, где Вальтер Фюрст, Мельхталь и Штауфахер дали клятву освободить свой родной край[32]; здесь студенты собирались якобы отдохнуть и постепенно, камень по камню выстроили на месте развалин новый дом, переходя попеременно от действия к символу и от символа к действию.

Союз этот, надо отметить, так широко распространился

---

[32] Имеются в виду вожди движения швейцарских кантонов за освобождение от власти Габсбургов, завершившееся победоносным восстанием 1307 г.

по всей Германии, что вызвал беспокойство не только у королей и князей Германской конфедерации, но и у европейских монархов. Франция посылала агентов, дабы они доносили о деятельности союза, Россия не жалела денег на подкуп; нередко причиной гонений на какого-нибудь профессора, ввергавших в отчаяние весь университет, являлась нота Тюильрийского или Санкт-Петербургского кабинета.

В этой гуще событий Карл Занд, поручив себя заступничеству Бога, начал 1817 год в весьма, как мы видели, унылом настроении, которое держалось у него не столько отвращением к самой жизни, сколько к ее проявлениям. 8 мая, терзаясь меланхолией, которую он пытался преодолеть и источником которой являлись обманутые политические надежды, он записал в дневнике:

> *«Все так же неспособен взяться серьезно за работу, и это ленивое настроение и ипохондрическое расположение духа, набрасывающее черную вуаль на все явления жизни, продолжается и усиливается, невзирая на нравственный импульс, который я вчера дал себе».*

Во время каникул, опасаясь материально стеснить родителей и увеличить их расходы, он не поехал к ним, а предпочел вместе с друзьями отправиться путешествовать пешком. Несомненно, путешествие это, кроме увеселительных, имело и определенную политическую цель. Но как бы то ни было, в продолжение всей экскурсии Занд отмечает в дневнике

лишь названия городов, через которые проходил. Впрочем, чтобы дать представление, до какой степени Занд слушался родителей, следует сказать, что он отправился в это путешествие, только получив на то позволение от матери.

Вернувшись, Занд, Дитмар и их друзья бурши нашли свой Рютли разрушенным их противниками из «Ландсманшафта», а обломки его разбросанными. Занд воспринял это событие как пророческий знак и был страшно удручен.

> *«О Господи,*– записывает он в дневнике, – *мне кажется, что все вокруг меня плывет и кружится. Душа моя становится все мрачней и мрачней, нравственные силы не возрастают, а убывают; я тружусь, но ничего не могу достичь, иду к цели, но не могу к ней прийти, истощаю себя, но ничего великого не совершаю. Дни жизни утекают один за другим, заботы и тревоги растут, и я нигде не вижу той гавани, где может пристать корабль нашего святого германского дела. В конце концов мы все падем, и я сам уже колеблюсь. О Господи, Отец Небесный, охрани меня, спаси меня и проведи в ту страну, которую мы непрестанно отвергаем безразличием колеблющихся умов».*

В ту же пору страшное событие потрясло Занда до глубины души: утонул его друг Дитмар.

Вот что Занд записал в дневнике утром того дня, когда это случилось:

> *«О Господи всемогущий, что же будет со мной?*

Вот уже четыре дня я пребываю в смятении, не могу заставить себя пристально взглянуть ни на прошлую свою жизнь, ни на будущую; дошло до того, что с 4 июня в дневнике нет ни одной записи. И все же, Господи, и в эти дни у меня были поводы славить тебя, но моя душа полна страха. Боже, не отвращайся от меня; чем больше преград, тем больше требуется сил».

А вечером к утренней записи он добавляет эти несколько слов:

«Скорбь, отчаяние и смерть друга, моего горячо любимого друга Дитмара».

В письме домой он рассказывает об этом трагическом событии:

«Вам известно, что, когда мои ближайшие друзья Ю. К. и Ц. уехали, я особенно сошелся с Дитмаром фон Ансбахом. Дитмар – истинный и достойный немец, евангелический христианин, наконец, человек! Ангельская душа, всегда устремленная к добру, светлая, благочестивая, готовая к действию. Он поселился в доме профессора Грюнлера в комнате напротив меня; мы сдружились, объединили наши усилия и, худо ли, хорошо ли, вместе переносили добрые и скверные повороты судьбы. В тот последний вечер весны, позанимавшись каждый у себя в комнате и вновь укрепившись в стремлении противостоять всем невзгодам жизни и достичь нашей цели, мы около семи часов пошли искупаться в Реднице. Темная грозовая

туча появилась на небе, но в тот момент она была еще только на горизонте. Э., присоединившийся к нам, предложил вернуться, но Дитмар отказался, сказав, что до канала рукой подать. Слава Богу, что он дозволил не мне произнести этот гибельный ответ. Мы продолжили наш путь, закат был великолепен. Он и сейчас еще стоит у меня перед глазами: темно-лиловые тучи, окрашенные по краям золотом; я запомнил все подробности этого рокового вечера.

Дитмар первым вошел в воду: он единственный из нас умел плавать и потому шел впереди, чтобы мы видели глубину. Мы зашли по грудь, а ему вода уже была по шею, ведь он опережал нас, и тогда он сказал нам, чтобы дальше мы не шли, потому что дно уходит. После этого он поплыл, но едва успел сделать несколько взмахов руками, как оказался там, где река разделяется на два рукава, крикнул и, желая встать на дно, исчез. Мы тотчас бросились на берег, надеясь оттуда успешней оказать ему помощь, но поблизости не нашлось ни шеста, ни веревки, а мы оба, как я уже упомянул, не умеем плавать. Тогда мы изо всех сил стали звать на помощь. В этот миг Дитмар вынырнул и в отчаянном усилии ухватился за ветку ивы, свисающую над водой, но она оказалась слишком хлипкой, чтобы удержать его, и наш друг вновь исчез, словно пораженный апоплексическим ударом. Вообразите себе, в каком состоянии были мы, его друзья, как мы склонялись над рекой, напряженным и безумным взглядом пытаясь проникнуть в глубину вод.

О Боже, Боже, как мы только не сошли с ума!

Тем временем на наши крики сбежалось множество народа. В течение двух часов с лодок обшарили баграми дно и наконец вытащили его труп из глубины. Вчера мы торжественно перенесли его к месту вечного упокоения.

Итак, весна кончилась, и началось важное для моей жизни лето. Я приветствую его в настроении мрачном и меланхолическом, и вы видите меня не столько утешившимся, сколько укрепившимся в вере, и она дает мне уверенность, что благодаря жертве Христа я обрету моего друга на небе, с высоты которого он наполняет меня силой, дабы я мог перенести все испытания этой жизни, и сейчас я хочу только одного: знать, что вы совершенно не тревожитесь обо мне».

Эта трагедия отнюдь не объединила общей скорбью обе студенческие секты, а, напротив, лишь ожесточила ненависть, какую они питали друг к другу. Среди первых прибежавших на крики Занда и его друга был один из членов «Ландсманшафта», умевший к тому же плавать, но вместо того, чтобы броситься спасать Дитмара, он воскликнул: «Слава Богу, кажется, мы избавимся от одного из этих собак буршей!» Невзирая на такое проявление враждебности, которое, впрочем, могло быть личным и не иметь никакого отношения ко всему обществу, бурши пригласили своих противников принять участие в погребении Дитмара. Ответом им был грубый отказ и угроза помешать похоронам и надру-

гаться над трупом. Тогда бурши предупредили власти, которые приняли меры; друзья же Дитмара сопровождали его тело, держа в руках шпаги. Видя эту спокойную, но решительную демонстрацию, члены «Ландсманшафта» не осмелились привести угрозу в исполнение и ограничились тем, что осыпали похоронную процессию оскорблениями, насмешками и пением куплетов.

Занд записал в дневнике:

> *«Утрата Дитмара – величайшая потеря для всех и особенно для меня: он отдавал мне избыток своей силы и жизни, сдерживал, подобно плотине, все, что было зыбкого и нерешительного в моем характере. Благодаря ему я научился не страшиться надвигающейся бури, обрел умение сражаться и готовность погибнуть».*

Через несколько дней после похорон у Занда произошла из-за Дитмара ссора с давним другом, перешедшим от буршей в «Ландсманшафт»; во время погребения была замечена его неуместная веселость. Назавтра была назначена дуэль, и в тот вечер Занд записывает в дневнике:

> *«Завтра я должен драться с П. Г. Господи, ты же знаешь, какими мы некогда были друзьями, хотя холодность его всегда внушала мне определенное недоверие; однако в нынешних обстоятельствах из-за его гнусного поведения чувства мои к нему переменились от ласковой сострадательности к глубочайшей ненависти.*
>
> *Господи, не отнимай своей десницы ни от него,*

ни от меня, ибо мы будем драться как мужчины, но суди нас по нашим делам и дай победу тому, кто прав. Если ты призовешь меня предстать перед твоим судом, знаю, я туда явлюсь, отягченный вечным проклятием, так что я рассчитываю не на себя, а лишь на заступничество Спасителя нашего Иисуса Христа.

Но что бы ни случилось, славься вовеки и будь благословен, Господи! Аминь.

Мои дорогие родители, братья и друзья, поручаю вас покровительству Господню».

На следующий день Занд напрасно прождал два часа: противник не явился.

Впрочем, утрата Дитмара отнюдь не произвела на Занда того воздействия, какого можно было бы ожидать и какое, похоже, он сам себе предсказывал, судя по охватившей его скорби. Лишившись сильного духом друга, на которого он мог положиться, Занд понял, что обязан, удвоив энергию, сделать все, чтобы гибель Дитмара оказалась как можно менее катастрофической для их партии. Теперь он один ведет дела союза, которыми они занимались вдвоем, и конспиративная патриотическая деятельность не замирает ни на миг.

Наступили каникулы, и Занд покидает Эрланген, чтобы более уже не вернуться туда. Из Вонзиделя он поедет в Йену продолжать теологическое образование. Несколько дней он проводит со своими родными и отмечает эти дни в дневнике как счастливые, а затем расстается с ними и приезжает в Йену незадолго до Вартбургского праздника.

Праздник этот, установленный в честь годовщины Лейпцигской битвы, стал торжеством для всей Германии, и хотя монархи знали, что Вартбург является центром, где ежегодно производится прием новых членов в тайные общества, запретить праздник не решались. Союз «Тевтония», представленный более чем двумя тысячами делегатов из разных университетов Германии, занимал важное место на празднике того года. Это был для Занда радостный день: среди новых друзей он встретил и множество старых.

Тем не менее правительство, не решаясь атаковать студенческие общества в открытую, повело под них подкоп. Г-н фон Штаурен опубликовал чудовищную статью против них, написанную, как поговаривали, на основе сведений, которые представил Коцебу[33]. Эта статья произвела большой шум не только в Йене, но и по всей Германии. То был первый удар, нанесенный свободе студентов. Вот какой след этого события мы обнаруживаем в дневнике Занда:

> *«24 ноября.*
>
> *Сегодня часов около четырех после усердных и прилежных занятий я вышел вместе с Э… Проходя по Рыночной площади, мы услышали, как читают новую отравленную клевету Коцебу. Сколько же злобы у этого человека к буршам и ко всем, кто любит Германию!»*

---

[33] *Коцебу, Аугуст Фридрих* (1761–1819) – немецкий писатель и драматург, крайний реакционер и агент Священного союза.

Это первое, да еще в таких выражениях, упоминание в дневнике фамилии человека, которого Занд через полтора года убьет.

Вечером двадцать девятого Занд запишет:

> *«Завтра я с отвагой и радостью совершу паломничество в Вонзидель, где встречу великодушную матушку и нежную сестру Юлию, охлажу голову и согрею душу. Возможно, попаду на свадьбу моего славного Фрица и Луизы и побываю на крестинах первенца дорогого моего Дурхмита. Господи, отец мой небесный, ты всегда был со мной на дороге скорби, не оставь же меня и на дороге радости».*

Эта поездка действительно была радостной для Занда. После смерти Дитмара у него прекратились приступы ипохондрии. Пока Дитмар был жив, он мог умереть, но теперь, когда Дитмар умер, он должен жить.

11 декабря Занд уезжает из Вонзиделя и возвращается в Йену, а 31-го того же месяца записывает в дневнике следующую молитву:

> *«О милосердный Боже, этот год я начал с молитвой, а последнее время был рассеян и в плохом настроении. Оглядываясь назад, я вижу, увы, что не стал лучше, но я иду все дальше по жизни и теперь чувствую, что у меня есть силы действовать, когда представится случай.*
>
> *Ты всегда был со мною, Господи, даже тогда, когда*

я был не с тобой».

Если наши читатели достаточно внимательно читали отрывки из дневника, которые мы тут приводим, они должны заметить, как мало-помалу укрепляется решимость Занда, а мысли его становятся все более экзальтированными. С начала 1818 года ощущается, как его взгляд, долго остававшийся робким и блуждающим, охватывает все более широкий горизонт и устремляется ко все более возвышенной цели. Теперь предметом его устремлений становится не простая жизнь пастора, не крохотное влияние, какое он будет иметь в маленьком приходе, что во времена его скромной юности казалось ему вершиной счастья и блаженства, но родина, но немецкий народ, и даже все человечество, которое объемлют его гигантские планы политического возрождения. И вот на чистом обороте обложки дневника за 1818 год он пишет:

> *«Господи, помоги мне укрепиться в замысле освобождения человечества святой жертвой твоего Сына. Сделай так, чтобы я стал Христом для Германии и чтобы, как Иисус и через него, стал сильным и терпеливым в страдании».*

А тем временем антиреспубликанские брошюры Коцебу все выходили и выходили и начали оказывать гибельное влияние на умы правителей. Почти все, на кого Коцебу нападал в памфлетах, были известны и почитаемы в Йене; можно представить, какое воздействие оказывали все эти оскорбления на юные головы и благородные сердца, в убежденности

доходившие до ослепления, а в энтузиазме до фанатизма.

И вот что 5 мая Занд записывает в дневнике:

> *«Господи, ну почему же эта унылая тревога опять овладевает мной? Но сильная и постоянная воля все преодолевает, и идея отчизны придает самым печальным и самым слабым радость и отвагу. Когда я задумываюсь над этим, то всякий раз удивляюсь, почему среди нас не нашелся хотя бы один мужественный человек и не перерезал глотку Коцебу или любому другому предателю».*

Захваченный этой мыслью, 18 мая он продолжает:

> *«Человек – ничто в сравнении с народом, все равно как единица в сравнении с миллиардом, минута в сравнении с веком. Человек, которому ничто не предшествует и за которым ничто не следует, родится, живет и умирает, и все это объемлет более или менее продолжительный промежуток времени, но соответственно с вечностью этот промежуток короче вспышки молнии. Народ же, напротив, бессмертен».*

Тем не менее, несмотря на мысли о политической неизбежности кровавой расправы, в нем иногда возрождается добрый и жизнерадостный юноша.

24 июня он пишет матери:

> *«Я получил Ваше прекрасное и пространное письмо, к которому были приложены посланные Вами вещи, так щедро и великолепно подобранные. При взгляде*

на превосходное белье я радовался, как когда-то в детстве. Еще одно Ваше благодеяние! Пусть же исполнятся мои молитвы, а я никогда не устану благодарить Вас и Бога. Я получил сразу и сорочки, и две пары чудесных простыней, все, сделанное Вашими руками и руками Каролины и Юлии, лакомства и сласти; нет, я не запрыгал от радости, открыв присланный Вами пакет, но зато трижды повернулся на каблуке. Примите мою сердечную благодарность и разделите, как дарительница, радость получившего подарок.

Сегодня тем не менее важный день, последний день той весны, в которую исполняется год, как я потерял моего благородного и доброго Дитмара. Меня раздирают самые разнообразные и смутные чувства, но лишь две страсти во мне незыблемы, подобно бронзовым столпам, что держат хаос: мысль о Боге и любовь к Родине».

Все это время жизнь Занда внешне выглядит спокойной и размеренной, внутренняя буря утихла, он радуется своему усердию в занятиях и жизнерадостному настроению. И все же время от времени он сокрушается из-за своей склонности к лакомствам, которую никак не может преодолеть. И тогда, исполненный презрения к себе, он честит себя смоковным или пирожным брюхом.

Но при всем при том его религиозная и политическая экзальтация не ослабевает. Вместе с друзьями он совершает пропагандистскую поездку в Лейпциг, Виттенберг и Берлин

и по пути посещает все поля сражений, расположенные поблизости от дороги. 18 октября Занд возвращается в Йену и принимается за учение с еще большим прилежанием, чем когда бы то ни было. Конец 1818 года заполнен напряженными занятиями в университете, и можно было бы усомниться, что он принял чудовищное решение, если бы не запись в дневнике от 31 декабря:

> *«Этот последний день 1818 года я завершил в серьезном и торжественном настроении и решил, что только что прошедшие рождественские праздники будут для меня последним Рождеством, которое я отметил. Чтобы из наших усилий что-то получилось, чтобы дело человечества одержало верх в нашей стране, чтобы в эту эпоху безверия смогли возродиться и утвердиться высокие чувства, необходимо одно условие: мерзавец, предатель, совратитель молодежи подлый Коцебу должен быть повергнут! Я совершенно в том убежден и не успокоюсь, пока не совершу это. Господи, ты знаешь, что я посвятил жизнь великому делу, и ныне лишь оно одно в моих мыслях, и потому молю тебя: даруй мне подлинную стойкость и душевное мужество».*

На этом дневник Занда завершается: он завел его, чтобы укрепиться, достиг своей цели и теперь не испытывает в нем потребности. Теперь он занят лишь этой идеей, продолжает неторопливо вынашивать план, мысленно осваивая его исполнение. Для всех он остался прежним, и лишь спустя из-

вестное время в нем заметили поразительную, ровную безмятежность, которой сопутствовало зримое и радостное возвращение к жизни. Он нисколько не изменил ни распорядок, ни продолжительность занятий и лишь весьма прилежно стал посещать курс анатомии. Однажды заметили, как он куда внимательней, чем обыкновенно, слушал лекцию, в которой профессор объяснял различные функции сердца; Занд тщательнейше определял место, где оно в точности расположено, по два, а то и по три раза просил повторять некоторые демонстрации, выйдя же из класса, принялся расспрашивать студентов, изучающих курс медицины, действительно ли этот орган настолько чувствителен и уязвим, что достаточно нанести в него один-единственный удар, чтобы наступила смерть; причем проделывал он это с таким спокойствием и полнейшим равнодушием, что ни у кого не возникло ни малейших подозрений.

А еще как-то один из его друзей, А. С., зашел к нему в комнату; Занд, слышавший, как тот поднимается по лестнице, ждал его, стоя у стола с ножом для разрезания бумаги в руке; гость вошел, Занд бросился к нему и несильно ударил по лбу, и когда тот вскинул руки, нанес легкий удар ножом в грудь и, довольный проведенным опытом, сказал:

– Вот так и надо действовать, когда хочешь убить человека: делаешь вид, будто собираешься ударить его по лицу, он поднимает руки, и тут ты вонзаешь ему в сердце кинжал.

Молодые люди долго смеялись после этой имитации убий-

ства, а вечером А. С. рассказал о ней в погребке, представив ее как одну из странностей, присущей другу. И только после смерти Коцебу стал ясен смысл этой пантомимы.

Пришел март, и с каждым днем Занд становился все спокойней, все сердечней и добрее; казалось, прежде чем навсегда расстаться с друзьями, он хотел оставить о себе самые лучшие воспоминания. Наконец он объявил, что многочисленные семейные дела вынуждают его совершить небольшую поездку, и начал готовиться к ней с обычной своей тщательностью и в то же время с какой-то невиданной доселе просветленностью. До самого отъезда он продолжал заниматься, не давая себе, как обычно, ни малейшего послабления: Занд не хотел терять времени, так как до срока, который он себе назначил, Коцебу мог умереть или кто-то другой мог прикончить его.

Седьмого марта Занд пригласил к себе вечером друзей и объявил, что уходит послезавтра, девятого. Тут же все стали предлагать проводить его из города, но Занд воспротивился: он опасался, как бы подобные многолюдные проводы не повредили впоследствии его друзьям. Он вышел один, предварительно сняв, чтобы отвести любые подозрения, комнату на следующий семестр, и через Эрфурт и Эйзенах направился в Вартбург.

Оттуда он пошел во Франкфурт, где провел ночь на семнадцатое марта, и на следующий день отправился в Дармштадт. А двадцать второго в девять утра он был на том невы-

соком холме, где мы и застали его в начале нашего рассказа. В продолжение всего пути это был приятный, веселый молодой человек, мгновенно внушающий симпатию.

Придя в Мангейм, он остановился в гостинице и записался в книге регистрации постояльцев под именем Хайнриха. Первым делом Занд справился, где живет Коцебу. Советник жил около церкви иезуитов в угловом доме, и хотя точно буквы[34] назвать ему не смогли, ошибиться было просто невозможно.

Занд сразу же отправился к Коцебу; было уже почти десять, и в доме ему сказали, что советник каждое утро часдругой прогуливается по одной и той же аллее мангеймского парка. Занд справился, по какой аллее и как одет советник: Коцебу он никогда не видел и распознать его мог только по приметам. Случаю было угодно, чтобы в тот день Коцебу выбрал для прогулки другую аллею. Занд около часу бродил по парку, но, не встретив никого, кто соответствовал бы полученному описанию, вернулся в дом Коцебу. Тот уже был у себя, но завтракал и не смог принять Занда.

Занд возвратился в гостиницу, где пообедал за табльдотом; он ничуть не волновался и был так оживлен, говорил так непринужденно, живо и возвышенно, что обратил на себя внимание всех сотрапезников. В пять пополудни он в третий раз направился к Коцебу, который в тот день давал званый обед, но распорядился принять Занда. Его провели в

---

[34] В Мангейме дома пронумерованы буквами, а не цифрами. *(Примеч. автора.)*

небольшой кабинет, смежный с приемной; через несколько секунд туда вошел Коцебу.

Занд разыграл драму, репетицию которой провел на А. С.: нанес Коцебу удар в лицо, тот вскинул руки, открыл грудь, и Занд вонзил ему в сердце кинжал. Коцебу вскрикнул, пошатнулся и рухнул в кресло: он был мертв.

На крик его вбежала шестилетняя девочка, очаровательное немецкое дитя с личиком херувима, синими глазами и длинными вьющимися волосами. С душераздирающими рыданиями она бросилась на труп отца, стала звать его; стоящий в дверях Занд не смог вынести этого зрелища и тут же, не сходя с места, по рукоять вонзил себе в грудь кинжал, еще покрытый кровью Коцебу.

Изумленный тем, что, несмотря на нанесенную себе жесточайшую рану, он остался жив, и не желая попасть в руки к спешащим на крики слугам, Занд бросился вниз по лестнице. По ней как раз поднимались гости, но, увидев бледного, покрытого кровью молодого человека с кинжалом в груди, испуганно закричали и расступились перед ним, не подумав даже задержать. Занд спустился по лестнице и выскочил на улицу. Мимо дома как раз шел патруль, который должен был заступить на караул во дворце. Занд, решив, что солдаты явились на крики, которые неслись из дома, упал посреди улицы на колени и воскликнул:

– Отец небесный, прими мою душу!

Затем он вырвал кинжал, нанес себе второй удар чуть ни-

же первой раны и упал без сознания.

Занда перенесли в госпиталь и содержали там под строжайшей охраной; раны были тяжелые, но благодаря опытности вызванных врачей оказались не смертельными; первая через некоторое время зажила, но во второй, поскольку лезвие прошло между подреберной плевой и плеврой, между этими двумя пленками образовалось кровоизлияние, и потому ей не давали закрыться, каждое утро откачивая из нее скопившуюся за ночь кровь, как это обычно делается при операциях по удалению гноя из грудной полости. Несмотря на заботливый уход и лечение, Занд три месяца находился между жизнью и смертью.

Когда 26 марта известие об убийстве Коцебу дошло из Мангейма до Йены, университетский сенат распорядился вскрыть комнату Занда. Там были обнаружены два письма. Одно было адресовано друзьям по буршеншафту, и в нем Занд объявлял, что более не является членом их общества, так как не хочет, чтобы их собратом оказался человек, которому предстоит умереть на эшафоте.

На втором письме была надпись: «Моим самым дорогим и самым близким», и оно представляло собой подробнейший рассказ о том, что Занд собирается сделать и какие мотивы толкнули его на этот шаг. Хотя письмо несколько длинновато, оно настолько торжественно и так проникнуто античным духом, что мы без колебаний целиком представляем его вниманию наших читателей.

«Всем моим близким.

Верные и неизменно любимые друзья!

Я спрашивал себя: стоит ли еще более усугублять вашу скорбь? Я не решался написать вам, но моя совесть была бы неспокойна, если бы я промолчал; притом чем глубже скорбь, тем большую чашу горечи нужно испить до самого дна, чтобы пришло успокоение. Так пусть же из моей исполненной страхом груди исторгнется длинная и мучительная последняя исповедь, которая только и способна, ежели она искренна, смягчить тоску расставания.

Это письмо несет вам последнее прости вашего сына и брата.

Для любого благородного сердца нет большего несчастья в жизни, нежели видеть, как Божие дело останавливается в своем развитии по нашей вине, и самым страшным позором было бы смириться с тем, что то высокое и прекрасное, которое отважно добывали тысячи людей и за что тысячи с радостью жертвовали собой, оказывается всего лишь пустым призраком без всяких реальных и положительных последствий. Возрождение нашей немецкой жизни началось в последнее двадцатилетие и особенно в священном 1813 году с мужеством, которое вдохнул в нас Господь. И вот отеческий дом потрясен от конька до фундамента. Вперед же! Возведем новый и прекрасный – такой, каким должен быть подлинный храм истинного Бога.

Их немного – тех, кто жаждет остановить, подобно

плотине, стремительный поток высокой человечности в немецком народе. Почему же огромные массы покорно склоняются под ярмом порочного меньшинства? И почему, едва излечившись, мы впали в болезнь, еще худшую, чем та, от которой избавились?

Многие из этих совратителей, и особенно самые бесчестные, играют с нами игру, развращающую нас; среди них Коцебу – самый яростный и худший из всех; это настоящая словесная машина, из которой изливаются омерзительные речи и гибельные советы. Его голос так ловко усмиряет наше недовольство и горечь от самых неправедных мер; именно это и нужно королям для того, чтобы мы погрузились в давний ленивый сон, смертельно гибельный для народов. Каждый день он постыдно предает родину и все-таки, невзирая на предательство, остается идолом для половины Германии, и она, ослепленная им, безропотно принимает яд, который он подает ей в своих бесчисленных памфлетах, ибо он укрыт и защищен обольстительным плащом поэтической славы. Подстрекаемые им государи Германии, забыв свои обещания, запрещают все свободолюбивое и благое, а ежели что-то подобное совершается вопреки им, вступают в сговор с французами, дабы это уничтожить. Чтобы история нашего времени не оказалась запятнана вечным позором, Коцебу должен быть повержен.

Я всегда утверждал: если мы хотим найти великое и окончательное исцеление от того состояния униженности, в каком пребываем, нужно, чтобы никто

не страшился ни войны, ни страданий; подлинная свобода немецкого народа будет достигнута лишь тогда, когда честный бюргер сам вступит в игру, а каждый сын отечества, готовый к борьбе за справедливость, презрит блага сего мира и устремится к благам небесным, путь к которым идет через смерть.

Кто же поразит этого наемного негодяя, этого продажного предателя?

Я рожден не для убийства и долго ждал в тревоге, молитве и слезах, чтобы кто-нибудь меня опередил, развязал и позволил мне продолжать кроткий и мирный путь, что я себе избрал. Но, несмотря на мои слезы и молитвы, не нашлось никого, кто нанес бы удар; что ж, любой человек, точно так же как я, имеет право рассчитывать на другого и рассчитывает; но каждый час промедления лишь ухудшает наше положение, ибо с часу на час Коцебу может безнаказанно покинуть Германию – а не станет ли для нас это вечным позором? – и уехать в Россию проживать богатства, за которые он продал честь, совесть и имя немца. Кто может гарантировать нас от такого позора, если каждый из нас – если я сам – не найдем в себе силы спасти возлюбленную отчизну, приняв на себя избранничество и свершив Божий суд? Итак, вперед! Я мужественно устремлюсь на этого гнусного совратителя и (только не пугайтесь) убью его, чтобы его продажный голос умолк и перестал удерживать нас от исполнения предначертаний истории и Божественного промысла. Непреодолимый и возвышенный долг понуждает меня

к этому поступку с тех пор, как я постиг, сколь высокого удела может достичь немецкий народ в нынешнем столетии; после того, как я узнал негодяя и изменника, который один только и препятствует этого добиться, это побуждение стало для меня, как для всякого немца, стремящегося ко всеобщему благу, суровой и неукоснительной необходимостью. Пусть же этим отмщением от имени народа мне удастся указать всем людям с честной и верной душой, где кроется подлинная опасность, и отвести от наших униженных и оклеветанных союзов огромную и такую близкую угрозу! И пусть мне удастся повергнуть злосердечных и подлых и придать мужества и веры чистым душой! Речи и писания ничего не дают, **действенны** только поступки.

Итак, я буду действовать, и хотя внезапно вынужден расстаться со светлыми мечтами о будущем, все равно полон упований на Бога; более того, я испытываю небесную радость с той поры, как, подобно евреям, искавшим Землю обетованную, увидел перед собой обозначенный в ночи и через смерть путь к цели, к уплате своего долга родине.

Прощайте же, верные сердца! Да, внезапная разлука тяжела; да, ваши надежды, как и мои упования, обмануты, но утешимся мыслью, что мы совершили то, чего требовал от нас голос родины, а это, как вы знаете, всегда было главным принципом моей жизни. Вы, несомненно, будете говорить между собой: «И все-таки, благодаря нашим жертвам, он сумел познать

жизнь и вкусить земных радостей и, кажется, глубоко любил родную страну и скромное поприще, к которому был призван». Увы, это правда. Благодаря вашему попечительству и бесчисленным жертвам родная земля и жизнь стали мне бесконечно дороги. Да, благодаря вам я вошел в Эдем науки и жил свободной мыслительной жизнью; благодаря вам я заглянул в историю, а затем вновь обратился к собственному сознанию, дабы ради Вечности прильнуть к незыблемым столпам веры.

Да, я должен был мирно прожить эту жизнь проповедником Евангелия, должен был, сохраняя верность своему званию, бежать бурь сей юдоли. Но было ли бы это достаточно, чтобы отвратить опасность, угрожающую Германии? И разве вы в своей безмерной любви не обязаны были бы побудить меня рискнуть жизнью ради общего блага? Сколько греков, наших современников, уже пало, чтобы вызволить свою родину из-под турецкого ига, и хотя гибель их не принесла никакого результата и никакой надежды, тысячи новых мучеников не утратили отваги и тоже готовы пожертвовать собой. Так неужто же мне бежать смерти?

Да поверь я, что вы не согласитесь со мной, я принизил бы вашу любовь или показал бы, что не слишком чту ее. Что направляет меня к смерти, как не преданность вам и Германии и не потребность доказать эту преданность своей семье и своей стране?

Матушка, ты спросишь: «Зачем я вырастила сына, которого любила и который любил меня, сына,

стоившего мне стольких забот и стольких мук, который благодаря моим молитвам и моему примеру был так отзывчив на все доброе и должен был заботиться обо мне на склоне моего долгого и трудного жизненного пути так же, как некогда я заботилась о нем? Почему же теперь он покидает меня?»

О моя добрая и ласковая матушка, возможно, вы так спросите. Но разве не могла бы задать такой вопрос каждая мать? Но ведь тогда все уйдет в слова, а нужно действовать! А если никто не захочет действовать, что станет с нашей общей матерью, которая называется Германией?

Нет, благородная мать, ты не снизойдешь до таких жалоб. Однажды я услышал твой призыв, и сейчас, если бы никто не восстал ради Германии, ты сама послала бы меня на битву. У меня есть два брата и две сестры, прекрасные, честные люди. Они останутся с Вами, матушка, а кроме того, Вашими сыновьями станут все дети Германии, любящие свою отчизну.

Каждый человек должен исполнить свое предназначение; мое – свершить задуманный мной поступок. Да проживи я еще пятьдесят лет, я не смог бы прожить их счастливей, чем эти последние дни.

Прощайте, матушка, поручаю Вас покровительству Господнему, и да ниспошлет Он Вам то блаженство, когда не трогают никакие горести! Поскорей проведите своих внуков, которым я так хотел быть ласковым другом, на самую высокую вершину наших прекрасных гор. И пусть там, на этом алтаре, воздвигнутом для

Господа посреди Германии, они посвятят себя в жертву и поклянутся взять в руки меч, как только у них хватит силы держать его, и не выпускать до тех пор, пока все наши братья не соединятся ради борьбы за свободу, пока все немцы, получив либеральную конституцию, не станут великими перед Богом, могучими перед соседями и едиными.

Пусть же моя родина всегда возносит счастливые взоры к Тебе, всемогущий Отец! И да снизойдет твое безмерное благословение на ее нивы, готовые к жатве, и на ее армии, готовые к сражению, и да станет среди всех народов немецкий народ, благодарный за благодеяния, что Ты на него изливаешь, первым, кто поднимается на поддержку дела человечности, ибо она есть Твой образ на земле.

Ваш неизменно любящий сын, брат и друг.
Йена, начало марта 1819 года.
Карл Людвиг Занд».

Вначале Занда поместили, как мы уже упоминали, в больницу, а через три месяца перевезли в мангеймскую тюрьму, где ее директор г-н Г. приготовил ему камеру. Еще месяца два Занд был весьма слаб; левая рука у него была полностью парализована, он едва говорил, любое движение причиняло ему невыносимые страдания; только 11 августа, то есть через пять месяцев после события, о котором мы только что рассказали, он смог написать своим родным письмо.

«Мои дорогие!

Следственная комиссия великого герцога вчера известила меня, что, вполне возможно, мне будет дана безмерная радость: Вы посетите меня, и я смогу здесь обнять Вас, матушка, и кого-нибудь из моих братьев и сестер.

И хоть я ничуть не удивился этому новому доказательству Вашей материнской любви, надежда на свидание опять пробудила во мне воспоминания о счастливой жизни, какую мы вели, когда были вместе. Радость и страдание, желание увидеть Вас и стремление пожертвовать этим счастьем жестоко раздирали мое сердце, и мне понадобилось силою разума взвесить эти столь противоречивые чувства, чтобы овладеть собой и решить, чего же я более хочу.

На чаше весов перетянула жертва.

Вы знаете, матушка, что один-единственный Ваш взгляд, ежедневные свидания, Ваши благочестивые и возвышенные речи могли бы придать мне счастья и мужества на весь этот краткий срок. Но Вы также знаете мое положение, и Вам слишком хорошо известно, как ведутся все эти мучительные допросы, чтобы понимать не хуже меня, что подобные непрерывно возобновляющиеся неудобства весьма уменьшат радость нашей встречи, если не отравят ее окончательно. И потом, подумайте, матушка, что после долгой и тяжелой дороги, которую Вам придется проделать, чтобы повидаться со мной, наступит пора прощания перед вечной разлукой на этом свете и с какими жестокими

муками будет она сопряжена. Так что пожертвуем, покорясь воле Божией, этим свиданием и останемся в нежной мысленной связи, которой не смогут воспрепятствовать никакие расстояния; я черпаю в ней единственную радость, и вопреки людям мы через Господа, нашего небесного Отца, вечно пребудем в ней.

Что же касается моего физического состояния, я совершенно о нем не думаю. Впрочем, как Вы видите, я сам пишу это письмо, из чего можно заключить, что здоровье мое несколько поправилось. А в остальном я слишком плохо знаю строение собственного тела, чтобы судить, какое воздействие на него оказали раны. Но силы несколько вернулись ко мне, состояние это остается неизменным, и я переношу его спокойно и терпеливо; Господь укрепляет меня и дает мне мужество и твердость; верьте, Он поможет мне во всем обрести духовную радость и сохранить силу разума. Аминь.

Будьте счастливы.

Ваш бесконечно почтительный сын.

Мангейм, 18 августа 1819 года.

Карл Людвиг Занд».

Спустя месяц пришли нежные ответы от всех членов семьи; мы приведем здесь только письмо матери Занда, поскольку оно дополняет наше представление об этой женщине с благородным сердцем, как всегда называл ее сын.

«Дорогой, бесконечно дорогой Карл!

Как приятно мне было увидеть после такого долгого

времени строки, написанные столь дорогой рукой! Никакое путешествие не показалось бы мне слишком трудным, никакая дорога, пусть даже самая долгая, не помешала бы мне поехать свидеться с тобой, и я с глубокой и бесконечной любовью отправилась бы на край света с одной лишь надеждой повидать тебя.

Но поскольку я хорошо знаю и твою нежную любовь, и твою безмерную заботу обо мне и поскольку ты с величайшей твердостью и мужской основательностью привел доводы, против которых я ничего не могу возразить и которые могу лишь уважать, пусть будет, любимый мой Карл, так, как хочешь ты и как ты решил. Мы будем безмолвно продолжать мысленно общаться, но будь спокоен: ничто не может нас разлучить, я храню тебя в душе, и мои материнские мысли оберегают тебя.

Так пусть же безграничная любовь, что поддерживает нас, нас укрепит и приведет к лучшей жизни, а в тебе, дорогой мой Карл, сохранит мужество и твердость духа.

Прощай и будь неизменно уверен, что я никогда не перестану глубоко и сильно любить тебя.

Твоя верная мать, которая вечно будет любить тебя».

Занд отвечал:

«Январь 1820 года, с моего острова Патмос[35].

---

[35] На о. Патмос в Эгейском море св. Иоанн Богослов, будучи в ссылке, писал «Откровение» («Апокалипсис»).

Дорогие родители, братья и сестры!

В середине сентября прошлого года я получил от специальной следственной комиссии великого герцога, в человечности которой вы уже имели возможность убедиться, ваши милые письма от конца августа и начала сентября, и они произвели на меня волшебное действие, преисполнив радостью и перенеся в тесный круг ваших душ.

Вы, любящий мой отец, пишете мне в день своего шестидесятисемилетия и с самой нежной любовью изливаете на меня свои благословения.

Возлюбленная матушка, Вы снисходите до обещания продолжать меня любить, во что я непреложно верил всегда, и вот я получил от вас обоих благословения, которые в нынешнем моем состоянии окажутся для меня стократ благодетельней, чем любая милость, какую могли бы мне предоставить, соединясь вместе, все монархи земли. Да, вы щедро подкрепляете меня своей благословенной любовью, и я благодарю вас с почтительной покорностью, и ею всегда будет полно мое сердце, ибо она – первейший сыновний долг.

Но чем сильней ваша любовь, чем нежней ваши письма, тем, должен вам признаться, я сильней страдаю от добровольной жертвы, которую мы принесли, решив более не видеться. Я не задержался бы так с ответом, милые мои родители, если бы мне не потребовалось время восстановить утраченные силы.

И вы, дорогой зять и дорогая сестра, тоже

заверяете меня в вашей искренней и неизменной привязанности. И все-таки после того, как я вызвал у вас такой ужас, вы, кажется, толком не знаете, что вам обо мне думать, но сердце мое полно признательности за вашу прошлую доброту, а ваши поступки говорят мне: если бы вы стали любить меня меньше, чем я вас, это значило бы, что иначе вы не можете. И это для меня стоит куда больше, чем любые возможные уверения и ваши самые нежные слова.

А ты, мой добрый брат, ты согласился бы помчаться с нашей возлюбленной матушкой на берега Рейна, туда, где между нами возникли подлинные душевные узы и где мы были вдвойне братьями[36]*. Но скажи, разве ты мыслью и духом не брат мне сейчас, когда я припадаю к обильному источнику утешения, которым стало для меня твое сердечное и нежное письмо?*

Милая невестка, я вновь встретился и с тобой, которая с первого же появления у нас нежной любовью выказала себя как подлинная сестра. Я опять встретил то же ласковое отношение, те же сестринские чувства, что и прежде; твои утешения, исполненные глубокой и кроткой набожности, проникли освежающим потоком в самые глубины моего сердца. Но должен сказать тебе, равно как и всем остальным, дорогая невестка, что ты слишком

---

[36] Именно в окрестностях Мангейма Карл и его брат встретились в 1815 г. под одними знаменами. (Примеч. автора.)

снисходительна, когда расточаешь мне похвалы и выражаешь свое восхищение; их чрезмерность ставит меня лицом к лицу с моим внутренним судьей, который тут же заставляет меня увидеть в зеркале совести облик всех моих слабостей.

Ты, милая Юлия, жаждешь лишь одного – избавить меня от судьбы, что меня ждет, и заверяешь от своего имени, а также от имени остальных, что была бы счастлива, как и они, принять ее вместо меня. В этом я узнаю всю тебя, а равно наши с детства ласковые, нежные отношения. Но уверяю тебя, милая Юлия, с Божьей помощью мне легко будет принять то, что меня ждет, гораздо легче, чем я мог предположить.

Примите же все мою самую горячую и искреннюю благодарность за ту радость, что вы доставили моему сердцу.

Теперь же, когда из ваших ободряющих писем я узнал, подобно блудному сыну, что любовь и доброта моих родных ко мне после возвращения стократ больше, чем перед уходом, хочу со всем возможным тщанием описать вам свое физическое и нравственное состояние и молю Бога подкрепить мои слова своим могуществом, чтобы письмо мое подействовало на вас так же, как ваши на меня, и чтобы оно помогло вам обрести то состояние спокойствия и просветленности, какого достиг я.

Вы уже знаете, в последние годы, возобладав над собой, я охладел к земным благам и невзгодам и жил только ради нравственных радостей и должен

сказать, что, видимо, тронутый моими усилиями, Господь, пресвятой источник всего благого, даровал мне способность искать их и во всей полноте наслаждаться ими; Господь, как и прежде, всегда со мной, и я обретаю в нем, верховном первоначале всякого сущего творения, нашем святом небесном Отце, не только утешение и силу, но и неразлучного друга, полного святой любви, который будет мне сопутствовать всюду, где потребуется его утешение. Разумеется, если бы он отринул меня или я отвратил от него свой взор, я чувствовал бы себя теперь куда несчастней и печальней, но благословением своим он делает меня, слабую, ничтожную тварь, могучим и сильным, дабы противостоять всему, что может на меня обрушиться.

Все, что я почитал святым, все доброе, чего желал, все небесное, к чему стремился, не изменилось для меня и ныне. И я благодарю за это Бога, ибо впал бы теперь в безмерное отчаяние, если бы мне пришлось признать, что сердцем своим я поклонялся ложным идолам и оно оказалось в плену мимолетных признаков. Так что моя вера в эти идеи, моя любовь к ним, ангелам-хранителям моего духа, непрерывно возрастает и будет расти до самого моего конца, и потому мне, надеюсь, будет легко и просто перейти из сего мира в вечность. Я тихо прожил жизнь в христианской экзальтации и смирении, и мне порой ниспосылались свыше видения, благодаря которым я с рождения предпочел небо земле и которые дали мне сил возноситься к Господу на

пламенных крылах молитвы. Я всегда обуздывал волей болезнь, какой бы долгой, мучительной и жестокой она ни была, и она давала мне досуг для занятий историей, позитивными науками и самым лучшим, что есть в религиозном воспитании, а когда болезнь, усилившись, прерывала на какое-то время занятия, я все-таки победно боролся со скукой: воспоминания о прошлом, мое смирение перед настоящим, моя вера в будущее были настолько сильны во мне и вокруг меня, что не давали мне упасть из моего земного рая. В нынешнем своем положении, причиной которого являюсь я сам, я в соответствии с исповедуемыми мною принципами никогда не стал бы чего-либо просить для себя, и тем не менее ко мне выказывается столько доброты, обо мне так заботятся, причем делается все это с такой деликатностью, с такой человечностью, что я не могу, увы, не признаться: люди, с которыми я нахожусь в общении, с избытком и даже преизбытком исполняют любые желания, какие только смеют зародиться в самых глубинах моего сердца. Я никогда не был побежден телесными страданиями до такой степени, чтобы не иметь возможности произнести в душе, возносясь мыслью к небесам: «Да будет с этим жалким прахом то, что и должно быть», но как бы ни велики были эти страдания, я все равно не сравнил бы их с душевными муками, которые так глубоко и остро ощущаешь, осознавая свои слабости и ошибки.

Впрочем, я теперь редко теряю сознание по причине телесных страданий; опухоль и воспаление у меня

были не слишком сильными, а лихорадки достаточно умеренными, хотя вот уже десять месяцев я принужден лежать на спине, не имея возможности встать, а из груди в области сердца у меня вышло более сорока пинт гноя. Нет, рана, хоть она до сих пор открытая, в прекрасном состоянии, и этим я обязан не только превосходным заботам, которыми окружен, но и здоровой крови, унаследованной от Вас, матушка. Так что я не лишен ни земных попечений, ни небесного покровительства. И у меня есть все основания в день своего рождения, нет, не проклинать час, когда я явился на свет, но, напротив, после углубленного созерцания мира сего благодарить Господа и вас, мои дорогие родители, за то, что вы дали мне жизнь. День 18 октября я отметил, исполненный кроткой и пламенной покорности священной воле Господа. В день Рождества я попытался войти в настроение, присущее детям, преданным Богу, и с Божьей помощью новый год пройдет, как и предыдущий, быть может, в телесных страданиях, но – и это бесспорно – в душевной радости. И этот обет, единственный, который я даю, я посылаю вам, любимые мои родители, и вам, дорогие братья и сестры, и вашим близким.

У меня нет надежды встретить свой двадцать пятый день рождения, но пусть исполнится молитва, которую я только что произнес, пусть нынешняя картина моей жизни принесет вам некоторое успокоение, и пусть это письмо, исходящее из сокровенных глубин моего сердца, не только докажет

вам, что я достоин вашей несказанной любви, но и обеспечит мне вашу любовь в вечности!

На днях я получил, добрая моя матушка, Ваше нежное письмо от второго декабря, а следственная комиссия великого герцога соблаговолила позволить мне прочитать и приложенное к нему письмо моего брата. Вы сообщаете, что все вы хорошо себя чувствуете, и посылаете мне засахаренные фрукты из нашего сада. От всего сердца благодарю Вас. Более всего меня обрадовало, что Вы заботливо думаете обо мне и летом, и зимой, ведь это же Вы и милая сестричка Юлия засахарили и приготовили их для меня, и я всей душой предался этой тихой радости.

Искренне рад появлению на свет маленького племянника и сердечно поздравляю его родителей и дедов; я мысленно переношусь на его крестины в любимый наш приход, где отдаю ему свою любовь как брат-христианин и прошу у неба благословения на него.

Думаю, нам придется отказаться от переписки, чтобы не доставлять затруднений следственной комиссии. На этом кончаю и заверяю, быть может, в последний раз в своей глубокой сыновней почтительности и братской любви.

Карл Людвиг Занд».

Действительно, с этого времени переписка между Зандом и его семьей прекратилась, и только когда ему стала известна его судьба, он написал им еще одно письмо, которое мы приведем чуть позже.

Из предыдущего письма мы видели, какими заботами был окружен Занд, и они не уменьшались ни на один миг. Правда, следует сказать, что никто не воспринимал его как обычного убийцу, многие втайне жалели, а некоторые даже во всеуслышание оправдывали. Следственная комиссия, назначенная великим герцогом, сколько можно было затягивала дело; поначалу тяжесть ран Занда давала надежду, что его не придется передавать в руки палачу, и комиссия была бы счастлива, если бы Бог сам исполнил приговор. Но надежды эти не оправдались: опытность врача пусть и не исцелила раны, но победила смерть. Занд не выздоровел, однако остался жив, и теперь все начинали понимать, что его все-таки придется казнить.

К тому же император Александр, назначивший Коцебу своим консулом и ничуть не заблуждавшийся насчет причины убийства, настоятельно требовал, чтобы правосудие шло своим ходом. Следственная комиссия вынуждена была приступить к работе, но, искренне желая найти повод для оттяжки, распорядилась вызвать врача из Гейдельберга, чтобы тот освидетельствовал Занда и представил подробный отчет о его состоянии; Занд мог только лежать; казнить же человека, лежащего в постели, невозможно, и комиссия надеялась, что врач поможет им получить новую отсрочку, констатировав в своем заключении неспособность узника встать.

Назначенный врач приехал из Гейдельберга в Мангейм, явился к Занду под предлогом, что интересуется им, и спро-

сил, не улучшилось ли его состояние и не способен ли он подняться. Занд взглянул на него и с улыбкой ответил:

– Я понимаю, сударь, там желают знать, хватит ли у меня сил взойти на эшафот. Я на этот счет ничего не могу сказать, но мы можем вместе с вами провести опыт.

Произнеся это, Занд встал и со сверхчеловеческим мужеством совершил то, чего не пробовал делать в течение года и двух месяцев: дважды обошел камеру, после чего сел на постель.

– Как видите, сударь, я достаточно силен, – промолвил он, – так что было бы недопустимо вынуждать моих судей терять драгоценное время и заставлять их и дальше заниматься моим делом. Пусть они выносят приговор, так как ничто не мешает его исполнению.

Врач представил заключение; затягивать дело больше не было никакой возможности: Россия становилась все настойчивей, и вот 5 мая 1820 года верховный суд вынес следующий приговор, утвержденный 12 мая его королевским высочеством великим герцогом Баденским:

> *«В результате расследования дела и после допроса в соответствии с компетенцией судебного округа, представления защиты, заключений суда города Мангейма и последующих совещаний суд признает обвиняемого Карла Занда из Вонзиделя виновным в убийстве, в чем он сам и признался, государственного советника Российской империи Коцебу и в наказание, а также с целью дать другим устрашающий*

пример приговаривает его к лишению жизни через обезглавливание.

Все издержки по настоящему делу, включая и издержки по публичной казни, будут покрыты, вследствие отсутствия у обвиняемого состояния, за счет судебных органов».

Как можно видеть, хотя обвиняемого приговорили к смерти, чего, впрочем, избежать было весьма трудно, сам приговор и по форме и по существу был настолько мягок, насколько это было возможно, так как, карая Занда, он не требовал от его небогатой семьи уплаты издержек по длительному и дорогостоящему процессу, что привело бы к ее разорению.

Пять дней еще протянули, и подписан был приговор только семнадцатого.

Когда Занду сказали, что к нему пришли два советника юстиции, он ничуть не усомнился, что они явились зачитать ему приговор; он попросил несколько секунд, чтобы подняться, а проделывал он это за год и два месяца лишь во второй раз; как и при каких обстоятельствах он встал впервые, мы уже рассказывали. И все-таки он не смог выслушать приговор стоя, до такой степени он ослаб, и, поздоровавшись с теми, кто пришел сообщить, что его осудили на смерть, попросил позволения сесть, объяснив, что причина тому отнюдь не душевная слабость, а телесная немощь, и добавил:

– Добро пожаловать, господа. Я столько страдал за эти год и два месяца, что вы для меня являетесь ангелами, благо-

вествующими освобождение.

Приговор он выслушал без всякого волнения и с мягкой улыбкой на устах, а когда чтение его было завершено, сказал:

– Я для себя другой судьбы и не ждал, господа, и когда более года назад взошел на холм, откуда открывается вид на ваш город, первым делом увидел место, которое станет моей могилой, и потому должен возблагодарить Бога и людей за то, что они продлили мне жизнь до сегодняшнего дня.

Советники вышли; прощаясь с ними, Занд встал, точно так же как и при их появлении, а затем опустился на стул, возле которого стоял директор тюрьмы г-н Г. Несколько секунд он сидел молча, и вдруг из глаз его скатились по щекам две слезинки. Внезапно он повернулся к г-ну Г. и промолвил:

– Надеюсь, родители мои предпочтут, чтобы я умер именно так, а не вследствие какой-нибудь длительной и постыдной болезни. Что до меня, то я рад, что вскоре услышу, как пробьет час моей смерти, которая обрадует всех, кто ненавидит меня и кого, в соответствии со своими принципами, должен ненавидеть и я.

Потом он написал письмо родным:

«Мангейм, 17 дня месяца весны 1820 года.

Дорогие родители, братья и сестры!

Вы, должно быть, получили через комиссию великого герцога мои последние письма; я в них ответил на ваши и постарался вас успокоить относительно

моего теперешнего положения, обрисовав свое душевное состояние и пренебрежение, какого я достиг, ко всему земному и тленному, ибо его нужно воспринимать как необходимость, когда оно ложится на весы вместе с исполнением мысли, а также ту умственную свободу, которая одна и способна питать душу; одним словом, я попытался вас утешить, заверив, что чувства, принципы и убеждения, которые я некогда высказывал вам, я сохранил в полной неизменности, и они остались прежними; однако это излишняя предосторожность с моей стороны, поскольку я знаю: вы никогда не требовали от меня ничего иного, кроме как ***иметь Господа перед очами и в сердце,*** *и вы видели, что принцип этот под вашим попечительством глубоко проник ко мне в душу, став и в этом и в ином мире единственной целью блаженства; не сомневаюсь, Бог, который во мне и со мной, также будет в вас и с вами, когда это письмо принесет весть, что мне огласили приговор. Я умираю без сожалений, и Господь даст мне силы умереть так, как должно.*

Пишу вам совершенно спокойный и умиротворенный и надеюсь, что ваша жизнь будет протекать спокойно и мирно до той поры, когда наши души, исполненные новой силы, соединятся, дабы любить друг друга и вместе вкушать вечное блаженство.

Что до меня, то я как жил, с тех пор как помню себя, то есть в безмятежности, полной небесными желаниями, и в мужественной, неодолимой любви к свободе, так и умираю.

Да пребудет Господь с вами и со мной.
Ваш сын, брат и друг
Карл Людвиг Занд».

С этого момента ничто не нарушало его безмятежности; весь день он разговаривал куда оживленней, чем обычно, хорошо спал и, проснувшись лишь в половине восьмого, объявил, что чувствует себя крепче, и возблагодарил Бога за то, что тот не оставляет его.

Уже накануне стало известно содержание приговора, и все знали, что казнь назначается на двадцатое мая, то есть ровно по истечении трех полных суток с момента объявления приговора осужденному.

Теперь к Занду с его согласия стали впускать тех, кто хотел побеседовать с ним и кого он сам был не против видеть; трое из посетителей дольше других пробыли у него и имели более обстоятельный разговор.

Один из них был баденский майор Хольцунген, командовавший караулом, который арестовал, а верней будет сказать, подобрал умирающего Занда и доставил его в госпиталь. Он спросил Занда, узнает ли тот его, и хотя у раненого Занда мысли были совершенно о другом и видел он майора всего миг и после этого они не встречались, тем не менее он в точности, до малейших подробностей припомнил парадный мундир, который был на его собеседнике год и два месяца назад. Потом разговор перешел на смерть, которая ждет Занда, и майор выразил сожаление, что тот умирает та-

ким молодым. Занд улыбнулся и ответил ему:

– Между нами, господин майор, есть различие: я умру за свои убеждения, а вы умрете за чужие.

После майора пришел студент из Йена, с которым Занд познакомился в университете. Студент оказался в герцогстве Баденском и захотел навестить Занда; их встреча была очень трогательной, студент плакал, а Занд с обычным своим спокойствием и просветленностью утешал его.

Затем попросил позволения войти какой-то рабочий, утверждая, что он соученик Занда по вонзидельской школе, и хотя Занду фамилия пришельца ни о чем не говорила, он распорядился впустить его; рабочий напомнил ему, что был в той ребячьей армии, которой командовал Занд в день осады башни Санкт-Катарина. После этого Занд тут же узнал его и с нежностью стал говорить об отчем крае, о любимых горах, а потом велел передать поклоны родным и еще раз попросить мать, отца, братьев и сестер не скорбеть о нем; пусть посланец, передавая им его последний привет, расскажет, в каком спокойном и радостном настроении духа он ожидал смерти.

После рабочего явился один из гостей Коцебу, с которым Занд столкнулся на лестнице после убийства. Он спросил, признает ли Занд свое преступление и раскаивается ли в нем, на что тот ответил:

– Я много думал об этом, целый год и два месяца, и мое мнение ничуть не изменилось: я совершил то, что должен

был совершить.

Когда этот посетитель ушел, Занд попросил позвать г-на Г., директора тюрьмы, и сообщил, что очень хотел бы перед казнью поговорить с палачом и задать ему кое-какие вопросы, чтобы знать, как ему держаться и что делать, чтобы операция прошла как можно надежнее и легче. Г-н Г. стал возражать, но Занд с присущей ему мягкостью продолжал настаивать, и в конце концов директор тюрьмы пообещал, что сообщит палачу об этом его желании, как только тот прибудет в Мангейм из Гейдельберга, где живет.

Остаток дня прошел в новых визитах и в философских и нравственных беседах, в которых Занд развивал свои социальные и религиозные теории, высказывая в необыкновенно ясных выражениях самые возвышенные мысли. Директор тюрьмы, от которого я получил эти сведения, сказал, что он до конца жизни будет сожалеть, что не знает стенографии и не смог записать мысли узника, достойные Федона[37].

Подошла ночь, часть вечера Занд что-то писал, говорят, он сочинял стихотворение, но, надо думать, сжег, так как никаких следов от него не осталось. В одиннадцать часов он лег и проспал до шести утра. Днем ему сделали перевязку, как всегда она была мучительна, но Занд перенес ее с необыкновенным мужеством, ни разу не потерял сознания, как это иногда случалось, и даже не издал ни единого стона. Да, он

---

[37] *Федон* – древнегреческий философ (V в. до н. э.), ученик Сократа. Платон назвал его именем диалог о бессмертии души.

говорил правду: перед лицом смерти Бог смилостивился над ним и возвратил ему силы.

Когда перевязка закончилась, Занд, как обычно, прилег; г-н Г. сел в изножье его кровати, и тут отворилась дверь, вошел какой-то человек и поклонился Занду и Г. Директор тюрьмы тотчас вскочил и взволнованным голосом сообщил:

– Вас приветствует господин Видеман из Гейдельберга. Он хочет поговорить с вами.

Лицо Занда озарилось какой-то странной радостью, и, сев на постели, он произнес:

– Добро пожаловать, сударь.

Затем, пригласив гостя сесть у кровати, он сжал ему руки и стал благодарить так прочувствованно и таким кротким голосом, что тронутый до глубины души г-н Видеман не смог ему даже ответить. Занд, желая разговорить его и побудить сообщить сведения, которые его интересовали, сказал:

– Будьте, сударь, тверды, потому что если что-то не получится сразу, это произойдет не из-за меня, а из-за вас: я не шелохнусь. Но даже если вам понадобится сделать два или три удара, чтобы отделить мне голову от туловища, а я слышал, такое случается, не беспокойтесь из-за этого.

После этих слов Занд, поддерживаемый г-ном Г., встал, чтобы провести вместе с палачом непостижимую, чудовищную репетицию трагедии, в которой завтра ему предстояло сыграть главную роль. Г-н Видеман велел ему сесть на стул, принять требуемую позу и пустился в объяснения всех по-

дробностей казни. Уяснив все, что ему было необходимо, Занд попросил палача завтра не торопиться и делать свое дело без спешки. И еще он заранее поблагодарил его, поскольку, как он сказал, после он уже не сможет этого сделать. Затем Занд снова лег в постель, а бледный палач вышел, едва держась на ногах. Все эти подробности сообщены г-ном Г., так как палач был настолько взволнован, что совершенно ничего не запомнил.

После ухода г-на Видемана в камеру вошли три священника, с которыми Занд беседовал на религиозные темы; один из них остался и пробыл у приговоренного около шести часов, а уходя, сообщил, что ему дано поручение взять с Занда слово, что он не будет перед казнью обращаться к народу. Занд пообещал, добавив:

– Даже если бы я этого захотел, голос у меня стал таким слабым, что народ все равно не услышал бы.

В это время на лугу, что по левую руку от Гейдельбергской дороги, возводили эшафот. Он представлял собой помост футов около шести высотой, а в ширину и в длину по десять футов. Предполагали, что по причине интереса, который возбуждал приговоренный, а также потому, что была Троица, соберется огромная толпа, и поскольку власти опасались возможных волнений в университетах, охрана тюрьмы была утроена, а из Карлсруэ в Мангейм вызвали генерала Нойштайна с тысячей двумястами человек пехоты, тремястами пятьюдесятью кавалерии и артиллерийской батареей.

Ко второй половине дня девятнадцатого съехалось, как власти и предвидели, столько студентов, которые расположились в окрестных деревнях, что было решено перенести завтрашнюю казнь с одиннадцати, как было установлено, на пять утра. Однако для этого было необходимо согласие Занда, так как казнить можно было только спустя три полных дня после объявления приговора, а поскольку он был прочитан лишь в половине одиннадцатого, Занд имел право на жизнь до одиннадцати часов.

В четыре утра в камеру приговоренного пришли; он так крепко спал, что его пришлось будить. Занд открыл глаза и, не понимая, почему его будят, с обычной своей улыбкой спросил:

– Неужели я так заспался и уже одиннадцать?

Ему сказали, что нет, что к нему пришли просить его согласия перенести час казни, поскольку власти опасаются столкновений между студентами и солдатами, а так как со стороны военных предприняты все должные меры, эти столкновения могут плохо кончиться для его друзей. Занд тотчас же ответил, что он готов, и попросил только время, чтобы принять ванну, как это делали древние перед битвой. Однако устного его согласия оказалось недостаточно; ему принесли перо и бумагу, и он твердой рукой написал:

«Я благодарю власти Мангейма за то, что они пошли навстречу моему настоятельнейшему желанию и на шесть часов ускорили мою казнь.

Sit nomen Domini benedictum[38].

В тюремной камере утром 20 мая, в день моего освобождения.

Карл Людвиг Занд».

Когда Занд вручил эти несколько строк секретарю, к нему приблизился врач, чтобы, как обычно, перевязать рану. Занд с улыбкой взглянул на него и поинтересовался:

– А стоит ли?

– Вы будете чувствовать себя крепче, – ответил врач.

– Тогда делайте, – согласился Занд.

Принесли ванну; Занд лег в нее и с величайшей тщательностью стал заниматься своими великолепными длинными кудрями; закончив туалет, он оделся: на нем был короткий, по немецкому фасону, редингот, сорочка с выпущенным на плечи воротником, белые обтягивающие панталоны, заправленные в сапоги. После этого он сел на кровать и некоторое время тихо молился вместе со священниками, после чего продекламировал две строки из Кернера:

Все земное кончилось отныне,
Отворилось небо предо мной.

Затем он попрощался с доктором и священниками, сказав:

– Не приписывайте дрожь моего голоса слабости: он дро-

---

[38] Да будет благословенно имя Бога (лат.).

жит от признательности.

Когда же священники предложили сопутствовать ему до эшафота, он ответил:

– В этом нет нужды, я вполне подготовлен и Господом, и собственной совестью. Впрочем, я ведь и сам без пяти минут священник.

А когда один из них осведомился, не уходит ли он из жизни, тая в душе ненависть, Занд улыбнулся:

– Господи, да разве она когда-нибудь была во мне?

С улицы доносился нарастающий шум, и Занд вновь сказал, что он готов и им могут располагать. В этот момент вошел палач с двумя подручными; он был одет в длинный черный сюртук, под которым укрывал меч; Занд дружески протянул ему руку, но г-н Видеман, не желая, чтобы Занд увидел меч, не решался подойти и пожать ее.

– Подойдите же, – попросил Занд, – и покажите ваш меч. Я никогда не видел его, и страшно любопытно посмотреть, как он выглядит.

Побледневший, дрожащий г-н Видеман протянул ему меч; Занд внимательно осмотрел его, провел пальцем по лезвию и промолвил:

– Что ж, превосходный клинок. Не бойтесь, и все будет хорошо.

Потом он обратился к плачущему г-ну Г.:

– Надеюсь, вы окажете мне услугу и проводите меня до эшафота?

Г-н Г. утвердительно кивнул, так как не мог говорить, а Занд, взяв его под руку, в третий раз объявил:

– Господа, чего же мы ждем? Я готов.

Выйдя во двор, Занд увидел во всех окнах тюрьмы плачущих узников. Он никогда не встречался с ними, но все они были его давние друзья: каждый из них, проходя мимо дверей его камеры и зная, что там лежит студент, убивший Коцебу, придерживал цепи, чтобы их звоном не беспокоить Занда.

Весь Мангейм вышел на улицы, ведущие к месту казни, на которых были расставлены многочисленные патрули. В день объявления приговора по всему городу искали коляску, чтобы доставить Занда на эшафот, но никто, даже каретники, не пожелал ни продать, ни сдать внаем экипаж; пришлось покупать его в Гейдельберге, умолчав, с какою целью он приобретается.

Коляска уже ждала во дворе, и Занд вместе с г-ном Г. сел в нее. Склонившись к начальнику тюрьмы, Занд шепнул ему на ухо:

– Сударь, если вдруг случайно вы заметите, что я бледнею, обратитесь ко мне по фамилии, всего-навсего произнесите мою фамилию, этого будет достаточно.

Растворились ворота, и коляска выехала со двора. И в этот миг все в едином порыве закричали:

– Прощай, Занд! Прощай!

Из плотной толпы на улице и из окон домов стали бро-

сать букеты цветов, и некоторые из них попали даже в коляску. Слыша эти дружественные крики, наблюдая эту картину, Занд, не позволявший себе ни секунды слабости, почувствовал, как глаза его наполняются слезами, и, раскланиваясь в ответ на несущиеся со всех сторон приветствия, прошептал:

– Господи, ниспошли мне мужества!

Первый взрыв утих, и процессия тронулась среди глубокого молчания, лишь время от времени кто-нибудь кричал: «Прощай, Занд!», и тут же над толпой поднималась рука, машущая носовым платком, указывая приговоренному, откуда раздался крик.

По обе стороны коляски шли двое тюремных служителей с черным крепом на рукаве, а следом ехал экипаж, в котором сидели представители городских властей.

Погода стояла очень холодная, всю ночь шел дождь, небо было хмурое, затянуто тучами, словно и оно разделяло всеобщую скорбь. Занд был слишком слаб, чтобы сидеть, и потому полулежал на плече сопровождавшего его г-на Г.; в его приятном, но лишенном примет классической красоты лице были кротость и успокоенность, хотя и чувствовалось, что он испытывает боль; вообще за прошедшие год и два месяца страданий он, казалось, состарился на несколько лет. Наконец процессия прибыла к месту казни, которое было окружено батальоном пехоты; Занд опустил взгляд с неба на землю и увидел эшафот. Он кротко улыбнулся и, высаживаясь из коляски, заметил:

– Что ж, до сих пор Бог давал мне силы.

Директор тюрьмы и первые должностные лица города помогли ему взойти по лестнице. При этом он согнулся от боли, но, поднявшись на эшафот, выпрямился и промолвил:

– Значит, здесь я умру…

Прежде чем опуститься на скамью, на которой его должны были обезглавить, Занд взглянул на Мангейм, потом обвел взором бесчисленную толпу, окружающую эшафот; в этот миг солнечный луч прорвался сквозь тучи. Занд улыбнулся ему и сел.

Так как в соответствии с полученными распоряжениями Занду должны были вторично зачитать приговор, его спросили, достаточно ли крепким он себя чувствует и сможет ли выслушать его стоя. Занд ответил, что попробует и ежели у него не хватит физических сил, то, надеется, душевных ему достанет. Он встал, но попросил г-на Г. быть рядом и поддерживать его, если он вдруг пошатнется. Предосторожность эта оказалась излишней: Занд твердо стоял на ногах.

Когда дочитали приговор, он снова сел и громко произнес:

– В свой смертный час поручаю себя Богу…

Но г-н Г. прервал его:

– Занд, вы же обещали…

– Да, верно, – ответил он, – я совсем забыл.

Он не стал обращаться к народу, но все же, торжественно подняв правую руку, негромко, чтобы слышали только те,

кто был рядом, промолвил:

– Беру Господа в свидетели, что умираю за свободу Германии.

Произнося это, он через цепь солдат бросил в толпу, точь-в-точь как Конрадин[39] перчатку, скрученный носовой платок.

К нему приблизился палач, чтобы остричь волосы, и поначалу Занд воспротивился, но г-н Видеман ему объяснил:

– Это для вашей матушки.

– Слово чести, сударь? – осведомился Занд.

– Слово чести.

– В таком случае стригите, – разрешил Занд.

Ему остригли всего несколько прядей, причем только на затылке, а остальные волосы завязали лентой на макушке. Затем палач связал ему руки на груди, но в этом положении Занду было трудно дышать, кроме того, у него заболела рана, и он невольно опустил голову; тогда ему велели положить руки на бедра и там скрепили их веревками. Когда же ему стали завязывать глаза, он попросил г-на Видемана так наложить повязку, чтобы он до последнего мгновенья мог видеть свет. Эта просьба была исполнена.

В этот миг глубокая, мертвая тишина объяла всю толпу, стоявшую вокруг эшафота. Палач выхватил меч, сверкнув-

---

[39] *Конрадин* (1252–1268) – последний представитель династии Гогенштауфенов, сын императора Конрада IV, пытался отвоевать Неаполь у Анжуйской династии, был пленен и осужден на смерть.

ший, как молния, и нанес удар. Чудовищный крик вырвался из двадцати тысяч грудей: голова не упала, она только склонилась на грудь, держась на недорубленном горле. Палач снова взмахнул мечом и на сей раз отрубил вместе с головой часть плеча.

В ту же секунду цепь солдат была прорвана, мужчины и женщины бросились к эшафоту и вытерли всю кровь до последней капли своими носовыми платками; скамью, на которой сидел Занд, разломали в щепки и разделили их между собой; те же, кому их не досталось, отрезали кусочки окровавленных досок эшафота.

Тело и голову казненного положили в задрапированный черным гроб и под сильным военным эскортом доставили в тюрьму. В полночь труп Занда тайно, без факелов и без свечей, перевезли на протестантское кладбище, где за год и два месяца до этого был погребен Коцебу. Тихо вырыли могилу, опустили в нее гроб, и все присутствовавшие при погребении поклялись на Евангелии не открывать места, где похоронен Занд, пока их не освободят от этой клятвы. На могилу уложили предусмотрительно снятый дерн, чтобы не было видно свежей земли, после чего ночные могильщики разошлись, оставив у входа караул.

И вот так на расстоянии шагов двадцати друг от друга покоятся Занд и Коцебу. Коцебу – напротив ворот, на самом видном месте кладбища под надгробием, на котором выбита следующая надпись:

Мир безжалостно преследовал его,
клевета избрала его мишенью,
счастье он обретал лишь в объятиях жены,
а покой обрел лишь в смерти.
Зависть устилала путь его шипами,
Любовь – расцветшими розами.
Да простит его небо,
как он простил землю.

Могилу Занда надо искать напротив этого помпезного монумента, воздвигнутого, как мы уже говорили, на самом видном месте – в дальнем углу кладбища слева от ворот; над ней никакой надписи и растет только дикая слива, с которой каждый посетитель срывает на память несколько листков.

А луг, где был казнен Занд, еще и сейчас в народе называется Sand Himmelfartswiese, что переводится как *Луг, где Занд вознесся на небо.*

В конце сентября 1838 года мы были в Мангейме, куда я приехал на три дня, чтобы собрать все возможные сведения о жизни и смерти Карла Людвига Занда. Однако и после этих трех дней сведения, собранные мною, невзирая на всю энергичность розысков, оставались далеко не полными, то ли потому, что я обращался не к тем, к кому следовало, то ли потому, что я, как иностранец, внушал определенное недоверие людям, к которым обращался. Мангейм я покидал достаточно разочарованный и после посещения проте-

стантского кладбища, где в двух десятках шагов друг от друга похоронены Занд и Коцебу, велел вознице ехать в Гейдельберг; проехав несколько шагов, возница, знавший цель моих разысканий, сам остановил экипаж и поинтересовался, не хочу ли я посмотреть то место, где был казнен Занд. И он указал мне на невысокий пригорок на лугу в нескольких шагах от ручья. Я, разумеется, тут же выразил согласие и, хотя возница вместе с моими спутниками остался в экипаже, сам нашел это место по лежащим там на земле веткам кипариса, цветам бессмертника и незабудок.

Можно легко понять, что осмотр места казни не только не умалил, но, напротив, усилил мое желание добыть какие-нибудь сведения. Я пребывал в самом скверном настроении, оттого что уезжаю, так почти ничего и не узнав, и тут обратил вдруг внимание на человека на пятом десятке, который прогуливался неподалеку и, подозревая причину, привлекшую меня сюда, с любопытством на меня поглядывал. Я решил предпринять последнюю попытку, подошел к нему и обратился:

– Сударь, ради Бога, простите, но я иностранец, путешествую на предмет собирания богатейших поэтических традиций вашей страны. По тому, как вы на меня смотрели, мне кажется, вы знали того, кто привлек меня на этот луг. Не могли бы вы мне что-нибудь рассказать о жизни и смерти Занда?

– А с какой целью, сударь? – поинтересовался на почти

понятном французском мой собеседник.

– Уверяю вас, сударь, с самой что ни есть немецкой, – отвечал я. – Как ни мало я узнал про Занда, он для меня стал одной из тех теней, которые слишком значительны и поэтичны, чтобы драпировать их в запятнанный кровью саван. Но во Франции его совершенно не знают, а ведь его можно сравнить с Фиески[40], и я хотел бы, насколько это в моих силах, просветить своих соотечественников.

– Я с превеликим удовольствием, сударь, поспособствовал бы вам в вашем начинании, но вся беда в том, что я едва говорю по-французски, вы же почти не говорите по-немецки, так что нам будет трудно понять друг друга.

– О, если дело только в этом, – возразил я, – то в моем экипаже сидит переводчик, верней, переводчица, которая говорит по-немецки, как Гете, и вы, надеюсь, будете довольны ею; держу пари, она поймет все, что вы скажете.

– Тогда идемте, сударь, – ответил мне мой собеседник. – Я буду очень рад, если смогу оказать вам услугу.

Мы направились к экипажу, ждавшему нас на дороге, и я представил своей спутнице нового своего знакомого. После обычных поклонов между ними начался разговор на чистейшем саксонском диалекте[41].

И хотя я ни слова не понимал из того, что говорилось,

---

[40] *Фиески, Джузеппе* (1790–1836) – заговорщик, устроивший покушение на Луи-Филиппа с помощью адской машины, осужден и казнен.

[41] То есть на литературном немецком языке. *(Примеч. автора.)*

по стремительности вопросов и пространности ответов было видно, что беседа завязалась весьма интересная. Наконец, примерно через полчаса я, желая знать, до чего дошли собеседники, бросил:

– Ну и что?

– Тебе везет, – ответила моя переводчица, – ты попал в самую точку.

– Этот господин знал Занда?

– Этот господин – Г., директор тюрьмы, в которой был заключен Занд.

– Да что ты!

– Он виделся с Зандом ежедневно в течение девяти месяцев, то есть с того самого момента, как его перевели из госпиталя.

– Превосходно!

– Но это еще не все: этот господин был с ним в коляске, которая везла его на казнь, и даже поднялся с ним на эшафот. В целом Мангейме имеется единственный портрет Занда, и именно у него в доме.

Я с восторгом впивал каждое слово: алхимик мысли, я открыл тигель и обнаружил в нем золото.

– Спроси у него, – живо попросил я, – не будет ли он против, если мы запишем то, что он нам расскажет.

Переводчица задала ему этот вопрос и сообщила мне:

– Он согласен.

Г-н Г. сел к нам в коляску, и, вместо того чтобы отпра-

виться в Гейдельберг, мы возвратились в Мангейм и вышли у тюрьмы.

Г-н. Г. был сама любезность. С величайшей предупредительностью, с бесконечным терпением он вспоминал всевозможные подробности, став для меня чем-то наподобие чичероне, а когда он исчерпал все воспоминания о Занде, я спросил, как происходила казнь.

– Если желаете, – сказал он, – могу вам дать рекомендацию к человеку, живущему в Гейдельберге, который сообщит вам на этот счет самые полные сведения.

Я с благодарностью согласился, и при прощании г-н Г. вручил мне письмо. Адрес был следующий:

> *«Г-ну доктору Видеману, Гейдельберг, Большая улица, № 111».*

Я поинтересовался:

– Это случайно не родственник палача, который казнил Занда?

– Его сын, и он был рядом с ним, когда упала голова Занда.

– А каков род его занятий?

– Тот же, что у отца, он унаследовал его должность.

– Но вы же называете его доктором?

– Естественно, у нас палач имеет это звание.

– И чего же он доктор?

– Доктор хирургии.

– А вот у нас, – заметил я, – совсем наоборот: у нас врачей называют палачами.

– Вы найдете благовоспитанного молодого человека, – предупредил г-н Г., – который, хоть и был тогда в весьма юном возрасте, сохранил глубокое впечатление об этом событии. Что же касается его отца, убежден, он с радостью дал бы отрубить себе руку, лишь бы не участвовать в казни Занда, и отказался бы, если бы нашли кого-нибудь другого. Но ему пришлось делать то, что он обязан, и он постарался это сделать как можно лучше.

Я поблагодарил г-на Г., твердо решив воспользоваться его рекомендательным письмом, и мы покатили в Гейдельберг, куда прибыли в одиннадцать вечера.

На следующий день я первым делом нанес визит г-ну доктору Видеману.

Не без некоторого волнения, которое, как я заметил, отражалось и на лицах моих спутников, мы звонили в дверь судьи последней инстанции, как называют в Германии палачей. Нам открыла старуха; она провела нас, чтобы мы подождали г-на Видемана, который кончал одеваться, в прелестный рабочий кабинет, расположенный слева по коридору у самой лестницы. В кабинете было множество всевозможных диковин: кораллов, раковин, чучел птиц и засушенных растений; двуствольное ружье, пороховница и ягдташ говорили о том, что г-н Видеман увлекается охотой.

Вскоре мы услышали звук шагов, и дверь отворилась.

Г-н Видеман оказался молодым человеком лет тридцати – тридцати двух, весьма приятной наружности, с черными ба-

кенбардами на мужественном и энергичном лице; на нем был утренний костюм, отличавшийся определенной деревенской изысканностью.

Было заметно, что он не только смущен, но и несколько раздосадован нашим визитом. Действительно, бесцельное любопытство, объектом которого, как ему казалось, он стал, вполне могло выглядеть странным. Но я поспешил вручить ему письмо г-на Г. и объяснил причину, приведшую меня к нему. Постепенно расположение духа его переменилось, и в конце концов он стал столь же гостеприимен и любезен, как тот, кто направил нас к нему.

Г-н Видеман оживил свою память; он тоже сохранил воспоминания о Занде и среди прочего сообщил нам, что его отец, рискуя навлечь на себя неприятности, попросил дозволения на собственный счет построить новый эшафот, чтобы никакой другой преступник не был казнен на алтаре, где пролилась кровь мученика. Такое дозволение было ему дано, и г-н Видеман велел сделать из того эшафота двери и окна в своем сельском домике, стоящем среди виноградника. В продолжение четырех лет этот домик являлся предметом паломничества, но постепенно посетителей становилось все меньше; многие из тех, кто омочил свой платок в крови, стекавшей с эшафота, занимают теперь государственные должности, находятся на жалованье у правительства, и нынче только иностранцы время от времени просят разрешить им увидеть эту реликвию.

Г-н Видеман дал мне проводника, так как я тоже захотел взглянуть на нее.

Дом находится в полулье от Гейдельберга по левую руку от дороги на Карлсруэ, на полпути к горе. Пожалуй, это единственный памятник такого рода на свете.

Наши читатели по одной этой истории гораздо лучше, чем по всему, что мы еще могли бы рассказать, имеют возможность представить, каков был человек, оставивший такую память о себе в сердцах тюремщика и палача.

Мюрат (1815)

18 июня 1815 года, в тот самый час, когда при Ватерлоо решались судьбы Европы, нищенски одетый человек молча шел по дороге из Тулона в Марсель. Добравшись до ущелья Олиульских гор, он остановился на холме, с которого открывался великолепный вид. То ли человек добрался наконец до цели своего путешествия, то ли ему захотелось, прежде чем углубиться в мрачное каменистое ущелье, которое называют Фермопилами Прованса, еще немного полюбоваться чудесным южным пейзажем, раскинувшимся до самого горизонта, но только он уселся на край придорожной канавы; за спиной у него были горы, возвышавшиеся уступами над северной окраиной города, а у ног раскинулась плодородная равнина, словно оранжерея, изобилующая растениями, неизвестными в других частях Франции. За равниной, сверкавшей в последних лучах солнца, простиралось море, ровное и гладкое, как стекло; по его поверхности, подгоняемый свежим бризом, скользил в сторону Лигурийского моря военный бриг. Нищий жадно следил за ним глазами до тех пор, пока он не скрылся между оконечностью мыса Жьен и первым из Иерских островов, а когда белая точка растаяла, тяжело вздохнул, опустил голову на руки и застыл, погрузившись в размышления; так он сидел, пока его не заставил вздрогнуть стук копыт. Нищий вскинул голову, тряхнул

длинными черными волосами, как будто отгоняя горькие навязчивые мысли, и, взглянув в сторону выхода из ущелья, откуда доносился топот, увидел двух всадников, которых он явно узнал, поскольку тут же встал во весь рост, отбросил посох и, скрестив руки на груди, повернулся к ним лицом. Всадники же, едва завидя нищего, остановились; ехавший первым спешился, бросил поводья спутнику и, несмотря на то, что находился от человека в лохмотьях шагах в пятидесяти, снял шляпу и почтительно двинулся вперед. Нищий стоял с выражением угрюмого достоинства на лице, а когда тот приблизился, спросил:

– Ну как, господин маршал, у вас есть новости?

– Есть, ваше величество, – печально ответил спрошенный.

– И каковы же они?

– Таковы, что я предпочел бы, чтобы их сообщил вашему величеству кто-нибудь другой.

– Значит, император отказался от моих услуг. Неужели он забыл Абукир, Эйлау[42], Москву?

– Нет, ваше величество, он просто вспомнил о неаполитанском договоре, взятии Реджо и объявлении войны вице-королю Италии[43].

---

[42] *Абукир* – город в Египте, где в 1799 г. Наполеон одержал победу над турками; *Эйлау* – город в Пруссии, где в 1807 г. Наполеон одержал победу над русско-прусской армией.

[43] В январе 1814 г. Мюрат, в надежде сохранить за собой Неаполитанское королевство, изменил Наполеону, заключил союз с Австрией и Англией и открыл военные действия против вице-короля Италии, пасынка Наполеона принца Ев-

Нищий схватился за голову.

– Да, да, быть может, в его глазах я и заслужил эти упреки, но не должен же он забывать, что во мне сидят два человека: солдат, которого он сделал своим братом, и его брат, которого он сделал королем. Да, как брат, я виноват, и очень виноват перед ним, но как король – небом клянусь! – не мог поступить иначе. Мне пришлось выбирать между шпагой и короной, между полком и народом. Погодите-ка, Брюн[44], вы ведь знаете, как все случилось! Был английский флот, и его пушки грохотали в порту, были вопящие на улицах неаполитанцы… Будь я один, я на одном суденышке прорвался бы сквозь флот, саблей пробил бы себе путь сквозь толпу, но со мною была жена, дети. И все же я сомневался: мысль о том, что меня станут называть предателем, перебежчиком, заставила меня пролить больше слез, чем я пролью, теряя трон и даже близких… Словом, я ему не нужен, верно? Не нужен как генерал, капитан, солдат? Что же мне остается делать?

– Ваше величество, вам следует немедленно покинуть Францию.

– А если я не подчинюсь?

– В таком случае я, согласно имеющемуся у меня приказу, должен буду вас арестовать и предать военному суду.

– Но ты же этого не сделаешь – не так ли, мой старый то-

гения Богарне, заняв город Реджо.

[44] *Брюн, Гийом Мари* (1763–1815) – маршал Франции, во время Ста дней руководил обороной Южной Франции, убит роялистами в Авиньоне.

варищ?

– Сделаю, моля Господа ниспослать мне смерть в тот миг, когда мне придется схватить вас.

– Узнаю вас, Брюн, вам удалось остаться отважным и преданным. Но вам никто не предлагал королевства, никто не возлагал вам на голову огненный обруч, что зовется короной и сводит с ума, никто не заставлял вас выбирать между совестью и семьей. Итак, я должен покинуть Францию, снова начать жизнь скитальца и сказать прости моему Тулону, с которым у меня связано столько воспоминаний. Взгляните, Брюн, – продолжал Мюрат, опершись на руку маршала, – ведь сосны здесь не хуже, чем на вилле Памфило, пальмы – такие же, как в Каире, а горы напоминают Тирольские. А вон слева мыс – ведь если не считать Везувия, он похож на Кастелламаре и Сорренто! А Сен-Мандрие, закрывающий выход из залива, – разве он не так же хорош, как мой Капри, который Ламарк так ловко отобрал у этого дурня Хадсона Лоу?[45] О Боже, и все это я должен покинуть! Неужто у меня нет возможности остаться в этом уголке Франции, а, Брюн?

– Ваше величество, я очень сожалею… – отозвался маршал.

– Ладно, не будем больше об этом. Какие новости?

– Император отправился в Париж, к армии. Сейчас, долж-

---

[45] *Ламарк, Максимильен* (1770–1832) – французский генерал и политический деятель. *Лоу, Хадсон* (1769–1844) – английский генерал, в 1808 г. выбитый Ламарком с острова Капри.

но быть, идет сражение.

– Идет сражение – и без меня! О, я чувствую, что в бою я мог бы еще ему пригодиться. С каким наслаждением я ударил бы по этим несчастным пруссакам и гнусным англичанам! Брюн, дайте мне пропуск, и я во весь опор поскачу к армии, представлюсь какому-нибудь полковнику и скажу: «Дайте мне ваш полк, я поведу его в бой!» – и если в тот же вечер император не подаст мне руки, я пущу себе пулю в лоб, клянусь честью! Выполните мою просьбу, Брюн, и, как бы ни кончилось дело, я останусь вашим должником на всю жизнь.

– Не могу, ваше величество.

– Что ж, об этом кончено.

– И ваше величество уедет из Франции?

– Не знаю. Впрочем, выполняйте приказ, маршал, и, если вы встретите меня снова, арестуйте, это тоже способ мне помочь. Жизнь стала для меня слишком тяжкой ношей, и я только поблагодарю того, кто освободит меня от нее. Прощайте, Брюн.

С этими словами он протянул маршалу руку; тот хотел было ее поцеловать, но Мюрат обнял его, и несколько секунд старые товарищи простояли так, со слезами на глазах прижимая друг друга к груди. Наконец прощание кончилось, Брюн вскочил в седло, Мюрат поднял свой посох, и каждый двинулся своей дорогой: первый – чтобы вскоре погибнуть в Авиньоне, второй – быть расстрелянным в Пиццо.

А тем временем в Ватерлоо Наполеон, уподобляясь Ричарду III, готов был променять корону на коня[46].

После описанной нами встречи экс-король Неаполя спрятался у своего племянника по имени Бонафу, капитана второго ранга, однако это убежище могло быть только временным, так как родственник раньше или позже должен был возбудить подозрение властей. Поэтому Бонафу стал подумывать о более надежном пристанище для дяди. Вспомнив об адвокате одного из своих друзей, известном ему неподкупной честностью, он в тот же вечер отправился к нему. Поболтав с адвокатом о всяких пустяках, капитан между делом поинтересовался, нет ли у того домика где-нибудь на берегу моря, и, получив утвердительный ответ, тут же напросился туда на завтрак. Его предложение было с радостью принято.

На следующий день в условленный час Бонафу приехал в Бонетт – так назывался деревенский дом, в котором жили жена и дочь г-на Маруэна. Что же до него самого, дела адвокатуры вынуждали его оставаться в Тулоне. После обычных в таких случаях учтивостей Бонафу подошел к окну и подозвал Маруэна.

– Я думал, – с беспокойством в голосе проговорил он, – что ваш дом стоит на самом берегу моря.

– Мы от него минутах в десяти.

---

[46] *Ричард III* (1452–1485) – король Англии в 1483–1485 гг. Автор намекает на персонажа одноименной трагедии Шекспира, в которой Ричард во время битвы при Босворте восклицает: «Коня! Полцарства за коня!»

– Но где же оно?

– Прямо вон за тем холмом.

– Тогда не прогуляться ли нам перед завтраком по берегу?

– Охотно. Ваша лошадь еще не расседлана, я велю оседлать свою, и отправимся.

Маруэн вышел. Бонафу, погруженный в мысли, остался у окна. Впрочем, обе хозяйки дома, занятые приготовлениями к завтраку, не замечали или делали вид, что не замечают озабоченности гостя. Минут через пять Маруэн вернулся: все было готово. Адвокат и его гость вскочили в седло и поскакали к морю. Там капитан придержал лошадь и около получаса ездил вдоль кромки берега, внимательно изучая его очертания. Маруэн следовал за ним и не задавал никаких вопросов – поведение моряка казалось ему вполне естественным. Наконец, после часовой прогулки, они возвратились в дом. Маруэн велел расседлать лошадей, однако Бонафу возразил, что сразу после завтрака ему нужно будет вернуться в Тулон. И действительно, допив кофе, капитан встал и распрощался с хозяевами. Маруэн, у которого в городе были дела, тоже сел на лошадь, и друзья двинулись в сторону Тулона.

Минут через десять Бонафу подъехал к спутнику и, положив руку ему на бедро, заговорил:

– Маруэн, я хочу с вами серьезно поговорить и доверить важную тайну.

– Слушаю вас, капитан. Вы же знаете, что лучше всех умеют хранить тайны исповедники, за ними идут нотариусы, а

за нотариусами – адвокаты.

– Вы, должно быть, прекрасно понимаете, что я приехал сюда отнюдь не ради приятной прогулки. Передо мной стоит важная, ответственная задача, и я из всех своих друзей выбрал вас в надежде, что вы мне достаточно преданы, чтобы оказать нешуточную услугу.

– И правильно сделали, капитан.

– Я буду говорить кратко и без обиняков, как и должно обращаться к человеку, которого уважаешь и на которого рассчитываешь. Мой дядя, король Иоахим, изгнан из страны; сейчас он скрывается у меня, но долго так продолжаться не может, поскольку я первый, к кому за ним придут. Ваш деревенский дом стоит на отшибе и был бы очень удобен в качестве убежища. Я хочу, чтобы вы предоставили его в наше распоряжение до тех пор, пока события не позволят королю принять какое-либо решение.

– Дом к вашим услугам, – просто ответил Маруэн.

– Прекрасно, тогда сегодня вечером дядя будет у вас.

– Но дайте же мне время хоть как-то подготовиться к столь лестному для меня визиту августейшей особы.

– Милый мой Маруэн, это совершенно ни к чему и только вызовет весьма досадную задержку. Король Иоахим уже отвык от дворцов и придворных, сейчас он рад, когда может найти хижину и в ней друга; к тому же, заранее рассчитывая на ваше согласие, я его уже предупредил. Он ожидает, что сегодня вечером будет ночевать у вас, и если я теперь попро-

бую что-нибудь изменить, он воспримет простую отсрочку как отказ, и вам не удастся сотворить доброе дело. Итак, решено, сегодня, в десять вечера, на Марсовом поле.

С этими словами капитан пустил лошадь в галоп и вскоре скрылся из виду. Маруэн повернул назад и вернулся домой, чтобы сделать необходимые распоряжения для приема гостя, имени которого он не назвал.

Как и было условлено, в десять вечера Маруэн явился на Марсово поле, которое в тот день было забито артиллерией маршала Брюна. Никого не увидев, он стал прогуливаться между повозками, но вскоре к нему приблизился караульный и осведомился, что он тут делает. Маруэн не нашелся что сказать – в десять часов вечера люди не гуляют ради развлечения среди пушек – и попросил позвать начальника караула. Офицер подошел; Маруэн представился как адвокат, заместитель мэра города Тулона, и объяснил, что назначил здесь одному человеку свидание, не зная, что это запрещено, и теперь его ждет. Выслушав объяснение, офицер позволил ему остаться и вернулся к себе на пост. Часовой же, подчинившись его решению, продолжал мерно расхаживать туда и сюда, не обращая более внимания на постороннего.

Через несколько минут со стороны Лис показалась большая группа людей. На безоблачном небе ярко светила луна. Узнав Бонафу, Маруэн шагнул ему навстречу. Капитан взял его за руку, подвел к королю и проговорил:

– Ваше величество, вот друг, о котором я говорил. – За-

тем, повернувшись к Маруэну, он обратился к нему: – Перед вами Неаполитанский король, изгнанник и беглец. Вверяю его вам. Не говорю о том, что однажды он, быть может, вернет себе корону, иначе вы были бы лишены возможности бескорыстно совершить доброе дело. А теперь отправляйтесь вперед, а мы последуем за вами на расстоянии.

Адвокат с королем тут же двинулись в путь. На Мюрате в тот вечер был голубой редингот полувоенного покроя, застегнутый на все пуговицы, белые панталоны и сапоги со шпорами. Он носил тогда длинные волосы, усы и густые бакенбарды, доходившие до самой шеи. На протяжении всего пути он расспрашивал адвоката о расположении деревенского дома, где он будет жить, и о возможности, в случае тревоги, быстро оказаться на берегу. Около полуночи король и Маруэн прибыли в Бонетт, а через десять минут к ним присоединилась свита, насчитывавшая человек тридцать. После небольшой закуски эта группа, последний двор низложенного короля, рассеялась по окрестностям, и Мюрат остался с двумя женщинами да камердинером по имени Леблан.

Почти месяц Мюрат прожил в полном уединении, целыми днями отвечая газетам, обвинявшим его в том, что он предал императора. Это обвинение занозой сидело у него в сердце, было призраком, который он тщетно силился прогнать, день и ночь пытаясь отыскать в трудном положении, в котором он тогда оказался, причины, вынудившие его поступить именно так, а не иначе. Тем временем пришла весть

о сокрушительном поражении при Ватерлоо. Предавший его опале император теперь сам попал в опалу и, так же как Мюрат в Тулоне, ждал в Рошфоре решения врагов на свой счет. Неизвестно, какому внутреннему голосу внял Наполеон, когда, отвергнув советы генерала Лальмана и преданность капитана Бодена[47], предпочел Англию Америке и, словно новый Прометей, удалился на скалы Святой Елены. Мы лишь расскажем, какая цепочка случайностей привела Мюрата в крепостной ров города Пиццо, а там пусть фаталисты сами делают из этой необычной истории любые философские выводы. Перед вами лишь простая хроника событий, поэтому мы отвечаем лишь за точность изложенных в ней фактов.

Людовик XVIII снова вступил на трон, и Мюрат потерял всякую надежду остаться во Франции; нужно было уезжать. Его племянник Бонафу зафрахтовал бриг на имя князя Рокка Романа для рейса в Соединенные Штаты. Вся свита была уже на борту; на корабль начали грузить ценности, которые изгнаннику удалось спасти после утраты своего королевства. Это был, прежде всего, мешок золота весом почти в сто фунтов, затем гарда от шпаги с портретами короля, королевы и детей, а также семейные бумаги, завернутые в бархат и украшенные его гербом. Сам Мюрат имел при себе пояс, в котором были зашиты несколько ценных документов и штук

---

[47] *Лальман, Шарль Франсуа Антуан* (1774–1839) – наполеоновский генерал-артиллерист, в 1816–1831 гг. жил в эмиграции в США; *Боден, Шарль* (1784–1854) – капитан первого ранга, предлагавший Наполеону прорвать морскую блокаду и вывезти его в США.

двадцать неоправленных алмазов, стоимость которых он сам определял в четыре миллиона.

Наконец, когда все приготовления к отплытию закончились, было условлено, что 1 августа, в пять часов утра, бриг придет за королем в небольшую бухту, находящуюся в десяти минутах пути от дома, где он жил. Ночью король объяснил Маруэну, как тот может добраться до королевы, которая в ту пору пребывала, кажется, в Австрии. К тому моменту, когда нужно было уже уходить, он покончил с объяснениями и, покидая гостеприимный дом, где так долго скрывался, передал хозяину маленький томик Вольтера. Под сказкой «Микромегас» король написал:

> *«Не беспокойся, милая Каролина: я хоть и несчастен, но свободен. Уезжаю неизвестно куда, но, где бы я ни оказался, сердце мое всегда будет с тобою и детьми.*
> *И. М.».*

Десять минут спустя Мюрат и Маруэн уже ждали на берегу шлюпку, которая должна была доставить беглеца на судно.

Они прождали до полудня, но шлюпка так и не появилась, а между тем на горизонте маячил бриг, который из-за большой глубины не мог стать на якорь и крейсировал вдоль берега, подвергаясь риску быть замеченным выставленными везде часовыми. В полдень, когда измученный король заснул под жаркими лучами солнца прямо на песке, из дома пришел слуга со снедью, на всякий случай посланной обеспокоен-

ной г-жой Маруэн. Король выпил стакан воды с вином, съел апельсин и встал, чтобы посмотреть, не виднеется ли где-нибудь вдали долгожданная шлюпка. Но море было пустынно, и лишь на горизонте изящно покачивался бриг: ему, словно застоявшейся лошади, не терпелось отправиться в путь.

Тяжело вздохнув, король снова улегся на песок. Слуга вернулся в Бонетт с приказом отправить на берег брата г-на Маруэна. Четверть часа спустя тот появился и почти сразу же галопом поскакал в Тулой, чтобы выяснить у Бонафу причину, по которой за королем не прислали шлюпку. Добравшись до дома, где жил капитан, он увидел, что там полным-полно солдат: к нему пришли с обыском в поисках Мюрата. В суматохе посланцу удалось подойти к капитану, и тот сказал, что шлюпка вышла в назначенный час и, скорее всего, заплутала в бухточках между Сен-Луи и Сент-Маргерит. Так, кстати, и было на самом деле. В пять часов посланец сообщил об этом своему брату, г-ну Маруэну, и королю. Те не знали, что предпринять. У короля больше не осталось мужества для борьбы за свою жизнь и даже для бегства: он совсем пал духом, что случается даже с самыми сильными людьми, и был не в силах принять никакого решения, предоставив г-ну Маруэну действовать по собственному усмотрению. В этот миг они увидели рыбака, с песнями возвращающегося в гавань, и Маруэн тут же его подозвал.

Для начала адвокат купил у рыбака весь его улов и, расплатившись с ним, показал золотые монеты и предложил три

луидора за то, чтобы тот доставил пассажира на бриг, виднеющийся против Круаде-Синьо. Рыбак согласился. Этот шанс спастись придал Мюрату сил: он вскочил на ноги, обнял г-на Маруэна, напомнил, что тот должен передать его жене томик Вольтера, после чего вскочил в лодку, и та немедленно двинулась к бригу.

Лодка находилась уже довольно далеко от берега, когда Мюрат вдруг остановил гребца и знаком показал Маруэну, что забыл что-то на берегу. На песке и впрямь остался дорожный мешок с парой великолепных пистолетов, украшенных позолоченным серебром, которые ему подарила королева и которыми он необычайно дорожил. Когда шлюпка приблизилась к берегу настолько, что уже можно было крикнуть, Мюрат сообщил хозяину о причине своего возвращения. Тот подхватил мешок и, не дожидаясь, пока Мюрат ступит на берег, кинул его в лодку, однако при падении мешок раскрылся, и один из пистолетов вывалился наружу. Рыбак глянул на королевское оружие лишь краем глаза, но этого оказалось достаточно, чтобы великолепный пистолет вызвал у него подозрения. Тем не менее рыбак продолжал грести в сторону брига. Г-н Маруэн, видя, что они удаляются, оставил брата на берегу, в последний раз помахал королю рукой и, увидев его ответный взмах, вернулся домой, чтобы успокоить тревогу жены и несколько часов отдохнуть, в чем он крайне нуждался.

Через два часа его разбудили явившиеся с обыском жан-

дармы. Они облазили весь дом, но не нашли ни малейшего следа пребывания короля. В самый разгар их поисков вернулся брат; Маруэн с улыбкой взглянул на него, полный уверенности, что король спасен, однако по выражению лица прибывшего понял, что случилась какая-то новая беда. Улучив момент, когда жандармы вышли из комнаты, он подошел к брату и спросил:

– Ну как, король, надеюсь, уже на борту?

– Король в пятидесяти шагах отсюда, прячется в сарае.

– Почему же он вернулся?

– Рыбак решил, что будет буря, и отказался доставить его на бриг.

– Вот негодяй!

В комнату вернулись жандармы.

Они провели всю ночь, тщетно обшаривая дом и службы, и неоднократно проходили буквально в нескольких шагах от короля, так что Мюрат мог слышать их угрозы и проклятья. Наконец за полчаса до рассвета жандармы удалились. Маруэн дал им отойти подальше и, едва они скрылись из виду, бросился к королю. Тот лежал в дальнем углу сарая, держа в каждой руке по пистолету: бедняга не сумел побороть усталость и заснул. Маруэн немного помедлил: ему было жаль возвращать короля к его скитальческой и беспокойной действительности. Однако нельзя было терять ни минуты, и он разбудил Мюрата.

Не мешкая они двинулись к берегу. Над морем стоял

утренний туман, уже в двухстах шагах ничего нельзя было разглядеть. Волей-неволей им пришлось ждать. Едва первые лучи солнца начали прогревать ночные испарения, как пелена над морем разорвалась на части, и они поплыли над водой, как плывут по небу облака. Король жадным взглядом всматривался в громоздившиеся перед ним белоснежные горы, но ничего не мог разглядеть. Однако он не терял надежды, что в конце концов увидит за этой движущейся завесой спасительный бриг. Горизонт понемногу светлел; еще какое-то время над морем плыли похожие на дым клубы тумана, и Мюрату казалось, что в каждом из них он узнает белые паруса своего корабля. Наконец туман рассеялся окончательно, и перед ним открылось бескрайнее море. Никакого брига не было и в помине. Не имея возможности больше ждать, ночью он ушел.

– Что ж, – проговорил король, обернувшись к адвокату, – жребий брошен, я отправляюсь на Корсику.

В тот же день в Авиньоне был убит маршал Брюн.

Мюрат прятался у г-на Маруэна до 22 августа. Теперь уже ему угрожал не Наполеон, а Людовик XVIII; теперь уже не преданный боевой товарищ Брюн со слезами на глазах сообщал ему о полученном приказе, а неблагодарный негодяй де Ривьер назначил цену[48] за голову того, кто когда-то спас его самого[49]. Правда, Ривьер написал бывшему Неаполитанско-

---

[48] 40 000 франков. *(Примеч. автора.)*

[49] Заговор Пишегрю. *(Примеч. автора.)Пишегрю, Шарль* (1761–1804) – фран-

му королю, чтобы он сдался и положился на человечность короля Франции, однако это неопределенное предложение показалось изгнаннику не слишком-то надежной гарантией, особенно со стороны человека, который только что чуть ли не у себя на глазах позволил убить маршала Франции, имевшего пропуск, подписанный его собственной, Ривьера, рукой. Мюрат знал об избиении мамелюков в Марселе и об убийстве Брюна в Авиньоне; кроме того, комиссар тулонской полиции[50] сообщил ему накануне, что уже есть приказ о его аресте, поэтому оставаться во Франции не было никакой возможности. А Корсика с ее гостеприимными городками, радушными горами и непроходимыми лесами находилась от Мюрата всего в пятидесяти лье; ему нужно было во что бы то ни стало добраться до Корсики и в ее городках, горах или лесах дождаться, как король решит судьбу того, кого в течение семи лет величал своим братом.

Часов в десять вечера Мюрат вернулся на берег. Лодка, которая должна была его забрать, еще не пришла, но на сей раз у Мюрата не было сомнений в том, что она появится: еще днем подходы к бухте разведали трое не покинувших его в трудную минуту друзей. Это были Бланкар, Ланглад и До-

---

цузский генерал, сделавший в 1804 г. неудачную попытку убить Наполеона; *Ривьер, Шарль Франсуа де Рифардо*, маркиз, затем герцог де (1763–1828) – французский генерал и дипломат, после Ватерлоо – командующий 8-м военным округом (Прованс). В 1804 г. был замешан в заговоре Пишегрю, но избежал казни благодаря заступничеству Мюрата.

[50] Жоликлев. *(Примеч. автора.)*

надье, морские офицеры, умные, мужественные люди, которые жизнью поклялись доставить Мюрата на Корсику и в самом деле рисковали жизнью, чтобы выполнить данное обещание. Поэтому Мюрат без всяких признаков тревоги разглядывал пустынный берег. Более того, он радовался этой задержке, которая давала ему несколько минут сыновней радости. Стоя у самого моря, на узкой полоске песка, несчастный изгнанник чувствовал, что еще может вцепиться в свою родную мать – Францию, но как только он ступит в лодку, настанет разлука, долгая, а быть может, и вечная.

Перебирая в голове эти мысли, Мюрат внезапно вздрогнул, а затем вздохнул: в прозрачной мгле южной ночи он увидел парус, словно призрак, скользящий по волнам. Вскоре послышалась морская песня: Мюрат узнал условный знак и в ответ сделал холостой выстрел из пистолета. Лодка тут же направилась к берегу, но, поскольку осадка ее составляла три фута, ей пришлось остановиться шагах в десяти от берега. Двое мужчин выпрыгнули из нее и вышли на сушу, а третий, завернувшись в плащ, прилег у руля.

– Что ж, мои отважные друзья, – сказал Мюрат, подойдя к Бланкару и Лангладу и остановившись у кромки воды, – миг настал, не так ли? Ветер хорош, море спокойно, пора отплывать.

– Да, ваше величество, – отозвался Ланглад, – пора отплывать, но, может быть, разумнее было бы отложить дело до завтра?

– Почему же? – осведомился король.

Ланглад не ответил и лишь повернулся к оставшемуся в лодке товарищу, поднял руку и по обычаю моряков засвистел, призывая ветер.

– Бесполезно, – промолвил лежавший в лодке Донадье, – уже начинает дуть, а скоро задует так, что ты не будешь знать, что делать. Осторожнее, Ланглад: порой бывает, что зовешь ветер, а накличешь бурю.

Мюрат вздрогнул: ему показалось, что эти слова сказал какой-то морской дух, но впечатление было мимолетным, и он тут же опомнился.

– Тем лучше, – сказал он, – чем сильнее ветер, тем быстрее пойдем.

– Так-то оно так, – согласился Ланглад, – но только один Господь знает, куда мы придем, если ветер и дальше будет так поворачивать.

– Не нужно бы идти этой ночью, ваше величество, – присоединился к мнению товарищей Бланкар.

– Да почему же?

– А вот почему. Видите вон там черную полосу? Когда солнце садилось, она была едва заметна, а теперь уже закрывает часть горизонта. Через час на небе не будет ни звездочки.

– Вы боитесь? – спросил Мюрат.

– Боимся? Чего – шторма? – уточнил Ланглад и пожал плечами. – Это все равно как если бы я спросил у вашего

величества, боитесь ли вы пушечных ядер. Мы ведь говорим все это для вас, а что нам, старым морским волкам, какой-то шторм?

– Тогда вперед! – вздохнув, воскликнул Мюрат. – Прощайте, Маруэн! Бог вознаградит вас за все, что вы для меня сделали. Я к вашим услугам, господа.

Моряки подхватили Мюрата, усадили его к себе на плечи, вошли в море, и через несколько секунд он уже сидел в лодке. Ланглад и Бланкар влезли следом и принялись поднимать парус, а Донадье так и остался у руля. Словно лошадь, почуявшая змею, лодка, казалось, напряглась и слегка задрожала; моряки беззаботно взглянули в сторону суши, а Мюрат, увидев, что она отдаляется, повернулся лицом к адвокату и напоследок крикнул:

– Вам следует добраться до Триеста. Не забудьте о моей жене. Прощайте! Прощайте!

– Храни вас Господь, ваше величество, – прошептал Маруэн.

Благодаря белеющему в ночи парусу он еще какое-то время следил за быстро удаляющейся лодкой. Наконец она скрылась из виду. Маруэн постоял еще немного на берегу, хотя ничего не видел и не слышал, и тут издалека до него долетел слабый крик: Мюрат в последний раз прощался с Францией.

Когда г-н Маруэн рассказывал мне однажды вечером, стоя на том самом берегу, все, о чем вы только что прочитали,

ночное отплытие, хотя прошло уже двадцать лет, было свежо в его памяти до мельчайших подробностей. Он говорил мне, что, когда остался один, его охватило предчувствие беды и он никак не мог уйти с берега, несколько раз принимался звать короля, но, словно у человека, который видит сон, с уст у него не слетало ни единого звука. Ему казалось, что он выглядит как безумный, и только в час ночи, то есть через два с половиной часа после отплытия лодки, он вернулся домой со смертельной тоской в сердце.

Что же касается отважных мореходов, то они попали на широкий морской путь, что тянется от Тулона к Бастии, и поначалу королю казалось, что природа опровергает предсказания моряков: ветер не усиливался, а, напротив, стал понемногу стихать, так что через два часа лодка неподвижно качалась на волнах, которые с каждой минутой становились все ниже. Мюрат печально следил, как по поверхности моря, которое, казалось, взяло его в плен, тянется за лодкой фосфоресцирующий след; король приготовился дать отпор буре, но никак не штилю. Ничего не спрашивая у спутников, беспокоившихся, по его мнению, зря, он завернулся в плащ, лег на дно лодки, закрыл глаза и предался течению своих мыслей, гораздо более неспокойному и бурному, нежели море. Вскоре моряки, решив, что он и в самом деле уснул, сели рядом с рулевым и стали держать совет.

– Вы были не правы, – начал Донадье, – когда взяли лодку ни большую, ни маленькую: без палубы нам трудно придется

в шторм, а без весел мы не можем двигаться в штиль.

– Господи, да у меня не было выбора. Пришлось брать что есть, и если бы сейчас не шел тунец, я не достал бы даже этой лоханки или же мне пришлось бы идти в порт, а наблюдают за ним так, что войти-то туда я вошел бы, а вот вышел бы вряд ли.

– Но она, по крайней мере, хоть прочная? – осведомился Бланкар.

– Проклятье! Ты ведь сам прекрасно знаешь, что делается с обшивкой и гвоздями, которые десять лет мокнут в соленой воде. В обычных обстоятельствах я не пошел бы на ней от Марселя до замка Иф, но в нашем положении можно обойти вокруг света и на ореховой скорлупке.

– Тс-с! – остановил их Донадье. Моряки прислушались: вдали раздавался какой-то гул, но такой слабый, что различить его могли только истинные дети моря.

– Вот-вот, – согласился Донадье, – это предупреждение для тех, у кого есть ноги или крылья, чтобы добраться до гнезда и больше оттуда не выходить.

– Мы далеко от островов? – живо поинтересовался Донадье.

– В одном лье или около того.

– Надо взять курс на них.

– Зачем? – приподнявшись, вступил в разговор Мюрат.

– Чтобы укрыться от бури, если удастся, ваше величество.

– Нет-нет, – громко запротестовал Мюрат, – я высажусь

только на Корсике, мне не хочется еще раз покидать Францию. К тому же море спокойно, ветер начинает свежеть…

– Спустить парус! – вскричал Донадье.

Ланглад и Бланкар поспешили выполнить маневр. Парус скользнул вдоль мачты и упал на дно лодки.

– Что вы делаете? – воскликнул Мюрат. – Вы, кажется, позабыли, что приказывает здесь король?

– Ваше величество, – ответил Донадье, – здесь есть государь помогущественнее вас – Господь Бог, и есть голос погромче вашего – рев бури. Позвольте нам спасти вас, ваше величество, и не требуйте от нас большего.

В этом миг молния прорезала горизонт, послышался удар грома, гораздо ближе, чем в первый раз, на поверхности воды появилась пена, и лодка задрожала, словно живая. Мюрат наконец понял, что опасность близка: он с улыбкой встал, отбросил шляпу, встряхнул длинными волосами и стал дышать воздухом грозы, словно дымом орудий, – солдат приготовился к битве.

– Ваше величество, – проговорил Донадье, – вы повидали много сражений, но, вероятно, вам не доводилось видеть шторм. Если это вам интересно, ухватитесь покрепче за мачту и смотрите – спектакль начинается!

– Что я должен делать? – спросил Мюрат. – Не могу ли я чем-то помочь?

– Пока нет, ваше величество, а позже будете вычерпывать воду.

Пока длился этот диалог, буря все набирала силу, она неслась на мореходов словно рысак: из ноздрей у нее летели ветер и огонь, изо рта – гром, а копытами она выбивала из волн клочья пены. Донадье навалился на румпель, и лодка, будто понимая, что от нее требуется беспрекословное повиновение, послушно развернулась кормой к ветру; шквал пролетел, оставив позади себя волнующееся море, и все вокруг стихло. Буря переводила дух.

– Ну что, обошлось? – спросил Мюрат.

– Нет, ваше величество, – ответил Донадье, – это был только авангард, а скоро подойдут главные силы.

– А нам не нужно подготовиться к их встрече? – весело осведомился Мюрат.

– Как подготовиться? – возразил Донадье. – У нас на мачте не осталось ни пяди парусины, в которую мог бы вцепиться ветер, и если не откроется течь, мы будем плавать, как пробка. Держитесь, ваше величество!

Налетел следующий шквал: он был сильнее первого, молнии сверкали не переставая. Донадье попытался повторить тот же маневр, что и в первый раз, но не успел, и ветер ударил в борт; мачта согнулась, словно была из тростника, лодка накренилась и черпнула воду.

– Всем вычерпывать воду! – вскричал Донадье. – Государь, вот теперь вы можете нам помочь.

Бланкар, Ланглад и Мюрат схватили свои шляпы и принялись опорожнять лодку. В этом ужасном положении чет-

верка мореплавателей находилась три часа. К рассвету ветер немного стих, но море оставалось бурным. Путешественники почувствовали голод, однако все их припасы промокли, не пострадало только вино. Король взял бутылку, сделал несколько глотков, после чего передал ее спутникам, которые напились в свою очередь – тут уж было не до этикета. У Ланглада оказался с собой шоколад, который он предложил королю. Мюрат разделил его на четыре равные части и заставил спутников поесть. Покончив с трапезой, моряки взяли курс на Корсику, но лодка была в таком скверном состоянии, что до Бастии она, скорее всего, не дошла бы.

За целый день путешественники продвинулись на какой-то десяток лье: они шли под одним кливером, не решаясь поднять грот. Ветер так часто менял направление, что требовалось очень много времени, чтобы справиться с его капризами. Вечером обнаружилось, что доски обшивки разошлись и открылась течь; платками удалось кое-как заткнуть щель, и ночь, темная и печальная, вновь накрыла лодку своим покрывалом. Не чуя под собой ног от усталости, Мюрат заснул; Бланкар и Ланглад подсели к Донадье, охраняя покой короля: этих людей, казалось, не могли взять ни сон, ни усталость.

На первый взгляд ночь была спокойной, но через какое-то время послышался неясный треск. На лицах у моряков появилось странное выражение, они переглянулись, после чего, как один, посмотрели на короля, который, лежа на дне

лодки и завернувшись в мокрый плащ, спал так же крепко, как когда-то в песках Египта и снегах России. Один из моряков встал и, насвистывая сквозь зубы провансальскую песенку, перешел на нос лодки; оглядев небо, взволнованное море и утлое суденышко, он вернулся к товарищам, сел и пробормотал:

– Это невозможно, помочь нам добраться до места может только чудо.

В подобных невеселых мыслях прошла вся ночь. На рассвете вдали показалось какое-то судно.

– Парус! – закричал Донадье. – Парус!

Король мгновенно проснулся. Действительно, небольшой торговый бриг двигался со стороны Корсики по направлению к Тулону. Донадье взял курс на него, Бланкар поднял оба паруса, так что лодка буквально застонала от напряжения, а Ланглад побежал на нос и стал размахивать плащом короля, нацепленным на багор. Вскоре путешественники поняли, что их заметили: бриг развернулся в их сторону, и через десять минут оба судна оказались шагах в пятидесяти друг от друга. На баке появился капитан. Король окликнул его и предложил кругленькую сумму за то, чтобы его с тремя товарищами взяли на борт и доставили на Корсику. Выслушав это предложение, капитан вполголоса отдал своей команде какое-то распоряжение, которое Донадье не расслышал, но, вероятно, понял из жестов капитана, потому что тут же приказал Лангладу и Бланкару выполнить разворот, что-

бы оказаться как можно дальше от брига. Как истые матросы, те беспрекословно подчинились, но король топнул ногой:

– Что вы делаете, Донадье? Что вы делаете? Разве вы не видите, что он движется к нам?

– Клянусь Богом, вижу… Давай-давай, Ланглад, осторожней, Бланкар! Да, он движется к нам, и, кажется, я заметил это слишком поздно. Ну так, хорошо, а вот теперь моя очередь.

С этими словами от так резко и с такою силой налег на румпель, что лодка, вынуждаемая круто изменить направление, казалось, закусила удила, словно лошадь, но в конце концов поддалась. Громадная волна, поднятая шедшим в ее сторону гигантом, отбросила ее, как перышко, и бриг прошел в нескольких футах от ее кормы.

– Ах ты, злодей! – воскликнул король, только теперь понявший намерения капитана, и, выхватив из-за пояса пистолет, закричал: – На абордаж! На абордаж!

Он попытался выстрелить в бриг, но порох отсырел и не воспламенился, а король все повторял в ярости:

– На абордаж! На абордаж!

– Вот именно, злодей, а еще вернее – болван, – проговорил Донадье, – он принял нас за пиратов и хотел потопить, будто без него нам не удастся пойти на дно.

Лодка и впрямь опять дала течь. В результате резкого поворота, сделанного Донадье, доски обшивки снова разошлись, и в многочисленные щели хлынула вода; снова при-

шлось вычерпывать ее шляпами, что длилось десять часов, пока Донадье внезапно не воскликнул:

– Парус! Парус!

Король и двое моряков тотчас бросили работу, подняли парус, и лодка устремилась к приближающемуся судну; водой уже никто не занимался, и она быстро прибывала.

Теперь все решало время – минуты, секунды: нужно было добраться до судна прежде, чем лодка затонет. На судне, казалось, тоже поняли отчаянное положение людей, просивших у них помощи, поскольку оно прибавило ходу. Ланглад узнал судно первым: это была баланселлa[51], находящаяся на службе у правительства и совершавшая рейсы с почтой между Тулоном и Бастией. Дружившим с ее капитаном Ланглад голосом, которому опасность придала силы, позвал капитана по имени, и его услышали. Самое время было спасаться: вода все прибывала, король со спутниками стояли уже по колено в воде, а лодка стонала, словно умирающий человек; она остановилась и начала переворачиваться. В этот миг с баланселлы бросили несколько концов, и король, ухватившись за один из них, кинулся в воду и вскоре уже держался за веревочный трап: он был спасен. Баланкар и Ланглад не мешкая последовали его примеру; Донадье остался в лодке последним, как того требовал его долг, и когда он одной ногою стоял уже на трапе, другая его нога вдруг провалилась вниз; со свойственным истому моряку хладнокровием он оглянулся

[51] *Баланселлa* – парусно-гребная рыбацкая лодка.

и увидел, как под ним разверзлась пучина, и лодка, перевернувшись, пропала в ней навсегда. Еще секунд пять, и четверку мореплавателей ждала бы неминумая гибель[52].

Едва Мюрат ступил на палубу, как какой-то человек бросился ему в ноги: это был мамелюк, которого он когда-то привез из Египта и который, женившись, осел в Кастелламаре. Торговые дела привели его в Марсель, где он чудом избежал резни, устроенной его соотечественникам, а теперь, несмотря на необычную одежду и печать усталости на лице Мюрата, сразу же узнал своего бывшего хозяина. Он разразился радостными восклицаниями, поэтому хранить инкогнито больше не имело смысла, и сенатор Касабьянка, капитан Олетта, племянник князя Бачиокки, и военный комиссар Боэрко, сами бежавшие от побоищ на юге, приветствовали короля, обращаясь к нему со словами «ваше величество» и образовав таким образом импровизированный двор. Столь внезапный переход мгновенно преобразил Мюрата: он был уже не изгнанником, а Иоахимом I, королем Неаполитанским. Земля, откуда он был изгнан, пропала вместе с утонувшей лодкой, и впервые мысль о ставшем для него роковым походе в Калабрию родилась у Мюрата именно в эти дни упоения, которое пришло на смену недавнему мучительному беспокойству. Но покамест король, не знавший, какой

---

[52] Эти подробности известны в Тулоне всякому, я сам слышал их раз двадцать во время двух своих визитов в этот город в конце 1834 г. и в 1835 г. Кое-кому из моих собеседников рассказывали об этом сами Ланглад и Донадье. *(Примеч. автора.)*

прием ждет его на Корсике, решил назваться графом Кампо Мелле и под этим именем 25 августа ступил на землю Бастии. Однако предосторожность Мюрата оказалась излишней: через три дня все в городе знали о его прибытии. На улицах появились толпы народа, стали раздаваться возгласы: «Да здравствует Иоахим!», и король, не желая нарушать общественное спокойствие, тем же вечером покинул город в сопровождении троих спутников и мамелюка. Два часа спустя он уже въехал в Висковато и стучался в дверь генерала Франческетти, который на протяжении всего царствования Мюрата находился у него на службе и, уехав из Неаполя одновременно с ним, вернулся на Корсику к жене, в дом ее отца г-на Колона Чикальди. Генерал сидел за ужином, когда ему доложили, что какой-то незнакомец хочет с ним говорить; он вышел и увидел длиннобородого человека в солдатском плаще, лосинах, башмаках с гетрами и морской шапочке. Генерал весьма удивился; тогда незнакомец, устремив на него взгляд своих больших черных глаз, скрестил руки на груди и заговорил:

– Франческетти, не найдется ли у вас за столом места для вашего генерала, который очень голоден? Не найдется ли у вас под крышей места для короля-изгнанника?

Франческетти, узнав Иоахима, изумленно вскрикнул, упал перед ним на колени и поцеловал королю руку. С этого часа дом генерала оказался в полном распоряжении Мюрата.

Едва по окрестностям распространился слух о приезде ко-

роля, как в Висковато стали стекаться офицеры всех рангов, ветераны, когда-то воевавшие под его началом, а также охотники-корсиканцы, которых привлекала его слава искателя приключений, и вскоре дом генерала превратился во дворец, деревня – в монаршую резиденцию, а остров – в королевство. О намерениях Мюрата пошли самые невероятные слухи, которые отчасти подтверждались собравшимся у него войском в количестве девятисот человек. Именно тогда и распрощались с Мюратом Бланкар, Ланглад и Донадье; Мюрат хотел их удержать, но они не согласились, поскольку брали на себя обязательство спасти изгнанника, а не делить с королем превратности Фортуны.

Мы уже упоминали, что Мюрат встретился на почтовом судне с одним из своих бывших мамелюков по имени Отелло, который последовал за ним в Висковато, и вот экс-король Неаполя решил сделать из него шпиона. Не возбуждая ничьих подозрений, мамелюк мог поехать к родственникам в Кастелламаре, поэтому Мюрат и отправил его туда, снабдив письмами к людям, на чью преданность он мог рассчитывать. Отелло отбыл, благополучно добрался до своего тестя и счел возможным ему довериться, однако тот, испугавшись, сообщил в полицию, которая ночью явилась к Отелло и забрала все письма.

На следующий день все адресаты этих писем были арестованы, после чего им велели ответить Мюрату, как если бы они оставались на свободе, и посоветовать ему Салерно в

качестве наиудобнейшего места для высадки войск. Из семи арестованных пятеро трусливо согласились на это, и лишь двое, братья-испанцы, категорически отказались, за что тут же были брошены в тюрьму.

Тем временем 17 сентября Мюрат покинул Висковато в сопровождении эскорта, состоявшего из генерала Франческетти и офицеров-корсиканцев, и направился в сторону Аяччо через Котоне, горные массивы Серра, Боско, Веначо, Виваро и лесистые ущелья Веццаново и Богоньона. Жители повсюду встречали Мюрата с королевскими почестями, к городским воротам выходили делегации, обращавшиеся к нему не иначе как «ваше величество». Наконец 23 сентября Мюрат прибыл в Аяччо. Все население города высыпало ему навстречу, и въезд в Аяччо превратился в подлинный триумф – жители донесли его на руках до трактира, который военачальники Мюрата заранее выбрали в качестве королевской резиденции; словом, даже менее впечатлительному человеку, чем Мюрат, было от чего потерять голову. Поэтому ничего удивительного, что он упивался своей популярностью: войдя в трактир, он протянул Франческетти руку и проговорил:

– Видите, как встречают меня на Корсике? В Неаполе будет то же самое.

Впервые высказавшись таким образом относительно своих намерений, Мюрат в тот же день велел готовиться к походу.

Было собрано десять небольших фелук, а некий мальтиец по имени Барбара, бывший капитан второго ранга неаполитанского флота, был назначен командиром флотилии; двести пятьдесят человек согласились принять участие в походе и готовились выступить по первому сигналу. Теперь Мюрат ждал лишь ответов на письма, увезенные Отелло; они пришли 28 сентября; король в тот же день дал офицерам большой обед и велел удвоить жалованье и рацион своему войску.

Король уже приступил к десерту, когда было объявлено о прибытии г-на Мачерони – это был посланец иностранных держав, привезший ответ, которого Мюрат так и не дождался в Тулоне. Мюрат встал из-за стола и прошел в соседнюю комнату: представившись как посол, облеченный официальной миссией, г-н Мачерони вручил королю ультиматум австрийского императора. Его содержание было таково:

> *«Настоящим поручается г-ну Мачерони уведомить короля Иоахима, что его величество император Австрийский готов предоставить ему убежище в своем государстве на следующих условиях:*
>
> *1. Король будет жить под другим именем, а поскольку королева взяла себе имя Липано, то и королю рекомендуется принять его же.*
>
> *2. Для проживания королю будет позволено выбрать по своему усмотрению город в Богемии, Моравии или Верхней Австрии либо любую сельскую местность в означенных провинциях.*

3. Король даст честное слово его императорскому и королевскому величеству, что не покинет Австрийское государство без разрешения императора и будет проживать там в качестве знатного частного лица, подчиняясь всем законам Австрийского государства.

В удостоверение сей декларации и дабы дать ей соответствующий дальнейший ход, по поручению императора подписал
князь Меттерних
Париж, 1 сентября 1815 года».

Прочитав документ, Мюрат улыбнулся и дал знак г-ну Мачерони следовать за ним. Они вышли на балкон, с которого открывался вид на весь город и над которым, словно над королевским замком, реяло знамя; их взору предстал веселящийся, иллюминированный Аяччо, порт с небольшой флотилией, улицы, словно в день праздника, заполненные народом. Едва горожане увидели Мюрата, как повсюду послышались крики: «Да здравствует Иоахим! Да здравствует брат Наполеона! Да здравствует король Неаполитанский!» Мюрат поклонился, после чего крики только усилились, а оркестр гарнизона заиграл национальные мелодии. Г-н Мачерони не знал, верить ли ему глазам и ушам своим; насладившись его изумлением, король пригласил посла спуститься в гостиную. Там, одетые в мундиры, уже собрались члены его штаба, так что можно было подумать, что они находятся в Казерте или

Каподимонте[53]. Несколько мгновений помедлив, г-н Мачерони подошел к Мюрату.

– Ваше величество, – проговорил он, – какой же ответ я должен дать его величеству императору Австрийскому?

– Сударь, – ответил Мюрат с высокомерным достоинством, которое так ему шло, – расскажите брату моему Францу обо всем, что видели и слышали, а затем добавьте, что я сегодня же ночью выступаю в поход, дабы отвоевать Неаполитанское королевство.

Письма, толкнувшие Мюрата на то, чтобы покинуть Корсику, были ему доставлены неким калабрийцем по имени Луиджи, который представился как посланец араба Отелло, тогда как тот – мы уже говорили об этом – был брошен в Неаполе в тюрьму вместе с адресатами привезенных им писем. Письма же, полученные Мюратом, писал министр полиции Неаполитанского королевства, а в качестве места высадки он порекомендовал Салерно потому, что король Фердинанд успел стянуть туда трехтысячный отряд австрийцев, так как не доверял неаполитанским солдатам, сохранившим о Мюрате наилучшие воспоминания. Поэтому флотилия Иоахима и направилась в сторону залива Салерно, однако неподалеку от острова Капри разыгралась страшная буря, и суденышки короля оказались в Пасле – небольшом порту в десяти лье от Козенцы. Ночь с 5 на 6 октября они провели в заливчике, который даже нельзя назвать рейдом, дабы не возбуждать подо-

---

[53] Города в Неаполитанском королевстве, резиденции неаполитанских королей.

зрений береговой охраны и сицилийских скорридори[54], Мюрат приказал потушить все огни и лавировать до рассвета, однако около часа ночи со стороны суши задул такой сильный ветер, что суда были отброшены им в открытое море, и на рассвете 6 октября фелука, на которой находился король, оказалась в одиночестве. Чуть позже к ней присоединилась фелука капитана Чиккони, и к четырем часам пополудни оба судна бросили якоря в виду Санта-Лючидо. Вечером король велел командиру батальона Оттавиани отправиться на сушу и разведать, что и как; Луиджи вызвался его сопровождать, Мюрат согласился, и Оттавиани со спутником сошли на берег, а Чиккони было поручено выйти на своей фелуке в море на поиски остальной флотилии.

Около одиннадцати вечера вахтенный лейтенант королевского судна заметил в волнах плывущего человека и, когда тот приблизился, окликнул его: это оказался Луиджи. За ним тотчас спустили шлюпку и доставили его на берег, после чего он рассказал, что командир батальона Оттавиани арестован, а сам он ускользнул от преследователей, бросившись в море. Первым движением Мюрата было броситься на спасение Оттавиани, однако Луиджи стал убеждать короля в опасности и бесполезности подобной попытки, что не помешало Мюрату пребывать в тревоге до двух часов ночи. Наконец он отдал приказ выходить в море. Во время лавировки в бухте один матрос свалился за борт и утонул, прежде чем ему успели

---

[54] *Скорридори* – сицилийское почтовое судно. *(Примеч. автора.)*

прийти на помощь. Предзнаменование было явно зловещим.

Утром 7 мая на горизонте было замечено два судна. Король тут же приказал приготовиться к бою, но Барбара распознал в судах фелуку Чиккони и баланселлу Курана, которые плыли рядом. На мачте взвился сигнальный флаг, и вскоре оба капитана присоединились к своему адмиралу.

Пока шло совещание относительно дальнейшего маршрута, к судну Мюрата пристала шлюпка. В ней оказались капитан Перниче и его помощник: они явились, чтобы просить разрешения короля перейти к нему на судно, поскольку не желали больше оставаться с Кураном, который, по их мнению, был предатель. Мюрат тотчас же послал за ним и, несмотря на заверения в преданности, велел ему сесть с пятьюдесятью солдатами в шлюпку, а ее приказал привязать к своей фелуке. Приказ был немедленно выполнен, и крошечная эскадра продолжила путь вдоль берега Калабрии, не теряя его из вида, однако около десяти вечера, когда они находились неподалеку от залива Санта-Эуфемиа, капитан Куран перерезал буксирный трос и стал грести к берегу. Мюрату, который лежал в постели не раздеваясь, тут же сообщили об этом. Он выскочил на палубу и еще успел увидеть шлюпку, которая, держа курс на Корсику, постепенно растворялась в ночной мгле. Мюрат стоял молча, неподвижно, без каких бы то ни было признаков гнева и только тяжко вздохнул и свесил голову на грудь: еще один листок упал с волшебного дерева его надежд.

Воспользовавшись минутой уныния короля, генерал Франческетти посоветовал ему не высаживаться в Калабрии, а идти прямо до Триеста и там воспользоваться предложенным австрийцами убежищем. У изможденного, павшего духом Мюрата не было сил сопротивляться, и после недолгих возражений он уступил. В этот миг генерал заметил, что какой-то матрос, дремавший на бухте троса, мог все слышать и, замолчав, указал на него Мюрату; тот подошел и узнал в матросе Луиджи, который от усталости заснул прямо на палубе. Спал он так сладко, что король, всегда доверявший Луиджи, успокоился. Прерванный разговор возобновился: собеседники условились, что, не сообщая никому о своем новом плане, они минуют Мессинский пролив, обогнут мыс Спартивенто и войдут в Адриатическое море. Установив таким образом свой дальнейший маршрут, король с генералом спустились вниз.

На следующий день, 8 октября, когда Барбара спросил, каковы будут дальнейшие распоряжения, Мюрат велел взять курс на Мессину; Барбара ответил, что готов выполнить приказание, но ему нужно запастись пресной водой и провизией, поэтому он хотел бы дойти на фелуке Чиккони до берега, дабы пополнить припасы. Король согласился, и тогда Барбара попросил у него пропуск, выданный Мюрату союзниками, чтобы, как сказал капитан, у него не было неприятностей с местными властями. Мюрат слишком дорожил пропуском, чтобы выпустить его из рук, да и начал уже, вероятно, что-

то подозревать и отдать документ отказался. Барбара начал настаивать, король приказал ему отправляться на сушу без пропуска, Барбара категорически стоял на своем, и король, привыкший к повиновению, замахнулся было хлыстиком на мальтийца, но тут же передумал: приказал солдатам готовить оружие, а офицерам облачиться в парадные мундиры, и сам первый подал пример. Мюрат решил все-таки высадиться на берег, и Пиццо должен был стать для новоявленного Наполеона его заливом Жуан[55]. Флотилия направилась к берегу. Король сел в шлюпку с двадцатью восемью солдатами и тремя слугами, в числе которых был и Луиджи. У самой кромки воды генерал Франческетти хотел было сойти на сушу, но Мюрат остановил его.

– Первым ступить на землю должен я, – сказал он и сошел на берег. На нем был генеральский мундир, белые лосины, сапоги со шпорами, пояс, за который были заткнуты два пистолета, расшитая золотом шляпа с кокардой, прикрепленной с помощью шнурка, с четырнадцатью брильянтами; в руке король держал знамя, под коим намеревался собрать своих приверженцев. На башне в Пиццо часы пробили десять утра.

Мюрат не мешкая направился в находившийся всего в ста шагах от берега город по дороге, вымощенной большими плитами, ступенями поднимавшимися по склону. Было

---

[55] В марте 1815 г. Наполеон, покинув Эльбу, высадился в заливе Жуан, что послужило началом его реставрации, продлившейся ровно сто дней.

воскресенье, народ, сходясь к мессе, заполнил всю площадь. Никто не узнал Мюрата; все с удивлением смотрели на сопровождавший его блестящий штаб, но тут король заметил среди крестьян одного сержанта, служившего когда-то в Неаполе у него в конвое. Мюрат направился прямо к сержанту, положил руку ему на плечо и спросил:

– Тавелла, ты меня не узнаешь?

Тот ничего не ответил, и Мюрат продолжал:

– Я Иоахим Мюрат, твой король, у тебя есть возможность отличиться и первым воскликнуть: «Да здравствует Иоахим!»

Свита Мюрата тут же подхватила приветствие, но калабриец молчал, и ни один из его товарищей не раскрыл рта, чтобы повторить радостный клич. Напротив, по толпе пробежал глухой ропот. Мюрат понял, что зреет буря, и проговорил, обращаясь к Тавелле:

– Что ж, если ты не хочешь кричать: «Да здравствует Иоахим!», то хотя бы приведи мне коня, и я сделаю тебя из сержанта капитаном.

Тавелла молча ушел, однако и не подумал выполнить приказ, а отправился домой и больше уже не показывался. Между тем жители города продолжали стоять толпой, не проявляя ни тени дружеского расположения, на которое Мюрат так рассчитывал. Почувствовав, что если он не примет тотчас какое-то решение, то ему придет конец, Мюрат воскликнул: «На Монтелеоне!» – и первым свернул на идущую ту-

да дорогу. «На Монтелеоне!» – повторили последовавшие за ним офицеры и солдаты. Толпа, все такая же молчаливая, расступилась и пропустила отряд.

Но едва он ушел, как площадь забурлила; некто Джордже Пеллегрино выскочил из дому с ружьем и побежал по городу с криком: «К оружию!» Он знал, что капитан Трента Капелли, командир жандармерии в Козенце, находится сейчас в Пиццо, и решил его предупредить. Его призыв нашел большой отклик в толпе, нежели слова: «Да здравствует Иоахим!» Поскольку у всякого уважающего себя калабрийца есть ружье, то, когда Трента Капелли и Пеллегрино вернулись на площадь, там собралось уже около двухсот вооруженных людей, и предводители повели их в погоню за королем. Они нагнали его минут через десять, в том месте, где теперь находится мост. Завидя погоню, Мюрат приказал всем остановиться и стал ждать.

Когда Капелли со шпагой в руке приблизился к нему, король сказал:

– Сударь, не хотите ли вы сменить капитанские эполеты на генеральские? Если да, то кричите: «Да здравствует Иоахим!» – и ведите со мною своих бравых парней на Монтелеоне.

– Ваше величество, – ответил Трента Капелли, – все мы – верноподданные короля Фердинанда и явились сюда, чтобы схватить вас, а не сопровождать, поэтому во избежание кровопролития вам лучше сдаться.

Мюрат с непередаваемым выражением взглянул на капитана жандармерии и, не соизволив даже ответить, сделал ему одной рукой знак удалиться, а вторую положил на рукоятку пистолета. Джордже Пеллегрино заметил это движение и крикнул:

– Ложитесь, капитан, ложитесь!

Тот бросился на землю, и тотчас же просвистевшая у него над головою пуля опалила Мюрату волосы.

– Огонь! – крикнул Франческетти.

– Стволы в землю! – перебил его Мюрат и, выхватив платок, шагнул в сторону крестьян, но тут раздался залп, поразивший офицера и нескольких солдат. В таких случаях, если уж кровь начала литься, скоро ее не остановишь. Мюрат знал эту печальную истину и мгновенно принял решение. Перед ним было пятьсот вооруженных людей, позади – тридцатифутовый обрыв, и король, не раздумывая, прыгнул вниз со скалы, на которой стоял, и тут же вскочил с песка, живой и невредимый. Генерал Франческетти и его адъютант Кампана последовали его примеру, так же удачно прыгнули со скалы, после чего все трое устремились в сторону моря через лесок, стоявший в сотне шагов от берега и сразу же скрывший их от глаз врагов. При выходе из леса их встретил новый залп, пули засвистели у них над головами, но никого не задели, и беглецы продолжали двигаться к берегу.

И только тогда король увидел, что оставшаяся на песке лодка исчезла, а составлявшие его флотилию три судна, вме-

сто того чтобы поддерживать десант, на всех парусах шли в открытое море. Мальтиец Барбара отнял у Мюрата не только его состояние, но и надежду, спасение, даже жизнь, однако король никак не мог поверить в его предательство. Решив, что это просто очередной маневр, он увидел неподалеку, подле развешанных для просушки сетей, рыбачью лодку и крикнул спутникам:

– Лодку на воду!

Отчаяние удвоило силы беглецов, и они принялись сталкивать лодку в море. Никто из преследователей не решился спрыгнуть со скалы, и поэтому им пришлось пойти в обход, что давало Мюрату и его спутникам несколько минут выигрыша. Однако вскоре послышались крики врагов: Джордже Пеллегрино и Трента Капелли во главе всего населения Пиццо показались шагах в пятистах от того места, где Мюрат, Франческетти и Кампана, выбиваясь из сил, сталкивали лодку с песка. За криками последовал залп, и Кампана упал: пуля пробила ему грудь. Однако лодка была уже на воде; генерал Франческетти прыгнул в нее, Мюрат хотел было сделать то же самое, но не заметил, что шпорами зацепился за сеть. Лодка, повинуясь данному им толчку, ушла у него из-под рук, и король растянулся во весь рост – ногами на песке, а лицом в воде. Не успел он подняться, как крестьяне, набросившись на него, в один миг содрали с него эполеты, камзол и отняли знамя; они разорвали бы на куски и его самого, но Джордже Пеллегрино и Трента Капелли, подняв короля с

песка и встав по обе стороны, взяли его под защиту. Так, уже пленником, Мюрат прошел по тому же самому месту, где час назад высадился как король. Конвоиры отвели Мюрата в замок, где его заперли в общей камере, и король оказался среди воров и убийц, которые, не зная, кто он такой, и приняв его за собрата по ремеслу, встретили его оскорблениями и насмешками.

Четверть часа спустя дверь темницы отворилась, и вошедший комендант Маттеи увидел, что Мюрат стоит, скрестив руки на груди и с гордо поднятой головой. В этом полуобнаженном, покрытом грязью и кровью человеке было столько величия, что комендант поклонился.

– Комендант, – заговорил Мюрат, определив по эполетам должность вошедшего, – оглянитесь вокруг и скажите: разве в такую тюрьму сажают королей?

И тут случилась странная вещь: злодеи, посчитавшие Мюрата одним из своих и встретившие его издевательствами и смехом, вдруг склонились перед королевским величием, которое чуть раньше никак не подействовало на Пеллегрино и Трента Капелли, и молча отошли в глубь камеры. Так, оказавшись в беде, Мюрат снова был признан королем.

Комендант Маттеи, пробормотав какие-то извинения, пригласил Мюрата проследовать в приготовленную для него комнату, однако, прежде чем уйти, Мюрат сунул руку в карман и бросил горсть золотых, застучавших по полу, словно дождь.

– Возьмите, – обратился он к заключенным, – это чтоб вы не говорили, что вас посетил король – пусть даже свергнутый и плененный – и при этом ничем не одарил.

– Да здравствует Иоахим! – в один голос воскликнули заключенные.

Мюрат горько улыбнулся. Если бы час назад эти слова были подхвачены на площади, а не звучали теперь в тюрьме, он вновь стал бы королем Неаполитанским! Самые важные события проистекают порой из причин столь незначительных, что, кажется, Господь играет с сатаной в кости, ставя на кон жизнь или смерть человека, возникновение или падение империй.

Маттеи провел Мюрата в небольшую комнату, которую привратник уступил королю, и собрался было уйти, но Мюрат остановил его.

– Господин комендант, – заявил он, – я желаю принять ароматическую ванну.

– Боюсь, это сложно, ваше величество.

– Вот вам пятьдесят дукатов: пусть на них купят весь одеколон, какой найдут. Да, и пришлите ко мне портных.

– Здесь можно найти мастеров, которые умеют шить только крестьянскую одежду.

– Пошлите в Монтелеоне, пусть приведут всех, кого удастся отыскать.

Комендант поклонился и вышел.

Мюрат сидел в ванне, когда ему доложили, что пришел

кавалер Алькала, генерал князя Инфантадо и губернатор города. Он передал для пленника камчатные одеяла, простыни и кресла. Мюрата тронул этот знак внимания, и он снова успокоился.

В тот же день, в два часа, из Сен-Тропеза прибыл генерал Нунцианте с тремя тысячами солдат. Мюрат обрадовался старому знакомому, но с первых же его слов понял, что тот явился не с визитом, а как судья, дабы его допросить. В своих ответах король ограничился тем, что объяснил: он направляется с Корсики в Триест, имея для того пропуск от императора Австрии, но буря и недостаток провизии вынудили его высадиться в Пиццо. На все другие вопросы Мюрат отвечал упрямым молчанием, а когда генерал вконец надоел ему своими приставаниями, проговорил:

– Генерал, не смогли бы вы снабдить меня одеждой, чтобы я мог вылезти из ванны?

Генерал, поняв, что больше от короля ничего не добьешься, поклонился и ушел. Через десять минут Мюрат получил мундир, оделся, спросил перо и чернила и принялся за письма: он написал командующему австрийскими войсками в Неаполе, английскому послу и жене, сообщив им всем, что его задержали в Пиццо. Покончив с письмами, он встал, некоторое время в волнении ходил по комнате и, захотев глотнуть свежего воздуха, отворил окно. Оно выходило как раз на то место побережья, где его арестовали.

У подножья небольшого, округлой формы редута два че-

ловека копали яму в песке. Закончив, они зашли в стоявший поблизости дом и вынесли оттуда труп. Король припомнил недавние события, и ему показалось, что во время разыгравшейся у лодки страшной сцены рядом с ним кто-то упал, но он не знал кто. Умерший был совершенно обнажен, но по длинным черным волосам, по молодому на вид телу король узнал в нем Кампану, своего любимейшего адъютанта. Это увиденное в час сумерек из окна тюрьмы погребение на одиноком песчаном берегу взволновало Мюрата больше, чем все его собственные беды. Крупные слезы тихо покатились по его львиному лицу. В этот миг вернулся генерал Нунцианте и увидел, что король стоит с воздетыми к небу руками и лицом, мокрым от слез. Услышав шум, Мюрат обернулся и, заметив изумление, написанное на лице старого солдата, произнес:

– Да, генерал, я плачу. Я оплакиваю этого двадцатичетырехлетнего юношу, которого мне доверила его семья и который погиб из-за меня. Оплакиваю его долгую, драгоценную, блестящую непрожитую жизнь, угасшую в безвестной яме, во вражеской земле, на неприютном берегу. О Кампана, Кампана! Если я когда-либо верну свой трон, у тебя будет королевская гробница!

В комнате, соседствующей с той, в которой был заточен Мюрат, генерал велел накрыть обед; король прошел туда, уселся за стол, но есть не мог. Только что увиденная сцена разбила ему сердце, а ведь этот человек и бровью не поведя

прошел через Абукир, Эйлау и Москву.

После обеда Мюрат вернулся к себе в комнату, передал генералу написанные им письма и попросил оставить его одного. Генерал ушел.

Мюрат широкими шагами заходил по комнате, время от времени останавливаясь у окна, но не отворяя его. Наконец, преодолев глубокое отвращение, он поднял шпингалет и открыл створку. Ночь была спокойной и светлой, так что Мюрат видел весь берег. Он поискал глазами место, где похоронили Кампану, и определил его по двум собакам, разрывавшим могилу. Король яростно захлопнул окно и в одежде повалился в постель. Затем, опасаясь, как бы его волнение не приняли за обычный страх, он разделся, лег и уснул – а может быть, всю ночь притворялся спящим.

Утром 9 октября появились приглашенные Мюратом портные. Он назаказывал им множество одежды, подробно объясняя все ее детали, рисовавшиеся в его буйной фантазии. Он все еще был занят этим, когда пришел генерал Нунцианте. Генерал стоял и печально слушал указания Мюрата: по телеграфу только что пришло распоряжение Фердинанда предать короля суду как врага общества. Но Мюрат был столь безмятежен, спокоен и почти весел, что у генерала не хватило духу сообщить ему о предстоящем суде; он даже постарался задержать его начало до получения письменных распоряжений. Они прибыли вечером 12 октября. Содержание их было таково:

«Неаполь, 9 октября 1815 года.

Мы, Фердинанд, король Божией милостью, и т. д. и т. п., изволили повелеть нижеследующее:

Статья I. Генерал Мюрат должен быть предан военному суду, назначенному военным министром.

Статья 2. Для получения последнего причастия осужденному предоставляется не более получаса.

Подпись: Фердинанд».

Другой документ был приказом министра и содержал имена членов военного суда. Вот они:

Джузеппе Фаскуло, генерал-адъютант, начальник генерального штаба, председательствующий;

Рафаэлло Скальфаро, командир легиона Нижней Калабрии;

Латерео Натали, подполковник королевского флота;

Дженнаро Ланцетта, подполковник инженерных войск;

В. Т., капитан артиллерии;

Франсуа де Ванже, капитан артиллерии;

Франческо Мартеллари, лейтенант артиллерии;

Франческо Фройо, лейтенант 3-го полка;

Джованни делла Камера, генеральный прокурор уголовного суда Нижней Калабрии;

Франческо Папавасси, секретарь.

Военный суд собрался ночью. 13 октября в шесть утра капитан Стратти вошел в комнату короля: тот крепко спал. Стратти хотел было уйти, но, идя к двери, задел за стул. Этот

шум разбудил Мюрата.

– Что вам угодно, капитан? – спросил Мюрат.

Стратти хотел что-то сказать, но у него перехватило горло.

– Ах, вот что! – проговорил Мюрат. – Вы, кажется, получили вести из Неаполя?

– Да, ваше величество, – прошептал Стратти.

– И каковы же они?

– Вас предают суду.

– Интересно, а кто будет выносить приговор? Где вы найдете равных мне, чтобы меня судить? Если меня будут судить как короля, суд должен состоять из королей, если как маршала Франции – из маршалов, а если как генерала – это меньшее, что возможно в данном случае, – из генералов.

– Ваше величество, вы объявлены врагом общества, поэтому подлежите юрисдикции военного суда – вы же сами издали этот закон, направленный против мятежников.

– Этот закон направлен против разбойников, а не коронованных особ, сударь, – презрительно ответил Мюрат. – Что ж, я готов к тому, что буду убит, но все же не думал, что Фердинанд способен на такое.

– Ваше величество, не хотите ли ознакомиться со списком ваших судей?

– Ну-ну, сударь, это должно быть забавно. Читайте, я вас слушаю.

Капитан Стратти перечислил названные выше имена. Мюрат слушал с презрительной улыбкой.

– Вот как! – заметил он, когда капитан закончил. – Похоже, все меры предосторожности приняты?

– Что вы хотите этим сказать, ваше величество?

– Ну как же, за исключением докладчика Франческо Фройо, все они обязаны своими чинами мне. Они побоятся обвинения в том, что хотели отплатить мне услугой за услугу, поэтому вынесут приговор единогласно, разве что один голос будет против.

– Ваше величество, быть может, вам есть смысл предстать перед судом и самому выступить в свою защиту?

– Молчите, сударь, молчите, – ответил Мюрат. – Чтобы я смог признать перечисленных вами судей, из истории пришлось бы вырвать слишком много страниц. Этот трибунал неправомочен, и мне было бы стыдно предстать перед ним. Я знаю, что не могу спасти свою жизнь, так дайте же мне сохранить хотя бы королевское достоинство.

В тот момент в камеру вошел лейтенант Франческо Фройо, которому было поручено допросить обвиняемого, и стал спрашивать у Мюрата его имя, возраст и место рождения. Мюрат встал и с неописуемым величием ответил:

– Я – Иоахим Наполеон, король Обеих Сицилий. Приказываю вам выйти!

Докладчик повиновался.

Тогда Мюрат, надев только лосины, спросил у Стратти, позволено ли ему написать прощальное письмо жене и детям. Стратти, не в силах более говорить, ответил утверди-

тельным жестом, тогда Иоахим присел к столу и написал следующее письмо[56]:

«Милая Каролина, сердце мое!

Роковой миг настал, вскоре меня казнят, а через час ты больше не будешь супругой, а дети потеряют отца. Помните, не забывайте меня.

Я умираю невиновным, меня лишают жизни по несправедливому приговору.

Прощай, Ашиль, прощай, Легация, прощай, Люсьен, прощай, Луиза.

Будьте достойны меня, я оставляю вас на земле, в королевстве, где полно моих врагов; не обращайте внимания на всяческие обиды и, вспоминая, кем вы были, никогда не считайте себя выше, чем вы есть.

Прощайте, я благословляю вас. Никогда не проклинайте память обо мне. Запомните, что в моей казни горше всего то, что я умираю вдали от жены, вдали от детей и рядом со мною нет друга, который закрыл бы мне глаза.

Прощай, Каролина, прощайте, дети мои, примите мое отцовское благословение, нежные слезы и последние поцелуи.

Прощайте, прощайте и не забывайте своего несчастного отца.

---

[56] Автор ручается за его достоверность, так как собственноручно списал в Пиццо текст письма с копии, снятой с оригинала, который хранится у кавалера Алькала. *(Примеч. автора.)*

Пиццо, 13 октября 1815 года.

Иоахим Мюрат».

Кончив писать, Мюрат отрезал у себя прядь волос и вложил в письмо. В этот миг вошел генерал Нунцианте; Мюрат приблизился к нему, протянул письмо и проговорил:

– Генерал, вы – отец и муж; когда-нибудь и вы узнаете, что значит расставаться с женой и детьми. Поклянитесь, что это письмо будет передано.

– Клянусь эполетами, – утирая глаза, прошептал генерал.

– Ну-ну, генерал, смелее, – проговорил Мюрат, – ведь мы с вами солдаты и знаем, что такое смерть. Прошу вас только об одной услуге: позвольте расстрелом командовать мне, договорились?

Генерал кивнул в знак того, что эта последняя милость будет Мюрату оказана. В этот миг вошел докладчик по делу с приговором в руках. Мюрат догадался об этом по поведению офицера.

– Читайте, сударь, – предложил он, – я вас слушаю.

Офицер стал читать. Мюрат не ошибся: за смертную казнь проголосовали все, кроме одного.

Когда приговор был прочитан, король повернулся к Нунцианте.

– Генерал, – сказал он, – поверьте, я отделяю орудие, наносящее мне удар, от руки, которая им управляет. Никогда бы не поверил, что Фердинанд расстреляет меня, как пса, что он не остановится даже перед таким бесчестьем! Ну доволь-

но, не будем больше об этом. Я отвел судей, но не палачей. На который час назначена казнь?

– Назначьте его сами, государь, – отозвался генерал.

Мюрат извлек из кармашка часы с портретом жены на крышке и случайно поднес к глазам не циферблат, а портрет. Нежно посмотрев на изображение, он заметил, демонстрируя его Нунцианте:

– Взгляните, генерал, это портрет королевы. Вы ее знаете – правда, похожа?

Генерал отвернулся. Мюрат вздохнул и положил часы обратно в карман.

– Но, ваше величество, какой все же час вы назначили? – осведомился докладчик.

– Ах да, – улыбнувшись, проговорил Мюрат, – я загляделся на портрет Каролины и совершенно забыл, зачем достал часы. – Снова бросив взгляд, на сей раз уже на циферблат, он добавил: – Ну что ж, если угодно, пусть будет в четыре. Сейчас уже начало четвертого, таким образом, я прошу у вас пятьдесят минут. Это не слишком много?

Докладчик поклонился и вышел; генерал направился за ним.

– Мы больше не увидимся, Нунцианте? – спросил Мюрат.

– Согласно приказу я должен присутствовать при вашей казни, ваше величество, но у меня нет сил.

– Ладно, генерал, ладно, я готов избавить вас от этого, но мне бы хотелось еще раз проститься и обнять вас.

– Я встречу вас по пути, ваше величество.

– Благодарю. А теперь оставьте меня.

– Ваше величество, там ждут двое священников. – Мюрат раздраженно скривился, но генерал продолжил: – Изволите их принять?

– Хорошо, пусть войдут.

Генерал ушел. Минуту спустя на пороге появились два священника: дон Франческо Пеллегрино, дядя человека, участвовавшего в аресте короля, и дон Антонио Маздеа.

– Зачем вы явились сюда? – осведомился Мюрат.

– Спросить вас, не хотите ли вы умереть по-христиански.

– Я умру по-солдатски. Уходите.

Дон Франческо Пеллегрино удалился. Ему было неловко перед Мюратом. Но Антонио Маздеа остался на пороге.

– Разве вы не слышали, что я сказал? – спросил король.

– Слышал, – ответствовал старик, – но позвольте, ваше величество, не поверить, что это ваше последнее слово. Я вас вижу и разговариваю с вами не в первый раз, у меня уже был случай молить вас о милости.

– Что еще за милость?

– Когда ваше величество были в восемьсот десятом году в Пиццо, я попросил у вас двадцать пять тысяч франков на достройку новой церкви, а вы послали мне сорок.

– Должно быть, я предвидел, что буду здесь похоронен, – с улыбкой заметил Мюрат.

– Ваше величество, я хотел бы надеяться, что вы не отка-

жете мне и сейчас, как не отказали тогда. Ваше величество, умоляю вас на коленях!

Старик упал к ногам Мюрата.

– Умрите как христианин!

– Неужто это доставит вам удовольствие? – спросил король.

– Ваше величество, я готов пожертвовать то небольшое число дней, которые мне осталось прожить, ради того, чтобы дух Господень в ваш смертный час снизошел на вас.

– Коли так, – проговорил Мюрат, – примите мою исповедь. Я сознаюсь в том, что, будучи ребенком, не слушался родителей, но с тех пор, как стал мужчиной, мне упрекнуть себя не в чем.

– Ваше величество, не могли бы вы заверить письменно, что умираете как христианин?

– Разумеется, – согласился Мюрат, взял перо и написал:

> *«Я, Иоахим Мюрат, умираю как христианин, почитающий святую католическую апостольскую римскую церковь».*

Внизу король подписался.

– А теперь, отец мой, – сказал он, – если вы хотите попросить меня о третьей милости, то поспешите: еще полчаса, и будет поздно.

Часы на башне замка пробили половину четвертого. Священник покачал головой в знак того, что больше ему ничего не нужно.

– Тогда оставьте меня, – велел Мюрат.

Старик ушел.

Несколько минут Мюрат широкими шагами мерил комнату, потом сел на кровать и уронил голову на руки. В течение четверти часа, что он сидел, погруженный в думы, перед ним прошла вся его жизнь – начиная с трактира, из которого он вышел[57], и кончая дворцом, в который попал; он вспомнил всю свою головокружительную карьеру, похожую на золотой сон, на ослепительный вымысел, на сказку «Тысячи и одной ночи». Она сияла, словно радуга в бурю, и концы ее, словно у радуги, терялись в облаках рождения и смерти. Наконец Мюрат стряхнул с себя задумчивость и поднял бледное, но спокойное лицо. Подойдя к зеркалу, он принялся приводить в порядок волосы: этот необыкновенный король до конца остался верен себе. Обрученный со смертью, он прихорашивался ради нее.

Пробило четыре.

Дверь Мюрат отворил сам.

За нею ждал генерал Нунцианте.

– Благодарю вас, генерал, – проговорил Мюрат, – вы сдержали слово. А теперь обнимите меня и ступайте, если хотите.

Со слезами на глазах, не в силах вымолвить ни слова, генерал бросился в объятия короля.

– Ну, генерал, крепитесь, вы же видите: я совершенно спокоен, – ободрил его Мюрат.

---

[57] Мюрат был сыном трактирщика.

Именно это спокойствие и выбило генерала из колеи. Он бросился по коридору и выскочил, как безумный, из замка.

Король направился во двор, где все уже было готово для казни. Девять солдат и капрал стояли, выстроившись в шеренгу у двери в помещение суда, напротив стены в двенадцать футов высотой. В трех шагах от нее находилось небольшое возвышение; Мюрат влез на него и оказался на фут выше, чем солдаты. Затем он достал часы, поцеловал портрет жены и, не отрывая от него взгляда, скомандовал: «Заряжай!» По команде «Огонь!» выстрелили только пять из девяти солдат, но Мюрат остался стоять. Солдаты, не желая стрелять в своего короля, целились поверх головы.

Наверное, в эту минуту с особой силой проявилось главное достоинство Мюрата – его львиная отвага: на лице у короля не дрогнул ни единый мускул, ни одна мышца тела не отказала; он лишь с горькой признательностью взглянул на солдат и проговорил:

– Благодарю вас, друзья мои, но, поскольку рано или поздно вам придется взять верный прицел, лучше не продлевайте моих мучений. Прошу у вас одного: цельтесь не в голову, а в сердце. Начнем сначала.

Тем же спокойным голосом, нимало не изменившись в лице, Мюрат повторил роковые слова – не медленно, не быстро, словно командовал незамысловатым ружейным приемом, но на сей раз ему повезло больше: после слова «Огонь!» он упал, пронзенный восемью пулями, даже не вздохнул и

остался лежать, сжимая в левой руке часы[58].

Солдаты подняли мертвого короля и уложили его на постель, на которой еще десять минут назад он сидел, живой и невредимый; у двери капитан поставил часового.

Вечером появился какой-то человек, потребовавший пустить его в комнату, где лежал покойник, но часовой отказался, и тогда этот человек заявил, что желает говорить с комендантом замка. У коменданта он предъявил приказ. Комендант прочел бумагу со смесью удивления и омерзения, после чего довел незнакомца до двери камеры Мюрата.

– Пропустите синьора Луиджи, – велел он часовому. Часовой сделал на караул, а Луиджи вошел.

Минут десять спустя Луиджи появился на пороге, держа в руках окровавленный платок, в который было что-то завернуто, но что – часовой так и не понял.

Через час столяр принес гроб, в котором должны были хоронить короля. Он вошел в комнату, но тут же позвал часового: в его голосе звучал явный испуг. Солдат приоткрыл дверь, чтобы посмотреть, чего так испугался столяр. Тот указал ему пальцем на обезглавленный труп.

По смерти Фердинанда в потайном шкафу, помещавшемся в его спальне, была найдена заспиртованная голова Мюрата[59].

---

[58] Г-жа Мюрат выкупила эти часы за 200 луидоров. *(Примеч. автора.)*

[59] Не веря в бессмысленную жестокость, я спросил у генерала Т., зачем это было сделано. Он ответил, что, поскольку Мюрата осудили и расстреляли в за-

Спустя неделю после казни в Пиццо каждый получил причитающуюся ему награду: Трента Капелли произвели в полковники, генералу Нунцианте пожаловали титул маркиза, а Луиджи был отравлен.

бытом Богом уголке Калабрии, король Неаполитанский опасался, что какой-нибудь авантюрист может объявить себя Иоахимом, и тогда для его разоблачения достаточно будет показать ему голову истинного Мюрата. *(Примеч. автора.)*

Иоанна Неаполитанская (1343–1382)

В ночь с 15 на 16 января 1343 года мирно почивавшие жители Неаполя были внезапно разбужены колоколами всех трехсот церквей этого благословенного столичного города. Первое, что со страхом подумал каждый после столь нежданного пробуждения: либо город с четырех концов охвачен огнем, либо вражеская армия, таинственным образом высадившаяся под покровом ночи на берег, собирается беспощадно перерезать всех горожан. Однако по заунывному прерывистому звону со всех городских колоколен, что перемежался лишь редкими равными паузами, звону, призывавшему верующих помолиться за тех, кто при смерти, все вскоре поняли, что городу никакая беда не угрожает, в опасности только король.

Действительно, уже много дней было заметно, что в королевском замке Кастельнуово царит сильное беспокойство: дважды в день созывались королевские сановники, а вельможи, имевшие право беспрепятственного входа в монаршие покои, выходили оттуда весьма удрученные и печальные. И хотя смерть короля воспринималась как неизбежное несчастье, тем не менее, когда стало ясно, что пришел его последний час, весь город испытывал искреннее горе, которое легко

станет понятно, если мы поясним: после тридцати трех лет восьми месяцев и нескольких дней царствования умирал Роберт Анжуйский[60], самый справедливый, мудрый и прославленный король из всех, кто когда-либо занимал трон Сицилии. Он сходил в могилу, провожаемый сожалениями и восхвалениями всех своих подданных.

Воины с восторгом рассказывали о долгих войнах, которые он вел с Федерико и Педро Арагонским, с Генрихом VII и Людовиком Баварским[61], и сердца их начинали сильней биться при воспоминаниях о славных походах в Ломбардию и Тоскану; священнослужители с благодарностью превозносили его за то, что он неизменно защищал пап от гибеллинов[62] и основывал по всему королевству монастыри, больницы, церкви; ученые считали его самым образованным королем христианского мира: сам Петрарка пожелал принять по-

---

[60] *Роберт* (1265–1343) – с 1309 г. неаполитанский король из Анжуйской династии, прозванный Мудрым.

[61] *Педро III Великий* (1239–1285) – король Арагона с 1276 г., поддержал восстание сицилийцев в 1282 г. против Анжуйской династии, после чего на сицилийский трон была призвана Арагонская династия; *Федерико I Арагонский* – с 1291 г. правитель, с 1296 по 1337 г. король Сицилии, после многолетней войны в 1302 г. добился признания окончательного отпадения Сицилии от Анжуйского дома; *Генрих VII* (ок. 1275–1313) – с 1308 г. германский король и император Священной Римской империи, в 1310 г. вторгся в Италию, желая подчинить ее империи; *Людовик IV Баварский* (1287–1347) – германский король в 1314 г., император Священной Римской империи с 1328 г., в 1327 г. объявил себя королем Италии.

[62] *Гибеллины* – в средневековой Италии политическая партия сторонников императорской власти, противники партии гвельфов, защищавших власть пап.

этический венец только из его рук и три дня подряд отвечал на вопросы из всех отраслей человеческого знания, которые соблаговолил задавать ему король Роберт. Юристы восхищались мудростью законов, которыми он обогатил неаполитанский кодекс, и дали ему имя Соломона Средневековья; дворянство было довольно тем, что он уважает его привилегии; народ славил его великодушие, милосердие и набожность. Одним словом, служители церкви и воины, ученые и поэты, дворяне и простонародье со страхом думали о том, что власть перейдет в руки чужестранца и юной девушки, и вспоминали, как король Роберт, провожая гроб своего единственного сына Карла, у входа в церковь повернулся к баронам королевства и, рыдая, воскликнул: «В день сей корона упала с моей головы! Горе мне! Горе вам!»

И теперь, когда колокольный звон возвещал, что добрый король при смерти, у каждого в памяти всплыли эти пророческие слова; женщины исступленно молились, а мужчины со всех концов города устремились к королевской резиденции в надежде незамедлительно узнать самые верные новости, однако после недолгого ожидания, которым они воспользовались, чтобы обменяться соображениями насчет близящегося грустного события, им пришлось вернуться несолоно хлебавши, поскольку ничего из происходящего в лоне монаршей семьи не проникало наружу: замок был погружен в полную темноту, мост, как обычно, поднят, стража бодрствовала на постах.

Тем не менее, если читателям любопытно присутствовать при агонии внучатого племянника Людовика Святого и внука Карла Анжуйского[63], мы можем провести их в комнату, где находился умирающий. Свисающая с потолка лампа из алебастра освещала этот большой, мрачный покой, стены которого были обтянуты черным бархатом, затканным золотыми лилиями. Вели в этот покой две двери, но сейчас они были закрыты; у противоположной стены на витых колонках с резными символическими фигурами возвышалось эбеновое ложе под парчовым балдахином. Король только что перенес жесточайший приступ и, обессиленный, поник на руки своего исповедника и врача, каждый из которых, завладев одной рукой умирающего, считал пульс, после чего они обменялись многозначительными взглядами. В ногах кровати, молитвенно сложив руки и возведя глаза к небу, стояла со скорбным и смиренным видом женщина лет пятидесяти. То была королева. В глазах у нее не было слез, а желто-восковой оттенок впалых щек наводил на мысль о мощах святых, чудом избегнувших тления. Внешность ее являла собой тот контраст умиротворенности и страдания, что свидетельствует о душе, перенесшей несчастье и нашедшей утешение в религии. Через час, в течение которого ничто не нарушало полную тишину, царящую у смертного одра, король чуть

[63] *Людовик IX Святой* (1214–1270) – французский король с 1226 г., возглавил VII (1248 г.) и VIII (1270 г.) Крестовые походы; *Карл I Анжуйский* (1226–1285) – брат Людовика Святого, в 1268 г. получил от папы Урбана VI Неаполитанское и Сицилийское королевства, основатель Анжуйской династии.

шевельнулся, открыл глаза и попытался приподнять голову. Затем, поблагодарив улыбкой врача и священника, которые тотчас же принялись поправлять ему подушки, он попросил королеву подойти ближе и сказал, что хочет несколько минут поговорить с нею без свидетелей. Врач и духовник тут же удалились с глубоким поклоном, и король следил взглядом, как они уходят, пока за ними не затворилась одна из дверей. Он провел рукой по лбу, как бы прогоняя какую-то неотвязную мысль, и, собрав все силы, заговорил:

– То, что я вам скажу, государыня, ни в коей мере не касается этих двух достойных людей, которые только что были здесь, ибо их труд завершен. Один из них сделал для моего тела все, что могла ему подсказать наука, добившись лишь продления агонии, а второй дал моей душе отпущение всех грехов, посулив божественное прощение, однако не сумел отогнать ужасные видения, что встают предо мной в этот страшный час. Дважды подряд вы видели, как я вырывался из сверхчеловеческих объятий. Чело мое покрывалось потом, члены утрачивали гибкость, я кричал, но мои крики заглушала некая железная рука. Может, то был злой дух, которому Господь дозволил мучить меня? А может, угрызения совести, принявшие облик призрака? Но как бы то ни было, эти два сражения настолько ослабили мои силы, что третьего приступа я уже не перенесу. Так что выслушайте меня, моя Санча, я хочу дать вам несколько советов, от которых, быть может, зависит покой моей души.

– Мой государь и повелитель, – кротким голосом отвечала королева, – я готова выслушать ваши повеления, а если Господь Бог в непостижимой мудрости своей решил призвать вас к себе, а нас погрузить в скорбь, знайте, ваша последняя воля самым точным образом будет выполнена на земле. Но позвольте мне, – заботливо и боязливо произнесла она, – окропить эту комнату святой водой, дабы изгнать из нее злого духа, и прочитать отрывок из тропаря, который вы написали в честь вашего святого брата, и молить его о заступничестве, ибо оно нам сейчас так необходимо.

Раскрыв молитвенник в богатом окладе, она с пылкой набожностью прочла несколько стихов тропаря, который Роберт написал на чрезвычайно изящной латыни для своего брата Людовика, Тулузского епископа, тропаря, который пели в церкви вплоть до Тридентского собора[64].

Убаюканный гармонией молитвы, сочиненной им самим, король почти позабыл о предмете разговора, о котором он просил с такой настойчивостью и торжественностью, и, исполненный смутной грусти, глухо пробормотал:

– Да, да, вы правы: молитесь за меня. Ведь вы – святая, а я – всего лишь несчастный грешник.

– Не говорите так, государь, – прервала его донья Санча. – Вы – самый великий, мудрый и справедливый король

---

[64] *Тридентский собор* – Вселенский собор католической церкви, происходивший в 1545–1563 гг. в Тренто (*лат.* Тридент), на котором, в частности, были проведены некоторые реформы в католической литургии.

из всех, кто когда-либо всходил на неаполитанский престол.

– Но престол узурпирован, – возразил Роберт, – вы же знаете, королевство должно было принадлежать Карлу Мартеллу[65], моему старшему брату, а поскольку Карл занимал трон Венгрии, который он унаследовал через свою мать, Неаполитанское королевство по праву должно было перейти к его старшему сыну Кароберту[66], а не ко мне: я ведь был третьим в роду. Да, я страдал, оттого что меня короновали вместо племянника, который был единственным законным королем, я заменил старшую ветвь на младшую и тридцать три года подавлял угрызения совести. Действительно, я выигрывал битвы, издавал законы, строил церкви, но одно слово зачеркивает все пышные титулы, которыми народная любовь окружила мое имя, и это слово звучит в моей душе стократ громче, чем все льстивые слова придворных, песни поэтов и народные рукоплескания. Это слово – узурпатор!

– Не будьте столь несправедливы к себе, государь, и вспомните, что если вы не отреклись в пользу законного наследника, то лишь потому, что желали избавить народ от величайших несчастий. К тому же, – продолжала королева с глубокой убежденностью, которую дает неопровержимый аргумент, – вы сохранили за собой королевство с одобрения

---

[65] *Карл Мартелл* – старший брат Роберта Анжуйского, в 1290 г. был избран королем Венгрии, но так и не смог до самой смерти в 1295 г. получить престол, захваченный Андреем III, последним представителем династии Арпадов.

[66] *Кароберт (Карл Роберт)* (1288–1342) – сын Карла Мартелла, с 1308 г. венгерский король, основатель Анжуйской династии в Венгрии.

и соизволения его святейшества папы, который распоряжается им как леном, принадлежащим церкви.

– Я долго прятался за этой отговоркой, – отвечал умирающий, – и власть папы вынуждала мою совесть молчать, но, как ни притворяйся спокойным, наступает страшный и торжественный час, когда все иллюзии развеиваются. Этот час настал для меня: я скоро предстану перед Господом, единственным непогрешимым судией.

– Да, правосудие его непогрешимо, но разве милосердие его не безгранично? – воскликнула королева в порыве святого вдохновения. – Но даже если бы страх, что терзает вас ныне, имел основания, неужели столь благородное раскаяние не искупило бы любой грех? И к тому же разве вы не искупили вину перед вашим племянником Каробертом, призвав в Неаполь Андрея, его младшего сына, и выдав за него Иоанну, старшую дочь вашего Карла? Разве не они станут наследниками вашего престола?

– Увы, – сокрушенно вздохнул Роберт, – возможно, Бог карает меня за то, что я слишком поздно додумался до этого справедливого возмещения. О моя добрая и благородная Санча, сейчас вы затронули струну, что скорбно дрожит у меня в душе, и опередили печальное признание, которое я намеревался вам сделать. У меня мрачное предчувствие, а предчувствия, которые внушает нам смерть, всегда пророческие. Я предчувствую, что оба сына моего племянника –

Людовик[67], ставший королем Венгрии после смерти своего отца, и Андрей, которого я хотел сделать королем Неаполя, – станут причиной страшных бедствий для моего дома. С того дня, как Андрей вступил в наш замок, некий странный рок ожесточенно рушит все мои планы. Я решил, чтобы Иоанна и Андрей воспитывались вместе, в надежде, что между детьми установится душевная близость, что красота нашего неба, любезность наших нравов, пленительная картина нашего двора в конце концов смягчат все грубое, резкое в характере юного венгра, но, несмотря на мои усилия, все способствовало возникновению между супругами отвращения и холодности. Иоанна гораздо старше своего возраста, своих неполных пятнадцати лет. Одаренная блестящим и энергичным умом, благородным и возвышенным характером, живым и пылким воображением, то дерзкая и игривая, как дитя, то внушающая трепет и надменная, как королева, доверчивая и простодушная, как юная девушка, страстная и мягкосердечная, как женщина, она являет собой разительную противоположность Андрею, который, пробыв десять лет при нашем дворе, стал еще более нелюдимым, угрюмым, строптивым. Его правильные и холодные черты, бесстрастное лицо, отвращение ко всем развлечениям, которые более всего по сердцу его жене, воздвигли между ним и Иоанной стену равнодушия и неприязни. На самые нежные излияния

---

[67] *Людовик (Лайош) I Великий* (1326–1382) – сын Кароберта, с 1342 г. король Венгрии.

чувств он отвечает либо холодным, небрежно брошенным словом, либо презрительной улыбкой, либо хмурой миной, и счастливым выглядит только тогда, когда под предлогом выезда на охоту может покинуть двор. Вот каковы, государыня, юные супруги, на головы которых будет возложена моя корона и которые очень скоро окажутся игралищами страстей, что глухо бурлят под обманчиво спокойной внешностью и только ждут, когда я испущу последний вздох, чтобы вырваться наружу.

– Боже мой! Боже мой! – горестно повторяла королева, опустив руки вдоль тела, подобно надгробным изваяниям, олицетворяющим скорбь.

– Выслушайте меня, донья Санча. Я знаю, ваше сердце всегда отвергало мирскую тщету, и вы ждете, когда Господь призовет меня к себе, чтобы удалиться в монастырь Санта-Мария-делла-Кроче, который вы основали в надежде закончить там свои дни. Нет, не подумайте, что в этот час, когда я готовлюсь сойти в могилу, убежденный в ничтожности всякого земного величия, я стану отвращать вас от вашего святого призвания. Обещайте мне только, что, прежде чем дать обет Господу, вы год будете носить вдовий наряд и в течение этого года будете оберегать Иоанну и ее супруга, отводя от них опасности, которые им грозят. Вдова великого сенешаля и ее сын приобрели уже слишком большое влияние на нашу внучку; будьте же, государыня, настороже и среди всех партий, интриг и соблазнов, которые окружат юную

королеву, будьте особо недоверчивы к ласковости Бертрана д'Артуа, красоте Людовика Тарантского и честолюбию Карла, герцога Дураццо.

Обессиленный столь долгой речью, король умолк, потом, обратив к королеве молящий взгляд, протянул к ней исхудалую руку и чуть слышно произнес:

– Заклинаю вас, не покидайте двор, прежде чем не пройдет год. Вы обещаете мне это, государыня?

– Обещаю, ваше величество.

– А теперь, – промолвил король, чье лицо просияло после обещания королевы, – позовите духовника и врача и соберите всю семью. Час близится, и скоро у меня уже не будет сил высказать последнюю волю.

Через несколько секунд в комнату вошли священник и доктор, лица их были залиты слезами. Король сердечно поблагодарил их за великие заботы, которые они проявляли во время его предсмертной болезни, и попросил помочь ему облачиться в грубое одеяние монахов-францисканцев, чтобы, как сказал он, Господь, увидев, что он умер в нищете, смирении и раскаянии, скорей и с большей охотой удостоил его прощения. Исповедник и врач обули босые ноги короля в сандалии, какие носят нищенствующие братья, надели рясу св. Франциска[68] и перепоясали веревкой. Лежащий на ложе неаполитанский король со скрещенными на груди руками,

---

[68] *Св. Франциск Ассизский* (1182–1226) – итальянский проповедник, основатель первого ордена нищенствующих монахов, названного францисканским.

длинной седой бородой и редкими волосами вокруг темени был поразительно похож на старого отшельника, вся жизнь которого прошла в умерщвлении плоти, а душа, захваченная небесными видениями, постепенно переходит в последнем экстазе к вечному блаженству. Некоторое время он лежал с закрытыми глазами, обращаясь к Богу с немой мольбой, затем приказал осветить комнату, как в дни больших торжеств, и дал знак врачу и исповеднику, один из которых стоял в изножье, а второй у изголовья кровати. В тот же миг широко распахнулись двери, и в покой вступила вся королевская семья, возглавляемая королевой и сопровождаемая самыми могущественными баронами королевства; все они встали вокруг ложа короля, дабы выслушать его последнюю волю.

Королевский взор обратился к Иоанне, стоящей первой по правую руку, и взор этот был полон неизъяснимой нежности и скорби. Она была наделена столь редкостной и столь чудесной красотой, что король, ослепленный ею, принял внучку за ангела, которого ему ниспослал Бог, желая утешить его в смертный час. Великолепная линия прекрасного профиля, огромные черные влажные глаза, чистый высокий лоб, волосы цвета воронова крыла, нежный рот; одним словом, ее восхитительное лицо оставляло в сердце всякого, кто ее видел, ласковое и грустное ощущение, глубоко и надолго врезавшееся в память. Она была высока и стройна, без чрезмерной тонкости, присущей юным девушкам, и сохранила гибкость и беспечность в движениях, благодаря чему

стан ее при ходьбе чуть покачивался, подобно стеблю цветка, колеблемого легким ветерком. Но под беспечной и наивной прелестью в наследнице короля Роберта уже можно было угадать сильную волю, готовую бросить решительный вызов всем препятствиям, а темные круги, какими были обведены ее глаза, свидетельствовали, что душа ее уже опустошена рано проявившимися страстями.

Рядом с Иоанной стояла ее младшая сестра Мария, которой шел тринадцатый год, тоже дочь Карла, герцога Калабрийского, который умер, не увидев ее, и Марии де Валуа, покинувшей ее, когда та была еще в колыбели. Поразительно красивая и робкая, она, похоже, смущалась, оказавшись в собрании столь важных особ, и ласково прижималась к вдове великого сенешаля Филиппе по прозвищу Катанийка, воспитательнице принцесс, которую они чтили, как мать. Позади принцесс, рядом с Филиппой стоял ее сын Роберт Кабанский, красивый, стройный, высокомерный молодой человек; левой рукой он поглаживал усики и украдкой бросал время от времени на Иоанну дерзостные взгляды. Замыкали группу молоденькая статс-дама принцесс донна Конча и граф Терлицци, который обменивался с нею то быстрым взглядом, то непонятной улыбкой.

Вторую группу составляли Андрей, супруг Иоанны, и монах брат Роберт, воспитатель молодого принца, сопровождавший его из Буды и не покидавший ни на минуту. В ту пору Андрею было лет восемнадцать; по первому впечат-

лению его лицо, обрамленное прекрасными светлыми волосами, поражало благородством, красотой и исключительной правильностью черт, однако в сравнении с пылкостью и живостью окружающих итальянских лиц ему недоставало выразительности, взгляд его казался потухшим, а некая суровость и холодность свидетельствовали об угрюмом характере и чужеземном происхождении. Что же касается воспитателя, Петрарка озаботился оставить нам его портрет: багровое лицо, рыжие волосы и борода, короткое, кривобокое туловище, надменный в ничтожности, обильный мерзостью, он, подобно Диогену, кое-как скрывал под рясой свое уродливое, бесформенное тело.

В третьей группе стояла вдова Филиппа, принца Тарантского, брата короля, удостоенная при Неаполитанском дворе титула императрицы Константинопольской, каковой титул она унаследовала как внучка Бодуэна II[69]. Человек, привычный читать в темных глубинах людских душ, с первого же взгляда понял бы, сколько неумолимой ненависти, ядовитой зависти, ненасытного тщеславия скрывает мертвенная бледность этой дамы. Она была окружена тремя своими сыновьями, Робертом, Филиппом и Людовиком, самым младшим из троих. Если бы король захотел выбрать из своих племянников самого красивого, благородного, отважного, ни у

---

[69] *Бодуэн II* (1217–1273) – с 1228 по 1261 г. император Латинской империи, основанной участниками IV Крестового похода в Византии после взятия ими в 1204 г. Константинополя и рухнувшей в 1261 г.

кого не возникло бы сомнения, что венец получил бы Людовик Тарантский. В двадцать три года он превзошел в воинских упражнениях самых прославленных рыцарей; прямодушный, верный, мужественный, Людовик никогда не взялся бы за исполнение какого-нибудь плана, не будучи уверен в его осуществимости. Его чело излучало прозрачный свет, который у избранных натур является как бы победным ореолом; взгляд его мягких и бархатистых черных глаз проникал в самую душу, лишая способности к сопротивлению, а ласковая улыбка утешала побежденного в его поражении. С детства отмеченному особой печатью, ему достаточно было только пожелать: неведомая сила, добрая фея, стоявшая при его рождении у колыбели, тотчас же устраняла все препятствия и исполняла все его желания.

Почти рядом с ним в четвертой группе хмурил брови его двоюродный брат Карл, герцог Дураццо. Его мать Агнесса, вдова Иоанна, герцога Дураццо и Албании, второго брата короля, со страхом смотрела на него и инстинктивно прижимала к груди своих младших детей – Людовика, графа Гравины, и Роберта, князя Морей. Карл с бледным лицом, короткими волосами и густой бородой подозрительно поглядывал то на своего умирающего дядю, то на Иоанну и Марию, то на своих кузенов; он, казалось, был настолько возбужден сумбурными мыслями, что не мог стоять на месте. Его тревожность и волнение составляли особо разительный контраст со спокойным и безмятежным лицом Бертрана д'Артуа, который,

пропустив вперед своего отца Карла, приблизился к королеве, стоящей в изножье кровати, и благодаря этому оказался напротив Иоанны. Молодой человек был так захвачен красотой принцессы, что, похоже, никого больше и не видел.

Как только Иоанна и Андрей, герцоги Тарантский и Дураццо, графы д'Артуа и королева Санча встали полукругом в описанном нами порядке возле смертного одра, из рядов баронов, теснящихся в соответствии со своим рангом позади принцев крови, вышел вице-канцлер королевства, поклонился королю, развернул пергамент, скрепленный королевской печатью, и в полнейшей тишине торжественным голосом начал читать:

– «Роберт, Божьей милостью король Сицилии и Иерусалима, граф Прованса, Форкалькье и Пьемонта, викарий Святой Римской церкви, называет и объявляет своей полной наследницей в Королевстве Сицилия по ту и эту сторону Мессинского пролива, а равно и в графствах Прованс, Форкалькье и Пьемонт и во всех других своих землях Иоанну, герцогиню Калабрийскую, старшую дочь блаженной памяти светлейшего сеньора Карла, герцога Калабрийского.

Равно он называет и объявляет сиятельную девицу Марию, младшую дочь покойного сеньора герцога Калабрийского, своей наследницей в графстве Альба и в сеньориальном владении в долине Грати и на земле Джордано со всеми замками и угодьями, находящимися в них, и повелевает, чтобы

названная девица получила их как ленное владение от вышеупомянутой герцогини и ее наследников, при том, однако, условии, что ежели госпожа герцогиня дает и выплачивает своей сиятельной сестре либо ее правонаследникам в качестве возмещения сумму в десять тысяч унций золота, вышеназванные графство и сеньориальное владение остаются госпоже герцогине и ее наследникам.

Равно он желает и повелевает в соответствии с тайными причинами, кои вынуждают его так действовать, чтобы названная девица Мария заключила брак со светлейшим государем Людовиком, нынешним королем Венгрии. Ежели возникнет какое-либо препятствие сему браку, поскольку, говорят, заключен и подписан договор о браке короля Венгрии с дочерью короля Богемии, наш государь король повелевает, чтобы сиятельная девица Мария заключила брак со старшим сыном его высочества дона Иоанна, герцога Нормандского, старшего сына нынешнего короля Франции».

Тут герцог Дураццо бросил на Марию весьма красноречивый взгляд, ускользнувший от внимания присутствующих, так как все они сосредоточенно слушали завещание короля Роберта. Ну а что касается юной принцессы, то она, как только услышала свое имя, залилась краской и, скованная и смущенная, не осмеливалась даже поднять глаз. Вице-канцлер продолжал:

– *«Равно он пожелал и повелел, чтобы всегда*

и навечно герцогства Форкалькье и Прованс были соединены с его королевством под общей властью, составляя единое нераздельное владение, сколько бы ни было сыновей или дочерей и какие бы иные причины для раздела ни возникали, ибо такое единство диктуется высшими интересами безопасности и взаимного процветания королевства и вышеназванных графств.

Равно он постановил и повелел, что в случае, ежели герцогиня Иоанна скончается, от чего избави нас Боже, не оставив после себя законных детей, сиятельный сеньор Андрей, герцог Калабрийский, ее супруг, получит Салернское княжество с титулом, доходами, рентами и всеми правами, а также ренту в две тысячи унций золота на содержание.

Равно он постановил и повелел, что в особенности королева, а также преподобный отец дон Филипп де Кабассоль, епископ Кавайонский, вице-канцлер Королевства Сицилия, и достославные сеньоры Филипп де Сангинетто, сенешаль Прованса, Годфруа де Марсан, граф Скиллаче, адмирал королевства, и Карл д'Артуа, граф Эрский, станут и должны быть наставниками, регентами и управителями вышеназванного сеньора Андрея и вышеназванных дам Иоанны и Марии до той поры, пока господин герцог, госпожа герцогиня и сиятельнейшая девица Мария не достигнут двадцатипятилетия и проч. и проч.».

Когда вице-канцлер закончил чтение, король приподнял-

ся, сел, обвел взглядом все свое многочисленное семейство и молвил:

– Дети мои, вы только что выслушали мою последнюю волю. Я созвал всех вас к своему смертному ложу, чтобы вы могли воочию увидеть, как проходит слава мира сего. Те, кого народ называет земными владыками, при жизни должны исполнять великие обязанности, а после смерти дать великий отчет, и в этом-то заключается их величие. Я царствовал тридцать три года. Господь, перед которым я вот-вот предстану и к которому я обращал вздохи на протяжении всего своего долгого и трудного жизненного пути, один ведает, какие мысли рвут мне душу в мой смертный час. Скоро я успокоюсь в могиле и останусь жить лишь в памяти тех, кто будет молиться за меня. Но прежде чем я навсегда покину вас, мои дважды дочери, которых я любил удвоенной любовью, вас, мои племянники, к которым я был заботлив и ласков, как отец, пообещайте мне всегда быть едиными душой и помыслами, как вы едины в сердце моем. Я пережил ваших отцов, хоть и был самым старшим из всех, и, несомненно, Господь постановил так, дабы укрепить узы ваших чувств, приучить вас жить единой семьей и почитать одного главу. Я равно всех вас люблю, никого не исключая и никому не делая предпочтения. Я распорядился троном, следуя закону природы и внушениям своей совести. Вот наследники неаполитанской короны. Вы, Иоанна, и вы, Андрей, никогда не забывайте об уважении и любви, что должны питать друг к другу супру-

ги, в чем вы оба клялись перед алтарем, а вы, мои племянники, мои бароны, мои сановники, оказывайте покорность вашим законным государям. Андрей Венгерский, Людовик Тарантский, Карл Дураццо, помните, что вы братья, и горе тому, кто совершит каинов грех! Да падет кровь на его голову, да будет он проклят небом так же, как проклинают его уста умирающего, и да низойдет в миг, когда милосердный Господь примет мою душу, на людей доброй воли благословение Отца, Сына и Святого Духа.

Произнеся это, король остался недвижим, воздев руки и возведя взор к небу; щеки его необычайно порозовели, а в это время принцы, бароны и придворные сановники приносили Иоанне и ее супругу клятву верности и покорности. Когда настал черед герцога Дураццо, Карл презрительно прошел мимо Андрея, преклонил колено перед Иоанной и, поцеловав ей руку, громко произнес:

– Только вам, моя королева, я приношу свою покорность.

Все глаза в страхе обратились к умирающему, но добрый король уже ничего не слышал. Видя, что он поник и не двигается, донья Санча разразилась рыданиями и воскликнула прерывающимся от слез голосом:

– Король умер, помолимся за его душу!

Но в ту же секунду все принцы ринулись прочь из комнаты, и страсти, которые до сих пор сдерживало присутствие короля, разом вырвались наружу, словно поток, прорвавший плотину.

– Да здравствует Иоанна! – первыми закричали Роберт Кабанский, Людовик Тарантский и Бертран д'Артуа, меж тем как воспитатель принца в ярости прошел через толпу и сделал громогласный выговор членам регентского совета:

– Господа, вы уже забыли про волю короля! Следует также возглашать: «Да здравствует Андрей!»

Он поднял такой шум, что к нему стеклись все бароны, и тогда, соединяя теорию с практикой, брат Роберт звучно прокричал:

– Да здравствует неаполитанский король!

Но клич этот никем не был поддержан, а Карл Дураццо, смерив доминиканца грозным взглядом, подошел к королеве, взял ее за руку и распахнул занавес балкона, с которого открывалась площадь и весь город. Везде, куда достигал взгляд, толпились люди, их заливали потоки света, и все они тянули головы к балкону замка Кастельнуово, стремясь не пропустить ни слова из того, что им сейчас объявят. И тогда Карл, почтительно отступив в сторону и указав на свою прекрасную кузину, крикнул:

– Народ Неаполя, король умер, да здравствует королева!

– Да здравствует Иоанна, королева Неаполитанская! – в едином порыве вскричал народ, и этот громовой крик отозвался во всех кварталах города.

События, которые со стремительностью сновидения произошли этой ночью, произвели на Иоанну столь глубокое впечатление, что, раздираемая тысячью противоположных

чувств, она удалилась в свои покои и дала выход печали. Пока вокруг гроба неаполитанского монарха бурлили самые разные страсти, юная королева, отказавшись принимать соболезнования от кого бы то ни было, горько оплакивала смерть деда, любившего ее так сильно, что порой его любовь доходила до попустительства. Короля торжественно погребли в церкви Санта-Кьяра, которую он сам основал и посвятил Святому причастию, велев обильно изукрасить ее великолепными фресками Джотто[70] и многими драгоценными реликвиями; из них до наших дней сохранились стоящие позади главного алтаря две колонны белого мрамора, похищенные из храма Соломонова. Еще и сейчас в этой церкви можно видеть изображения короля Роберта – одно в королевском одеянии, другое в монашеской рясе, – стоящие на его гробнице справа от изваяния его сына Карла, герцога Калабрийского.

Сразу же после похорон воспитатель Андрея поспешил собрать самых важных венгерских вельмож и на этом совете, проходившем с одобрения и в присутствии принца, настоял на принятии следующего решения: отправить письма с сообщением о завещании короля Роберта матери Андрея Елизавете Польской и его брату Людовику Венгерскому, а

---

[70] *Джотто ди Бондоне* (1266/67—1337) – великий итальянский живописец Раннего Ренессанса, в 1328 г. был приглашен королем Робертом работать в Неаполе.

также отослать папской курии в Авиньон[71] жалобы на поведение принцев и неаполитанского народа, провозгласивших, презрев права ее супруга, одну лишь Иоанну королевой Неаполя, и испросить для него коронационную буллу. Брат Роберт, который соединял глубокое знание придворных интриг с опытом ученого и коварством монаха, намекнул своему воспитаннику, что необходимо воспользоваться подавленностью, в какую, похоже, повергла Иоанну смерть короля, и не дать ее фаворитам времени обольстить ее и опутать своими советами.

Но чем острей и глубже была скорбь Иоанны, тем скорей она утешалась; рыдания, которые, казалось, надрывают ей грудь, утихали, на смену мрачным мыслям приходили куда более приятные, слезы высыхали, и влажные глаза озарялись улыбкой, подобной лучу солнца после грозового ливня. Эту перемену старательно подстерегали, нетерпеливо ждали, и первой заметила, что она произошла, юная статс-дама Иоанны; она проскользнула в комнату королевы и, пав на колени, ласковым голосом в самых нежных словах принесла поздравления своей прекрасной повелительнице. Иоанна раскрыла объятия и прижала ее к сердцу; донна Конча была куда больше, чем просто статс-дама, она была подругой детства королевы, хранительницей ее тайн и поверенной са-

---

[71] В 1309 г. по требованию французского короля Филиппа IV резиденция папы была перенесена из Рима в г. Авиньон на юге Франции. Так называемое «авиньонское пленение» пап продолжалось до 1377 г.

мых сокровенных мыслей. Впрочем, достаточно было бросить взгляд на эту молодую девицу, чтобы понять, чем и как она очаровала королеву. У нее было веселое, открытое лицо из тех, что сразу внушают доверие и мгновенно покоряют душу. Светлые, цвета теплого золота волосы, прозрачные и чистые синие глаза, рот с лукаво поднятыми уголками губ, поразительного изящества подбородок придавали ее лицу неотразимую прелесть. Сумасбродная, игривая, ветреная, думающая только о наслаждениях, слушающая только речи о любви, восхитительно остроумная, поразительно коварная, донна Конча в шестнадцать лет была прекрасна, как ангел, и порочна, как демон. Весь двор обожал ее, а Иоанна любила ее куда сильней, чем сестру.

– Ах, дорогая Конча, – со вздохом произнесла королева, – неужели ты не видишь, как я печальна и несчастна?

– Зато я, о моя прекрасная повелительница, – отвечала наперсница, с обожанием глядя на Иоанну, – напротив, безмерно счастлива, что прежде всех могу принести к стопам вашего величества весть о том, что неаполитанский народ испытывает сейчас великую радость. Другие, возможно, позавидуют короне, что сверкает на вашем челе, трону, бесспорно, одному из самых прекрасных во вселенной, приветственным кликам целого города, которые более свидетельствуют о поклонении, чем об обычных верноподданнических чувствах, а вот я, ваше величество, завидую только вашим дивным черным волосам, вашим ослепительным

глазам, вашей сверхъестественной прелести, заставляющей всех мужчин быть вашими поклонниками.

– И тем не менее, моя Конча, я достойна сожаления и как королева, и как женщина: в пятнадцать лет корона – слишком тяжкая ноша, тем паче что я лишена свободы, которой обладает последний из моих подданных, свободы чувства. Ведь еще в неразумном младенческом возрасте я была принесена в жертву человеку, которого никогда не смогу полюбить.

– Однако, ваше величество, – весьма многозначительно произнесла наперсница, – при дворе есть кавалер, чья почтительность, преданность и любовь могли бы вас заставить забыть муки, которые причинил вам этот чужестранец, не достойный быть ни нашим королем, ни вашим супругом.

Королева испустила горестный вздох.

– С каких это пор, – спросила она, – ты утратила способность читать в моей душе? Неужели я должна признаться тебе, что эта любовь делает меня несчастной? Да, правда, поначалу это преступное чувство показалось мне весьма пылким, я ощутила, как моя душа возрождается для новой жизни, меня увлекли, обольстили клятвы, слезы, отчаяние этого молодого человека, снисходительность и потворство его матери, которая была как мать и для меня, и я полюбила его… О Боже, я еще так молода и уже познала такое разочарование! Порой мне приходят в голову чудовищные мысли, мне кажется, что он не любит меня и никогда не любил, что честолюбие,

корысть, недостойные побуждения заставили его изображать чувство, которого он никогда не испытывал, да и я сама ощущаю какой-то безотчетный холод; его присутствие стесняет меня, взгляд тревожит, голос вызывает дрожь, я боюсь его и отдала бы год своей молодой жизни, лишь бы никогда его не слышать.

Слова эти, похоже, до глубины души тронули юную наперсницу; на лице ее изобразилась печаль, она опустила глаза и некоторое время молчала, всем своим видом демонстрируя не столько удивление, сколько огорчение. Затем, подняв голову, с видимым смущением начала:

– Я никогда не осмелилась бы произнести столь суровое суждение о человеке, которого моя государыня вознесла над остальными, остановив на нем благосклонный взгляд, но если Роберт Кабанский и впрямь заслужил упрек в легкомыслии и неблагодарности, если он гнусно лгал, то он последний негодяй, ибо презрел счастье, о каком другие всю жизнь молили бы Бога, готовые заплатить за него спасением души. И все же я знаю некоего человека, который безутешно и безнадежно точит слезы ночью и днем, который страдает, пожираемый медленным жестоким недугом, но которого могло бы еще спасти одно-единственное слово сострадания, если только это слово будет произнесено моей благородной повелительницей.

– Я больше не желаю тебя слушать, – воскликнула Иоанна, резко вскочив, – больше не желаю приносить новые угрызе-

ния в свою жизнь! Меня постигло несчастье и в любви законной, и в любви преступной. Я не буду даже пытаться противиться своей горестной судьбе. Я – королева и обязана посвятить себя счастью подданных.

– Значит, вы, государыня, – спросила мягким, убаюкивающим голосом донна Конча, – запрещаете произносить в вашем присутствии имя Бертрана д'Артуа, этого несчастного молодого человека, прекрасного, как ангел, и робкого, как девица? Неужели теперь, когда вы стали королевой и держите в руках жизнь и смерть своих подданных, вы не проявите милосердия к несчастному, вся вина которого лишь в том, что он обожает вас и собирает все силы души, чтобы не умереть от счастья, всякий раз, когда вы останавливаете на нем взор?

– Ах, и мне приходится делать над собой усилие, чтобы отвести от него взгляд! – воскликнула королева с сердечным волнением, которое не сумела подавить, однако тут же, желая сгладить впечатление, какое это признание могло произвести на подругу, промолвила сурово: – Я запрещаю тебе произносить при мне эти имя и, чтобы он никогда не осмелился проронить жалобу, приказываю передать ему от меня, что в тот самый день, когда я смогу заподозрить причину его печали, он навсегда будет изгнан с моих глаз.

– В таком случае, государыня, и меня прогоните с глаз, так как у меня никогда не хватит сил выполнить столь жестокий приказ. А что касается несчастного, который не спосо-

бен пробудить в вашем сердце сострадание, то можете сами в гневе нанести ему удар, потому что он пришел выслушать от вас приговор и умереть у ваших ног.

При этих словах, произнесенных достаточно громко, чтобы их можно было услышать за дверью, Бертран д'Артуа вошел в спальню и упал на колени перед королевой. Наперсница уже давно заметила, что Роберт Кабанский по собственной вине утратил любовь Иоанны; его тирания стала для нее столь же несносна, как и тирания супруга. Донна Конча также обратила внимание, что взгляд ее госпожи со сладостной грустью задерживается на Бертране, печальном и мечтательном юноше, так что, решив вступиться за него, она была убеждена: королева уже любит его. Краска немедленно бросилась в лицо Иоанне, и гнев ее неминуемо обрушился бы на обоих ослушников, но в это время в соседнем зале раздались шаги, и голос вдовы великого сенешаля, что-то говорящей своему сыну, поразил, подобно удару грома, троих молодых людей. Донна Конча побледнела как мел, Бертран ничуть не сомневался, что он окончательно погиб, поскольку его присутствие здесь губило королеву, и тогда Иоанна с поразительным хладнокровием, не покидавшим ее в самые трудные моменты жизни, толкнула юношу за резную спинку кровати и укрыла в широких складках полога, после чего знаком велела донне Конче встретить Филиппу и ее сына.

Но прежде чем эти двое войдут в спальню королевы, нам следует рассказать, благодаря какому чудесному стечению

обстоятельств и с какой невероятной стремительностью семейство катанийки из самых низов простонародья поднялось в первые ряды придворной знати.

Когда донья Виоланта Арагонская, первая жена Роберта Анжуйского, родила Карла, будущего герцога Калабрийского, кормилицу для новорожденного стали искать среди самых красивых женщин из народа. Пересмотрели многих, в равной степени поразительно красивых, юных, свежих, и принцесса остановила выбор на молодой прачке, уроженке Катании по имени Филиппа, жене рыбака из Трапани. Стирая белье в ручье, эта женщина предавалась странным мечтам: она воображала, что ее представили ко двору, что она вышла замуж за вельможу и стала важной придворной дамой. Так что, когда ее призвали в Кастельнуово, радости ее не было предела, ей казалось, что мечта начинает осуществляться. Итак, Филиппа поселилась во дворце, а меньше чем через месяц после того, как начала кормить младенца, овдовела. В это время Раймонд Кабанский, мажордом короля Карла II, купил у корсаров негра, велел его окрестить, дал ему свое имя, дал свободу и, видя, что тот не лишен ни хитрости, ни ума, поставил его во главе дворцовой кухни, после чего отправился на войну. За время отсутствия покровителя оставшийся при дворе негр так ловко повел свои дела, что очень скоро сумел приобрести земли, дома, фермы, лошадей, серебряную посуду и мог соперничать с самыми богатыми баронами королевства, а поскольку он все больше за-

воевывал благосклонность королевского семейства, то перешел из кухни в хранители гардероба короля. Катанийка тоже заслужила любовь своих господ, и принцесса в награду за заботы о своем сыне выдала ее за негра, а в качестве свадебного подарка его посвятили в рыцари. И с того дня Раймонд Кабанский и бывшая прачка Филиппа стали так стремительно возвышаться, что никто при дворе уже не мог уравновесить их влияния. После смерти доньи Виоланты катанийка стала задушевной подругой доньи Санчи, второй жены Роберта, которую мы уже представили в самом начале этой истории. Ее вскормленник Карл любил ее как мать, и она была поочередно наперсницей обеих его жен, особенно второй, Марии де Валуа. А поскольку бывшая прачка в конце концов усвоила придворные обычаи и манеры, то, когда родились Иоанна и ее сестра, она была назначена воспитательницей и наставницей принцесс, а Раймонд по сему поводу стал мажордомом. На смертном ложе Мария де Валуа поручила обеих принцесс ее заботам, умоляя относиться к ним, как к собственным дочерям, и тогда Филиппа-катанийка, почитаемая как мать наследницы неаполитанского трона, обрела достаточную власть, чтобы добиться назначения своего мужа на должность великого сенешаля, одну из семи главнейших должностей королевства, и посвящения трех своих сыновей в рыцари. Раймонд Кабанский был погребен с королевской пышностью в мраморной гробнице в церкви Сан-Сакраменто, и вскоре к нему присоединились двое его сыно-

вей. Третий же, по имени Роберт, молодой человек необыкновенной красоты и силы, сбросил сутану и был назначен мажордомом, а две дочери его старшего брата были выданы за графа Терлицци и графа Марконе. Короче, дела шли прекрасно, и могущество вдовы великого сенешаля, казалось, обеспечено навсегда, но вдруг неожиданное событие поколебало ее влияние и огромное здание благополучия, которое она неспешно, трудолюбиво и терпеливо возводила камень по камню, подкопанное в самом основании, едва не рухнуло в один день. Внезапное появление брата Роберта, который сопровождал к римскому двору своего малолетнего воспитанника, с детства предназначенного в мужья Иоанне, стало препятствием всем планам катанийки и составило серьезную угрозу ее будущему. Монах очень скоро понял, что до тех пор, пока вдова великого сенешаля будет оставаться при дворе, Андрей будет всего лишь рабом, а то и жертвой своей супруги. И потому все помыслы брата Роберта были направлены к одной цели – удалить катанийку или хотя бы нейтрализовать ее влияние. Наставник принца и воспитательница наследницы престола взглянули друг на друга, взглянули холодно, проницательно, трезво, и глаза у них сверкнули ненавистью и враждой. Катанийка, поняв, что она разгадана, и не имея отваги вступить в открытую борьбу, составила план, как подкрепить свое пошатнувшееся положение, развращая и растлевая Иоанну. Она медленно вливала в душу воспитанницы яд порока, возбуждала ее юное воображе-

ние, потворствуя преждевременным желаниям, внедряла в ее сердце ростки непреодолимого отвращения к мужу, окружила ее женщинами самых нестрогих нравов, особо приблизив к ней обольстительную красавицу донну Кончу, которую современные писатели заклеймили бы словом «куртизанка», и, чтобы одним махом завершить свои гнусные уроки, толкнула Иоанну в объятия своего сына. Бедное дитя, не успевшее постигнуть жизнь, но уже оскверненное преступлением, со всем пылом юности отдалась первой своей страсти и влюбилась в Роберта Кабанского так исступленно и неистово, что коварной катанийке, совершенно уверенной, что добыча попалась ей в руки и никогда не попытается вырваться, оставалось только радоваться столь успешному исполнению своих грязных планов.

В течение целого года у Иоанны, пребывавшей в полнейшем упоении, не возникало даже тени подозрения относительно искренности ее возлюбленного. Роберт, в характере которого было куда больше тщеславия, чем нежности, искусно скрывал холодность под братской привязанностью, слепой покорностью и готовой на все самоотверженностью; возможно, ему еще долго удавалось бы дурачить свою повелительницу, если бы в Иоанну не влюбился без памяти молодой граф д'Артуа. Внезапно с глаз Иоанны спала пелена, она поняла, что Роберт Кабанский любил ее ради себя, тогда как Бертран д'Артуа отдал бы жизнь, чтобы видеть ее счастливой; луч света озарил ее прошлое, она перебрала в уме об-

стоятельства, какие предшествовали и сопутствовали ее первой любви, и дрожь пробежала у нее по жилам при мысли, что она была принесена в жертву бесчестному обольстителю женщиной, которую любила больше всех на свете и называла матерью.

Иоанна замкнулась в себе и горько плакала. Оскорбленная в лучших чувствах, она изнывала от отчаяния, но, ощутив вдруг порыв гнева, гордо вскинула голову, и любовь ее обратилась в презрение. Роберт, удивленный надменным и ледяным приемом, сменившим обычную дружественность, разъяренный ревностью, страдая от уязвленного самолюбия, разразился горькими упреками и неистовыми обвинениями, невольно сорвав с себя маску и тем самым окончательно утратив сердце принцессы.

Филиппа поняла, что пришла пора вмешаться; она устроила сыну взбучку, упрекая его в том, что своей неловкостью он разрушил все ее планы.

– Раз уж ты не смог с помощью любви овладеть ее душой, – объявила она, – придется завладеть ею, используя страх. Нам известна тайна, от которой зависит ее честь, и она никогда не осмелится взбунтоваться против нас. Очевидно, она любит Бертрана д'Артуа, чьи томные взоры и горестные вздыхания так несходны с твоей высокомерной беспечностью и деспотическими выходками. Мать принцев Тарантских императрица Константинопольская немедля воспользуется возможностью помочь любви принцессы, дабы еще больше отдалить

ее от супруга, посланницей будет выбрана Конча, и рано или поздно мы поймаем д'Артуа у ног принцессы. Тогда она не сможет нам ни в чем отказать.

Вскоре старый король умер, и катанийка, старательно подкарауливавшая момент, когда у нее будут совершенно достоверные доказательства, увидев, что граф д'Артуа проскользнул в покои королевы, кликнула сына и потащила его за собой.

– Идем, – приказала она, – королева в наших руках.

Смертельно бледная Иоанна, стоявшая посреди спальни, устремив взгляд на полог кровати и прятавшая страх под улыбкой, сделала шаг навстречу воспитательнице и наклонила голову: Филиппа каждое утро целовала ее. Катанийка с преувеличенной сердечностью поцеловала Иоанну в лоб и обернулась к сыну, преклонившему колени перед королевой.

– Позвольте, моя прекрасная повелительница, – промолвила она, указывая на Роберта, – наипокорнейшему из ваших подданных принести вам самые искренние поздравления и сложить к вашим ногам клятву верности.

– Встаньте, Роберт, – произнесла Иоанна, протягивая ему благосклонно руку и постаравшись, чтобы в ее голосе не прозвучал даже намек на горечь. – Мы вместе росли, и я никогда не забуду, что в годы моего детства, в ту счастливую пору, когда мы оба были невинны, я называла вас своим братом.

– Раз вы это мне позволяете, ваше величество, – с насмешливой улыбкой ответил Роберт, – я тоже всегда буду вспоми-

нать имена, какими вы некогда удостаивали меня.

– А я, – подхватила катанийка, – иногда буду забывать, что говорю с неаполитанской королевой, чтобы иметь возможность поцеловать свою возлюбленную дочь. Итак, государыня, прогоните остатки печали, вы уже достаточно пролили слез, и мы достаточно уважили вашу скорбь. Пора вам явиться доброму неаполитанскому народу, который не устает благословлять небо за то, что оно ниспослало ему столь прекрасную и столь великодушную королеву, пора вам пролить милости на своих верных подданных, и мой сын, который всех превосходит верностью, опередил всех, придя просить вас о расположении к нему, дабы он мог с еще большим усердием служить вам.

Иоанна бросила на Роберта мрачный взгляд и, оборотясь к катанийке, с нескрываемым презрением произнесла:

– Вы же знаете, матушка, что я ни в чем не откажу вашему сыну.

– Он просит, – заметила Филиппа, – только принадлежащее ему по праву, то есть титул великого сенешаля Королевства Обеих Силиций, который он унаследовал от отца, и я надеюсь, доченька, что с вашей стороны не будет никаких препятствий в пожаловании ему этого титула.

– Но мне все-таки надо посоветоваться с членами регентского совета.

– Совет незамедлительно подтвердит волю королевы, – сказал Роберт, повелительно протягивая Иоанне перга-

мент, – и вам вполне достаточно будет справиться у графа д'Артуа.

При этом он бросил испепеляющий взгляд на чуть заколебавшийся занавес.

– Да, вы правы, – мгновенно отвечала королева и, подойдя к столу, дрожащей рукой поставила на пергаменте подпись.

– А теперь, доченька, в благодарность за все заботы, какими я окружила вас в годы вашего детства, за ту поистине больше чем материнскую любовь, с какой я вас всегда холила, я умоляю вас оказать нам милость, о которой моя семья навеки сохранит память.

Покраснев от волнения и гнева, королева отступила на шаг, но, прежде чем она нашла слова для ответа, вдова великого сенешаля бесстрастным тоном продолжала:

– Я прошу вас сделать моего сына графом Эболи.

– Сударыня, это зависит не от меня. Все бароны королевства взбунтуются, ежели только своей властью я отдам одно из первых графств королевства сыну…

– …прачки и негра, не так ли, ваше величество? – ухмыльнувшись, поинтересовался Роберт. – Бертран д'Артуа, должно быть, взъярится, если я стану называть себя, как он, графом.

Положив руку на рукоять меча, он сделал шаг к кровати.

– Сжальтесь, Роберт! – вскричала королева, удерживая его. – Я согласна на все ваши требования.

И она подписала грамоту, которой ему жаловалось граф-

ское достоинство.

– Ну а теперь, чтобы мой титул не оказался иллюзорным, – продолжал Роберт, – раз уж вы готовы подписывать, даруйте мне привилегию участвовать в коронном совете и объявите свою волю, что всякий раз, когда обсуждается важный вопрос, моя мать и я имеем в совете решающий голос.

– Никогда! – воскликнула, побледнев, Иоанна. – Филиппа, Роберт, вы злоупотребляете моей слабостью, вы постыдно мучаете свою королеву. Все последние дни я плакала, я страдала, удрученная жестокой скорбью, и сейчас у меня нет сил заниматься делами. Прошу вас, удалитесь, я чувствую, что вот-вот упаду в обморок.

– Доченька, так вы плохо себя чувствуете? – лицемерным тоном подхватила катанийка. – Скорей прилягте отдохнуть.

И, устремившись к кровати, она ухватилась за полог, за которым скрывался граф д'Артуа.

Королева пронзительно вскрикнула и, как львица, бросилась на воспитательницу.

– Остановитесь! – прерывающимся голосом приказала она. – Вот вам привилегия, которую вы просите. А теперь, если вам дорога жизнь, прочь отсюда!

Катанийка и сын ее мигом вышли, не произнеся ни слова: ведь они получили все, чего желали, а дрожащая, потерявшая голову Иоанна бросилась к Бертрану д'Артуа; пылая гневом, он выхватил кинжал и намеревался ринуться следом за обоими фаворитами, чтобы отомстить им за оскорб-

ления, которые они нанесли королеве, однако был остановлен умоляющим взглядом прекрасных глаз, руками, обвившимися вокруг его талии, слезами Иоанны; он пал к ее ногам и стал покрывать их поцелуями, даже не думая просить прощения за свое присутствие, и без объяснений в любви, словно они оба всегда любили друг друга, осыпал ее самыми нежными ласками, осушал ее слезы, прикасался трепещущими губами к ее прекрасным волосам. Иоанна постепенно забыла про свой гнев, клятвы, раскаяние; убаюканная сладостными словами возлюбленного, она отвечала на них вздохами и восклицаниями; сердце ее готово было вырваться из груди, она поддалась неодолимой власти любви, но тут шум шагов вновь вырвал ее из состояния любовного упоения; на сей раз, однако, молодой граф смог без особой поспешности удалиться в смежный покой, а королева успела подготовиться, чтобы с холодным и суровым достоинством принять нежданного посетителя.

Визитером, явившимся так некстати и отведшим грозу, что собралась над головой Иоанны, был Карл, старший из герцогов Дураццо. После того как он представил народу свою прекрасную кузину в качестве единственной законной государыни, он многократно искал случая поговорить с нею, и разговор этот, вне всякого сомнения, должен был стать решающим. Карл принадлежал к тому типу людей, что не отказываются для достижения своей цели ни от каких средств; снедаемый неутомимым честолюбием, привыкший с юных

лет скрывать самые жгучие свои желания под маской легкомысленной беззаботности, продуманно и хитро продвигающийся к предмету своих вожделений, ни на йоту не сворачивая с избранного пути, удваивающий осторожность при победе и отвагу при поражении, бледнеющий от радости и улыбающийся, когда испытывает ненависть, непроницаемый, когда внутри бушуют сильнейшие страсти, он поклялся себе взойти на неаполитанский трон, наследником которого почитал себя как первый по старшинству племянник Роберта; надо сказать, что он и должен был бы получить руку Иоанны, если бы на склоне дней старому королю не вздумалось призвать Андрея Венгерского и тем самым восстановить права старшей ветви, о которых все уже давно забыли. Но ни прибытие в королевство Андрея, ни глубокое равнодушие, с каким Иоанна, захваченная иными страстями, встречала ухаживания своего кузена, ни на миг не поколебали решения герцога Дураццо, поскольку ни любовь женщины, ни человеческая жизнь ничего не значили для него, когда на другую чашу весов была брошена корона.

Покрутившись у покоев королевы все то время, пока она была совершенно недоступна, он с почтительной настойчивостью потребовал приема, дабы осведомиться о здоровье кузины. Благородство черт и изящество фигуры молодого герцога особенно подчеркивал его великолепный наряд, весь расшитый геральдическими лилиями и сверкающий драгоценными камнями. Камзол пунцового бархата и шапочка то-

го же цвета, отсвечивая, подчеркивали румянец его смуглого лица, которое чрезвычайно оживляли черные орлиные глаза, вспыхивающие время от времени молниями.

Карл пространно рассказывал кузине о восторге, с каким народ воспринял ее вступление на престол, и о блистательной судьбе, которая ей предстоит, точно и в немногих словах обрисовал ей ситуацию в королевстве и, продолжая расточать хвалы ее королевской мудрости, весьма ловко подсказал, какие улучшения необходимо самым срочным образом произвести в стране; в его речи было столько жара и в то же время столько сдержанности, что очень скоро ему удалось развеять дурное впечатление, которое произвело его нежданное появление. Несмотря на заблуждения юности, развращенной достойным сожаления воспитанием, Иоанна по своей природе была чутка ко всему благородному и великому; возвышавшаяся над сверстниками и представительницами своего пола, когда дело касалось счастья подданных, она забыла о своем особом положении и слушала герцога Дураццо с живейшим интересом и самым благожелательным вниманием. И тогда он решился намекнуть на опасности, что грозят юной королеве, он пространно толковал о том, как трудно отличить тех, кто подлинно предан, от льстивых негодяев и людей, преследующих одни свои корыстные интересы, упирал на неблагодарность тех, кто более всего осыпан милостями и кому оказывается наибольшее доверие. Иоанна, только что получившая весьма горестное подтверждение

справедливости его слов, вздохнула и после секундной паузы ответила:

– Да поможет мне Бог, которого я призываю в свидетели своих праведных и справедливых намерений, разоблачить предателей и узнать, кто мой истинный друг! Я знаю, бремя, которое возложено на меня, безмерно тяжко, и ничуть не переоцениваю свои силы, но многолетний опыт советников, которым мой дед доверил опеку надо мной, помощь всех родственников и в особенности ваша, кузен, чистая и сердечная дружба, надеюсь, помогут мне исполнить мой долг.

– Мое искреннейшее желание – чтобы вы, прекрасная моя кузина, смогли добиться успеха, и я не хочу, внушая подозрения и сомнения, омрачать минуты, которые всецело должны быть отданы счастью. Не хочу примешивать ко всеобщему ликованию и к поздравлениям вас с титулом королевы бесплодные сетования на слепую судьбу, посадившую рядом с женщиной, которой мы все поклоняемся, рядом с вами, кузина, от одного-единственного взгляда которой любой мужчина испытывает райское блаженство, чужеземца, недостойного владеть вашим сердцем и неспособного разделить с вами трон.

– Вы забываете, Карл, – промолвила королева, вскинув руку, как бы запрещая ему говорить, – вы забываете, что Андрей – мой муж и что такова воля нашего деда, призвавшего его царствовать вместе со мной.

– Никогда не быть ему королем Неаполя! – возмущенно

воскликнул герцог. – Поверьте, скорей содрогнется весь город, народ поднимется, как один, и колокола наших церквей прозвонят к новой Сицилийской вечерне[72], чем неаполитанцы допустят, чтобы ими правила горстка пьяных дикарей-венгров, лицемерный и уродливый монах и принц, которого ненавидят настолько же, насколько любят вас.

– Но в чем его упрекают? В чем его вина?

– В чем его вина? В чем его упрекают? Народ упрекает его в том, что он не способен править, груб, дик. Дворяне упрекают его в том, что он нарушает их привилегии и открыто покровительствует людям темного происхождения, а я, государыня, – понизив голос, произнес герцог, – упрекаю его в том, что он делает вас несчастной.

Иоанна вздрогнула, словно чья-то грубая рука прикоснулась к ее ране, но, скрывая чувства под внешним спокойствием, спросила самым равнодушным тоном:

– Мне кажется, Карл, вы бредите. Что дает вам право считать меня несчастной?

– Кузина, не старайтесь оправдывать его, – отвечал ей Карл. – Вы погубите себя, но его не спасете.

Королева пристально взглянула на герцога, словно пытаясь прочесть, что кроется в глубинах его души, и понять смысл его слов, однако, не в силах принять на веру ужасную

---

[72] Общенародное восстание на Сицилии против Анжуйского дома и французов, начавшееся 31 марта 1282 г., в понедельник на Святой неделе. Сигналом к восстанию послужил колокольный звон к вечерне, отсюда и пошло название.

мысль, блеснувшую у нее в мозгу, сделала вид, будто вполне верит в дружественность кузена, и, чтобы проникнуть в его замыслы, непринужденно бросила:

– Хорошо, Карл, предположим, я несчастлива. Какое средство можете вы предложить, чтобы переменить мою судьбу?

– И вы, кузина, еще спрашиваете? Да разве не все средства хороши, когда вы страдаете и речь идет о том, чтобы отомстить за вас?

– Боюсь, никакие средства помочь тут не могут. Андрей так просто не откажется от своих притязаний, у него есть сторонники, а в случае открытого разрыва брат его, король Венгерский, может объявить нам войну и опустошить королевство.

Герцог Дураццо чуть заметно усмехнулся, и лицо его обрело зловещее выражение.

– Кузина, вы не поняли меня.

– В таком случае объяснитесь прямо, – предложила королева, прикладывая чудовищные усилия, чтобы скрыть конвульсивную дрожь, пробежавшую по всему ее телу.

– Иоанна, вы чувствуете этот кинжал? – спросил Карл, взяв руку королевы и прижав ее к своей груди.

– Чувствую, – побледнев, ответила Иоанна.

– Одно ваше слово, и…

– И что же?

– И завтра вы будете свободны.

– Убийство! – вскричала королева, отпрянув в ужасе. – Значит, я не ошиблась! Вы предлагаете мне убийство!

– Без него не обойтись, – спокойно подтвердил герцог. – Сегодня вам предлагаю его я, но однажды вы сами отдадите приказ совершить его.

– Довольно, несчастный! Не знаю, чего в вас больше – подлости или дерзости. Подлости, так как вы предлагаете мне преступный план, будучи уверены, что я вас не выдам, а дерзости, ибо, предлагая мне его, вы не проверили, нет ли тут свидетеля, который слышит нас.

– Государыня, как вы понимаете, я вам открылся и не могу уйти от вас, пока не узнаю, должен ли я считать себя вашим другом или врагом.

– Прочь! – вскричала Иоанна, повелительно указывая Карлу на дверь. – Вы оскорбляете свою королеву!

– Вы забываете, кузина, что однажды я могу получить права на ваше королевство.

– Не принуждайте меня велеть выставить вас, – предупредила Иоанна, делая шаг к двери.

– Умерьте свой гнев, прекрасная кузина, я покидаю вас, но только запомните: я протянул вам руку, а вы ее оттолкнули. И еще усвойте хорошенько то, что я вам говорю в этот решающий миг: сегодня я – преступник, но, быть может, придет день, когда я стану судьей.

Карл неспешно удалился и, дважды обернувшись, повторил с угрожающим жестом свое мрачное пророчество. Иоан-

на закрыла лицо руками и долго стояла, погруженная в горестные мысли, но скоро над всеми чувствами в ней возобладал гнев, она позвала донну Кончу и отдала ей приказ никого ни под каким предлогом больше не впускать.

Запрет этот не распространялся на графа д'Артуа, поскольку, как помнит читатель, он находился в соседней комнате.

Тем временем спустилась ночь, и в самом шумном городе вселенной на всем его протяжении от мола до Мерджелино, от Капуанского замка до холма Св. Эльма тысячеустые крики сменила глубокая тишина. Карл Дураццо, бросив последний мстительный взгляд на Кастельнуово, покинул площадь Корреджие, углубился в лабиринт темных извилистых улочек, разбегавшихся в разных направлениях по старому городу, и через четверть часа ходьбы то замедленной, то стремительной, что свидетельствовало о его крайнем возбуждении, прибыл в свой герцогский дворец, расположенный в Маре рядом с церковью Сан-Джованни. Отдав угрюмым и суровым тоном несколько приказаний одному из пажей и вручив ему свой меч и плащ, Карл заперся в своих покоях, даже не поднявшись к матери, которая одна, исполненная печали, оплакивала неблагодарность сына и в отместку ему, как всякая мать, молила за него Бога.

Герцог Дураццо метался по комнате, как лев в клетке, и, снедаемый нетерпением, считал минуты; он вызвал слугу и повторил приказания, но тут два глухих удара в дверь возве-

стили, что человек, которого он так ждал, наконец пришел. Карл поспешно открыл. Вошел человек лет пятидесяти, с головы до ног одетый в черное, и, почтительно поклонившись, тщательно затворил за собою дверь. Карл бросился в кресло и взглянул на пришельца, который стоял перед ним, опустив глаза и скрестив на груди руки, и всем своим видом выражал глубочайшее почтение и готовность исполнить любой приказ. Герцог обратился к нему, медленно и веско произнося каждое слово:

– Мессир Никколо́ ди Мелаццо, вы еще не забыли об услуге, которую я некогда оказал вам?

При этих словах человек вздрогнул, словно услыхав голос сатаны, требующего его душу, поднял на герцога испуганный взгляд и хрипло спросил:

– Ваша светлость, чем я заслужил подобный упрек?

– Это не упрек, милейший нотариус, это просто вопрос.

– Неужели ваша светлость сомневается в моей вечной благодарности? Да как бы я смог забыть благодеяния вашей светлости? Но даже если бы я до такой степени утратил рассудок и память, разве моя жена и сын не служили бы мне ежедневно постоянным напоминанием, что мы обязаны вам всем – состоянием, жизнью, честью? Я оказался виновен в подлом деянии, – понизив голос, продолжал нотариус, – в подлоге, за который не только следовала смертная казнь мне, но и конфискация всего имущества, разорение моей семьи, нищета и бесчестье моего единственного сына, того самого

сына, которому я, несчастный, хотел чудовищным преступлением обеспечить блистательное будущее, и у вас в руках были свидетельства этого преступления…

– Они до сих пор у меня…

– Но вы же не погубите меня, ваша светлость, – умоляюще произнес нотариус. – Я у ваших ног, возьмите мою жизнь, я снесу любые пытки и умру без единого стона, только спасите моего сына, ведь до сих пор вы столь милосердно щадили его. Сжальтесь над его матерью, сжальтесь, ваша светлость!

– Успокойся, – произнес Карл, делая ему знак подняться, – речь вовсе не идет о твоей жизни. Быть может, когда-нибудь и до этого дело дойдет. То, что я сейчас от тебя потребую, куда легче и проще.

– Я готов, ваша светлость.

– Первым делом, – насмешливо-игривым тоном объявил герцог, – ты составишь по всей форме мой брачный контракт.

– Сию секунду приступаю, ваша светлость.

– В первом пункте ты запишешь, что моя жена приносит мне в приданое графство Альба, бальяж Грати и Джордано со всеми замками, феодами и землями, которые к ним относятся.

– Но, ваша светлость… – в крайнем замешательстве пробормотал нотариус.

– Ты увидел тут какое-то затруднение, мессир Никколо?

– Боже меня избави, ваша светлость, но…

– Так в чем же дело?

– С позволения вашей светлости, в Неаполе только одна особа обладает приданым, которое велит мне записать ваша светлость.

– Ну и что?

– И эта особа, – пробормотал нотариус в полной растерянности, – сестра королевы.

– Ну так впиши в контракт имя Марии Анжуйской.

– Но, – робко заметил мессир Никколо, – девица, с которой ваша светлость желает заключить брак, как мне кажется, в завещании блаженной памяти короля, нашего государя, предназначена в жены либо венгерскому королю, либо внуку короля Франции.

– Что ж, мне понятно твое недоумение, милейший мой нотариус, но из этого ты можешь заключить, что воля дядьев не всегда совпадает с волей племянников.

– В таком случае я осмелюсь… если ваша светлость позволит мне высказать мое мнение, я почтительнейше умоляю вашу светлость принять во внимание, что речь идет о похищении несовершеннолетней.

– Мессир Никколо, с каких это пор ты стал таким щепетильным?

Высказанное недоумение сопровождалось столь грозным взглядом, что бедняга нотариус сжался и едва нашел в себе силы ответить:

– Через час контракт будет готов.

– Итак, по первому пункту мы пришли к согласию, – заметил обычным своим тоном Карл. – А вот тебе второе мое поручение. Ты, как мне кажется, знаком, и достаточно близко, со слугой герцога Калабрийского.

– С Томмазо Паче? Это мой лучший друг.

– Превосходно. Ну так слушай меня и запомни: от твоего умения хранить тайну зависит благополучие или гибель твоей семьи. Против супруга королевы скоро составится заговор, заговорщики обязательно подкупят слугу Андрея, которого ты называешь своим лучшим другом. Не оставляй его ни на миг, постарайся стать его тенью и день за днем, час за часом извещай меня о развитии заговора и об именах заговорщиков.

– Это все, что ваша светлость мне велит?

– Все.

Нотариус почтительно откланялся и ушел, дабы незамедлительно исполнить полученные приказы. А Карл остаток ночи писал письмо своему дяде кардиналу Перигорскому, одному из самых влиятельных прелатов при Авиньонском дворе; Карл просил кардинала, прежде всего, употребить все свое влияние, чтобы воспрепятствовать Клименту VI[73] подписать буллу о коронации Андрея, а закончил письмо настоятельнейшей просьбой добиться для него у папы позволения на брак с сестрой королевы.

– Мы еще посмотрим, кузина, – шептал он, запечатывая

---

[73] *Климент VI (Пьер Роже)* – папа римский в 1342–1352 гг.

письмо, – кто из нас лучше понимает свои интересы. Вы не захотели иметь меня другом, что ж, я стану вашим врагом. Покойтесь в объятиях своих любовников, но я разбужу вас, когда пробьет час. Однажды я, быть может, стану герцогом Калабрийским, а это, как вам известно, прелестная кузина, титул наследника престола.

Уже на другой день все обратили внимание, что отношение Карла к Андрею совершенно изменилось; герцог Дураццо выказывал ему живейшее расположение, искусно угождал его вкусам, сумел уверить брата Роберта, что ничуть не противится коронации Андрея и что самое пламенное его желание увидеть волю дяди исполненной, а если и создалось впечатление, будто он действовал в противоположном направлении, то целью этих его поступков было всего лишь успокоить народ, который мог возмутиться и восстать против венгров. Он весьма решительно объявил, что всей душой ненавидит тех, кто окружает королеву и сбивает ее с толку своими советами, и обязался объединить свои усилия с усилиями брата Роберта, дабы всеми доступными средствами, какие им предоставит судьба, низвергнуть фаворитов Иоанны. Хотя доминиканец не слишком поверил в искренность нового союзника, он тем не менее с радостью согласился на поддержку, которая могла оказаться весьма полезной для его воспитанника, а такую резкую перемену в настроении Карла связал с его внезапной ссорой с кузиной; монах решил использовать злопамятность герцога Дураццо. Как бы то ни

было, через несколько дней Карл до такой степени завоевал сердце Андрея, что они стали просто-напросто неразлучны. Ежели Андрей собирался на охоту, а ее он предпочитал всем другим развлечениям, Карл настойчиво предлагал ему свою свору и своих соколов; ежели Андрей выезжал в город, Карл гарцевал рядом с ним. Он потакал любым капризам Андрея, толкал его на бесчинства, разжигал его злобу; одним словом, был то ли добрым, то ли злым гением, внушавшим принцу свои мысли и направлявшим все его действия.

Иоанна очень скоро разгадала этот маневр; впрочем, она ждала чего-нибудь в этом роде. Она могла бы одним-единственным словом погубить Дураццо, однако пренебрегла столь низкой местью и стала третировать кузена с глубочайшим презрением. Двор тоже разделился на две партии: с одной стороны, венгры, руководимые братом Робертом и открыто поддерживаемые Карлом Дураццо; с другой, все неаполитанское дворянство, во главе которого стояли принцы Тарантские. Иоанна, которой вертели вдова великого сенешаля и две ее внучки, графини Терлицци и Морконе, донна Конча и императрица Константинопольская, присоединилась к неаполитанской партии, оспаривавшей права ее супруга. Первой заботой сторонников королевы было вписание во все государственные акты ее имени без присоединения имени Андрея, однако Иоанна, руководствуясь инстинктивным чувством порядочности и справедливости, согласилась на это окончательное проявление своей позиции толь-

ко после того, как посоветовалась с Андреа д'Изерниа, одним из самых знающих юристов той эпохи, которого равно чтили и за благородный характер, и за глубокую мудрость. Принц, разъяренный тем, что его отстранили ото всех дел, мгновенно ответил жестокостями и деспотизмом. Собственной властью он освобождал узников, всячески выделяя венгров, осыпал почестями и богатствами Джанни Пипино графа Альтамуру, самого опасного и самого ненавистного врага неаполитанских баронов. И тогда графы Сан-Северино, Милето, Бальдзо, Катандзаро, Сан-Анджело и большинство баронов королевства, возмущенные неслыханным да к тому же растущим со дня на день высокомерием любимца Андрея, решили прикончить его, а равно и его покровителя, если тот не перестанет покушаться на их привилегии и пренебрегать их возмущением.

С другой стороны, женщины, окружавшие королеву, подталкивали ее, каждая в своих интересах, поддаться новой страсти, и несчастная Иоанна, покинутая мужем, преданная Робертом Кабанским, не только не пыталась побороть любовь к Бертрану д'Артуа, но и устремилась навстречу ей, потому что в представлениях юной королевы преднамеренно были разрушены все принципы религии и добродетели и душа ее с ранних лет была изуродована пороком, как тела тех злополучных существ, которым жонглеры ломали кости. Ну а Бертран боготворил ее со страстью, превосходящей все пределы; пребывая на вершине блаженства, на какое он не

осмеливался надеяться даже в самых дерзких своих мечтах, юный граф почти утратил рассудок. Напрасно его отец Карл д'Артуа, граф Эрский, происходящий по прямой линии от Филиппа Смелого[74], и один из регентов королевства, сурово выговаривал сыну и пытался удержать его на краю пропасти – для Бертрана существовала только любовь к Иоанне и непримиримая ненависть к ее врагам. Часто можно было видеть, как на склоне дня, когда легкий бриз, веющий от Позилиппо или Сорренто, ласкал его волосы, он стоял у одного из окон Кастельнуово, бледный, недвижный, устремив взгляд на площадь, по которой, совершая веселую вечернюю прогулку, в клубах пыли скакали рядом герцог Калабрийский и герцог Дураццо. И тогда брови молодого графа грозно хмурились, светло-голубые глаза его приобретали угрюмое, свирепое выражение, и внезапно мысли о мести, об убийстве на миг искажали его черты; потом вдруг легкая рука ложилась ему на плечо, он вздрагивал, осторожно оборачивался, страшась, как бы божественное видение не отлетело вновь на небо, и видел стоящую за спиной женщину: щеки у нее горели огнем, грудь трепетала, глаза влажно блестели; она пришла рассказать ему, как провела день, и потребовать, чтобы он поцеловал ее – в награду за целодневный труд и разлуку. Этой женщине, которая только что устанавливала законы и вершила суд в кругу строгих судей и суровых мини-

---

[74] *Филипп III Смелый* (1245–1285) – сын Людовика Святого, король Франции с 1270 г., нанес поражение Педро III Арагонскому.

стров, было всего лишь пятнадцать лет, а юноше, которого так угнетала ее скорбь и который в отмщение за нее задумал совершить цареубийство, не было и двадцати. Несчастные дети, брошенные на землю, чтобы стать игрушкой жестокой судьбы!

После смерти старого короля прошло два месяца с небольшим, и вот утром в пятницу 28 марта того же 1343 года Филиппа, вдова великого сенешаля, отыскавшая способ добиться прощения за подлую западню, посредством которой старая воспитательница принудила королеву подписать согласие на все просьбы ее сына, так вот, повторяем, Филиппа, бледная, с искаженным лицом, полная непритворного ужаса, вбежала в покои королевы с вестью, посеявшей при дворе тревогу и скорбь: исчезла Мария, юная сестра Иоанны. Обошли все дворы и сады, пытаясь обнаружить хоть какой-то след; обыскали все закоулки дворца, допросили стражей и даже пригрозили применить пытки, чтобы вырвать у них правду, но все было тщетно: никто не видел принцессы, не было найдено ни одного доказательства, которое могло бы свидетельствовать в пользу предположения о ее бегстве или похищении. Иоанна, пораженная нежданным ударом, прибавившим ко всем ее горестям еще одну, поначалу совершенно пала духом; затем, несколько придя в себя от неожиданности, она повела себя, как ведут все несчастные, у которых отчаяние отнимает рассудок: отдавала приказания, которые уже были исполнены, снова и снова повторяла те же самые

вопросы и получала те же самые ответы, перемежая эти вопросы бесплодными сожалениями и несправедливыми упреками. Новость вскоре разошлась по городу и вызвала повсеместное удивление; во дворце поднялся ропот, спешно собрались члены регентского совета, во все стороны разослали гонцов, пообещав три тысячи золотых дукатов тому, кто укажет место, где укрывается принцесса, а в отношении солдат, бывших в момент исчезновения в карауле по крепости, немедленно начали следствие.

Бертран д'Артуа отвел королеву в сторону и поделился с нею своими подозрениями, прямо указав, что они падают на Карла Дураццо, но Иоанна поспешила уверить его в неправдоподобии его предположения: во-первых, Карл со дня бурного объяснения с королевой не показывался в Кастельнуово и нарочито расставался с Андреем у подъемного моста всякий раз, когда они вместе бывали в городе; во-вторых, ни разу, даже в прошлом, не было замечено, чтобы молодой герцог хоть слово сказал Марии или обменялся с нею единым взглядом; и, наконец, все дружно свидетельствовали, что накануне происшествия в замок не проникал ни один посторонний, за исключением старичка нотариуса, мессира Никколо ди Мелаццо, полусумасшедшего-полусвятоши, за коего ручался головой Томмазо Паче, камердинер герцога Калабрийского. Бертран склонился перед доводами королевы и принялся строить новые предположения, более или менее правдоподобные, желая поддержать в своей возлюбленной

надежду, которой сам он отнюдь не разделял.

Однако спустя месяц после исчезновения девушки, а именно утром в понедельник, 30 апреля, неаполитанский народ был повергнут в смятение странной и неслыханной сценой, исполненной безрассудной дерзости и вынудившей Иоанну и ее друзей от горя перейти к негодованию. Едва колокол церкви Сан-Джованни прозвонил полдень, ворота великолепного дворца Дураццо распахнулись настежь, и из них под звуки труб выехали попарно всадники на конях, убранных роскошными попонами, и со щитами, украшенными гербами герцога; всадники выстроились вокруг дома, дабы воспрепятствовать посторонним нарушить церемонию, которая должна была совершиться на глазах у огромной толпы, внезапно словно по волшебству собравшейся на площади. В глубине двора был воздвигнут алтарь, а на помосте приготовлены две пурпурные бархатные подушки, на которых были вышиты золотом французские лилии и герцогская корона. К помосту приблизился Карл в ослепительном наряде, ведя за руку сестру королевы, принцессу Марию, совсем юную девушку, которой было тогда не более тринадцати лет. Она робко преклонила колена на одной из подушек, затем Карл последовал ее примеру, и старший капеллан дома Дураццо торжественно вопросил молодого герцога, с каким намерением тот склоняется столь смиренно перед одним из служителей Божьих. После этих слов мессир Никколо ди Мелаццо встал слева от алтаря и твердым и внятным го-

лосом прочел сначала акт о заключении брака между Карлом и Марией, а затем папские грамоты, в коих его святейшество папа римский Климент VI своею властью устранял все препятствия к этому союзу – юный возраст невесты, родственные узы между брачующимися – и давал разрешение своему возлюбленному сыну Карлу, герцогу Дураццо и Албании, на бракосочетание с высокородной Марией Анжуйской, сестрой Иоанны, королевы Неаполитанской и Иерусалимской, а также посылал им свое пастырское благословение.

Тогда капеллан взял руку девушки и, вложив ее в руку Карла, стал читать освященные церковью молитвы, после чего Карл, наполовину обернувшись к народу, произнес:

– Вот моя жена перед Богом и людьми.

– И вот мой муж, – дрожа, добавила Мария.

– Да здравствуют герцог и герцогиня Дураццо! – рукоплеща, вскричала толпа.

И новобрачные, немедля вскочив на коней несравненной красоты, торжественно объехали весь город, сопровождаемые кавалерами и пажами, а затем под звуки рукоплесканий и фанфар вернулись к себе во дворец.

Когда эта неслыханная новость достигла слуха королевы, та поначалу испытала огромную радость при мысли, что сестра ее нашлась; а поскольку Бертран д'Артуа был уже готов вскочить на коня и во главе баронов помчаться карать соблазнителя, Иоанна остановила его мановением руки, устремив на него взгляд, проникнутый глубокой печалью.

– Увы, уже поздно, – грустно промолвила она. – Они связаны законным браком, ибо глава церкви, по воле моего пращура возглавляющий и наш дом, дал им на то свое соизволение. Мне только жаль бедную сестру, мне жаль, что она, еще такая юная, стала добычей негодяя, который жертвует ею в угоду своему честолюбию, рассчитывая посредством этого брака завладеть правом на мою корону. О Господи! Что за непостижимый рок тяготеет над Анжуйской королевской ветвью! Отец мой умер молодым в разгаре своих успехов; вскоре моя бедная мать ушла за ним следом; мы с сестрой, последние отпрыски Карла I, не успев еще сделаться взрослыми, угодили в руки низких людей, которые видят в нас лишь средство достичь власти.

Иоанна бессильно опустилась на сиденье, и на ресницах у нее задрожали жгучие слезы.

– Вот уже во второй раз, – с упреком произнес Бертран, – я обнажаю шпагу, чтобы отомстить вашим обидчикам, и во второй раз по вашему приказу снова вкладываю ее в ножны, но помните, Иоанна: в третий раз я не буду столь покорен, потому что месть моя настигнет уже не Роберта Кабанского и не Карла Дураццо; но того, кто является истинным виновником ваших бедствий.

– Умоляю вас, Бертран, не повторяйте за мной таких речей; позвольте мне приходить к вам всякий раз, когда моим умом завладеют эти ужасные мысли, когда в ушах у меня зазвучит эта кровожадная угроза, когда перед моим взором

предстанет эта зловещая картина; позвольте мне приходить к вам, мой возлюбленный, чтобы поплакать на вашей груди, чтобы ваше дыхание остудило мой пылающий мозг, а взор оделил меня каплей мужества, которое оживило бы мою поникшую душу. Полноте, я и так уже слишком несчастна, чтобы отравлять свое будущее ядом вечного раскаяния. Лучше толкуйте мне о милосердии и забвении, но не о ненависти, не о мести; укажите мне луч надежды посреди мрака, окружающего меня, и не толкайте меня в пропасть, но поддержите, потому что у меня подгибаются ноги.

Такие размолвки повторялись ежедневно, после каждой новой провинности Андрея или его сторонников, и по мере того, как нападки Бертрана и друзей королевы становились все настойчивее и, надо сказать, все справедливее, Иоанна все с меньшим пылом отражала их. Венгерское засилье становилось все беззаконнее, все несноснее и настолько возмущало умы, что народ глухо роптал, а знать вслух выражала свое недовольство. Солдаты Андрея предавались бесчинствам, каких нельзя было бы стерпеть даже в захваченных городах: они то ссорились в тавернах, то, упившись до полного безобразия, валялись в сточных канавах, а принц не только не порицал их оргий, но и навлекал на себя нарекания участием в них. Бывший его наставник, которому следовало бы, пользуясь своим влиянием, отбить у принца охоту к столь недостойному поведению, толкал Андрея к самым низменным удовольствиям, лишь бы удалить его от дел, и, сам то-

го не подозревая, приближал развязку ужасной драмы, глухо разыгравшейся в Кастельнуово.

Вдова Роберта, донья Санча Арагонская, достойная, святая женщина, которую наши читатели успели, быть может, позабыть так же, как ее семью, видела, что над домом сгущаются тучи Божьего гнева, но не в силах была его предотвратить ни советами, ни молитвами, ни слезами, и, проведя целый год в трауре по королю, своему супругу, приняла постриг в монастыре Санта-Мария-делла-Кроче; она покинула двор, обуреваемый безумными страстями, и, подобно древним пророкам, отряхнув его прах со своих сандалий, удалилась от мира. Отъезд Санчи оказался недобрым предзнаменованием, и вскоре междоусобные распри, дотоле с трудом сдерживаемые, разгорелись на виду у всех; после дальних громовых раскатов гроза внезапно разразилась над городом, и скоро предстояло сверкнуть молнии.

В последний день августа 1344 года Иоанна присягала в верности Америку, кардиналу Сен-Мартен-де-Мон и легату Климента VI, который по-прежнему считал Неаполитанское королевство ленным владением церкви, как было с тех самых пор, когда его предшественники отлучили и низложили Швабский дом[75]. Для этой торжественной церемонии была избрана церковь Санта-Кьяра, место погребения неаполитанских монархов, где справа и слева от главного алтаря,

---

[75] То есть дом Гогенштауфенов, германских императоров (1138–1251) и сицилийских королей (1194–1268).

в еще свежих усыпальницах покоились дед и отец юной королевы. Иоанна в королевской мантии, увенчанная короной, принесла клятву верности папскому легату в присутствии своего мужа, который в качестве простого свидетеля стоял позади наравне с другими принцами крови. Среди прелатов, облеченных всеми знаками священнического достоинства и составлявших блестящую свиту авиньонского посла, можно было увидеть архиепископов Пизы, Бари, Капуи и Бриндизи, а также преподобных отцов Уголино, епископа Кастеллы, и Филиппа, епископа Кавайонского, канцлера королевы. Вся неаполитанская и венгерская знать присутствовала при этом акте, которым Андрей столь явным и возмутительным образом отстранялся от трона. При выходе из церкви ожесточение противоборствующих партий прорвалось с такой неизбежностью, противники обменивались столь враждебными взглядами и столь угрожающими речами, что принц, не чувствуя в себе сил сражаться со своими недругами, в тот же вечер написал матери и сообщил ей, что намерен покинуть страну, где с детства испытывал только разочарования и горести.

Тем, кто знает материнское сердце, легко догадаться, что едва Елизавета Польская получила известие об опасности, которой подвергается ее сын, как она немедленно прибыла в Неаполь, где никто не ожидал ее появления. Тотчас же распространился слух, что королева Венгрии приехала, чтобы увезти своего сына, и это неожиданное решение возбудило

странные толки и придало воспаленным и смущенным умам новое направление мыслей. Императрица Константинопольская, катанийка, две ее дочери и все придворные, расчеты которых опрокидывал внезапный отъезд Андрея, постарались оказать прибывшей королеве Венгрии самый сердечный, самый почтительный прием, чтобы убедить ее, что одиночество и уныние молодого принца среди столь любезного и преданного двора объясняются лишь его неоправданной недоверчивостью, гордыней и нелюдимостью, присущими его характеру. Иоанна встретила свекровь с таким твердым и законным чувством собственного достоинства, что Елизавета, несмотря на свое предубеждение, не могла не восхищаться серьезностью, благородством и глубиной чувств невестки. Чтобы пребывание в Неаполе доставило знатной чужестранке возможно больше удовольствия, были устроены празднества и турниры, на которых бароны королевства соперничали в роскоши и великолепии. Императрица Константинопольская и катанийка, Карл Дураццо и его молодая жена теплее всех высказали свою приязнь матери принца. Мария, по своей крайней молодости и мягкости характера остававшаяся в стороне от интриг, последовала скорее влечению своего сердца, нежели приказам мужа, и окружила королеву Венгрии такой нежностью и предупредительностью, словно то была ее собственная мать. Но, несмотря на все свидетельства почтения и любви, Елизавета Польская, трепеща за сына, поскольку беспокойство о нем подсказывал ей материн-

ский инстинкт, упорствовала в первоначальном намерении и считала, что Андрей лишь тогда будет в безопасности, когда окажется вдали от этого столь дружественного на первый взгляд, но столь вероломного на самом деле двора.

Казалось, больше всех был удручен этим отъездом и всеми способами старался ему воспрепятствовать брат Роберт. Погруженный в политические комбинации, с ожесточением игрока, близкого к выигрышу, предаваясь своим тайным планам, доминиканец, который видел, что близок к цели, и с помощью хитрости, труда и терпения готов был наконец раздавить своих врагов и установить полное свое господство, вдруг увидел, что мечты его вот-вот развеятся, и собрал все силы, чтобы победить мать своего питомца. Но в сердце Елизаветы опасения звучали громче, нежели все увещевания монаха, и она ограничивалась тем, что на каждый довод брата Роберта возражала, что сын ее уже не будет королем, не будет обладать полной неограниченной властью, а значит, неразумно было бы оставлять его в досягаемости для его недругов. Видя, что все пропало и что он не в силах победить опасения этой женщины, служитель Божий ограничился тем, что попросил у нее еще три дня, а затем, мол, если не придет ответ, на который он рассчитывает, он не только не станет более противиться отъезду Андрея, но сам его проводит и навсегда откажется от плана, который так дорого ему обошелся.

На исходе третьего дня, когда Елизавета решительно го-

товилась к отъезду, монах вошел к ней с сияющим видом и показал ей письмо с поспешно сломанными печатями.

– Благословен Господь, государыня! – торжествующим голосом вскричал он. – Наконец-то я могу дать вам неопровержимые доказательства своего неустанного усердия и справедливости моих предвидений.

Мать Андрея, с жадностью пробежав глазами пергамент, перевела недоверчивый взгляд на монаха: она не смела дать волю радости, переполнявшей ее сердце.

– Да, государыня, – продолжал монах, поднимая голову, и его безобразное лицо осветилось вдохновением, – да, государыня, вы можете верить своим глазам, коль скоро не пожелали верить моим словам: это не мечта, рожденная чересчур пылким воображением, не галлюцинация чрезмерно доверчивого ума, не предрассудок слишком ограниченной мысли; это план, который был задуман без спешки, составлен с большим тщанием и искусно осуществлен; это плод моих бдений, вседневных раздумий, это дело всей моей жизни. Я знал, что при Авиньонском дворе у вашего сына имеются могущественные недруги; но знал также и то, что в день, когда я именем моего принца возьму на себя священное обязательство отменить законы, которые привели к охлаждению между папой и Робертом, питающим, впрочем, безраздельную приверженность к церкви, – я знал, что в этот день мое предложение не встретит отказа, и приберегал его как последнее средство на черный день. Как видите, государыня, я

не ошибся в расчетах, наши недруги посрамлены, и ваш сын восторжествовал.

И, обратясь к Андрею, который вошел в этот миг и, услышав только последние слова, нерешительно застыл на пороге, он добавил:

– Подите сюда, дитя мое, исполнились наши желания: вы – король.

– Король? – повторил Андрей, остолбенев от радости, сомнений и удивления.

– Король Сицилии и Иерусалима. Да, ваше высочество, вам нет нужды читать этот пергамент, из коего мы узнали столь радостную и нежданную весть; взгляните на слезы вашей матушки, которая отворила объятия, дабы прижать вас к груди; взгляните на восторг вашего старого наставника, который склоняется к вашим коленям, чтобы поздравить вас с титулом, который он готов был бы скрепить собственной кровью, если бы и впредь вам продолжали в нем отказывать.

– И все же, – возразила Елизавета, погрузившись в печальные раздумья, – если бы я следовала своим предчувствиям, наши планы касательно отъезда не изменились бы, невзирая на новость, которую вы нам сообщили.

– Нет, матушка, – пылко возразил Андрей, – вы не захотите заставить меня покинуть королевство в ущерб своей чести. Если я излил перед вами горечь и скорбь, коими недруги преисполнили мою молодость, то двигало мною не малодушие, но бессилие, не дававшее мне обрушить на них

ужасную и беспощадную месть за все их тайные оскорбления, скрытые обиды, коварные интриги. Не думайте, что руке моей недоставало мощи: нет, но моему челу недоставало короны. Я мог бы раздавить нескольких из этих негодяев, быть может, наиболее дерзостных, быть может, наименее опасных; но я наносил бы удары вслепую, но главари от меня ускользнули бы, но я никогда не добрался бы до сердцевины этого адского заговора. И вот я в тиши задыхался от негодования и стыда. А теперь, когда мои священные права признаны церковью, – вы увидите, матушка, как эти грозные бароны, эти советники королевы, эти хранители королевства повергнутся во прах, потому что ныне им угрожает не шпага, ныне им предлагают не поединок, и не равный обращается к ним, а король бросает им обвинение, закон выносит им приговор, а карает их эшафот.

– О мой возлюбленный сын, – воскликнула королева, заливаясь слезами, – я никогда не сомневаюсь ни в благородстве твоих чувств, ни в справедливости твоих притязаний, но теперь, когда жизнь твоя в опасности, могу ли я склонять слух к другим голосам, кроме голоса тревоги? Могу ли подавать другие советы, кроме тех, какие подсказывает мне любовь?

– Уверяю вас, матушка: если бы руки этих негодяев не дрожали так же, как их сердца, вы уже давно оплакивали бы вашего сына.

– Но я боюсь не насилия, а предательства.

– Моя жизнь в руках Всевышнего, как жизнь каждого из людей; ее может похитить последний сбир на повороте дороги, но король принадлежит своему народу.

Несчастная мать долго пыталась победить решимость Андрея доводами и мольбами; но когда она, исчерпав все средства убеждения и пролив все слезы, поняла, что ей придется расстаться с сыном, она призвала к себе Бертрана де Бо, верховного юстициария королевства, и Марию, герцогиню Дураццо, и, доверяя мудрости старца и невинности молодой женщины, поручила им свое дитя в самых нежных и душераздирающих выражениях; затем она сняла с пальца перстень драгоценной работы и, отведя принца в сторону, надела перстень ему на указательный палец; сжав сына в объятиях, она сказала ему с чувством и трепетом в голосе:

– Сын мой, раз уж ты отказался последовать за мной, прими этот магический талисман: я не должна была прибегать к нему иначе как в случае крайней надобности. Пока у тебя на пальце это кольцо, тебя не одолеют ни сталь, ни яд.

– Вот видите, матушка, – с улыбкой отвечал принц, – я так надежно защищен, что теперь у вас нет ни малейшей причины трепетать за мою жизнь.

– Смерть бывает не только от яда и стали, – вздыхая, возразила королева.

– Успокойтесь, матушка: самый могущественный талисман, хранящий от всех напастей, – это молитвы, которые вы возносите за меня Богу; это нежная память о вас, которая

всегда будет укреплять меня на пути долга и справедливости; это ваша материнская любовь, которая издали будет оберегать и прикроет меня крылами, словно ангел-хранитель.

Елизавета, рыдая, поцеловала сына; и когда она отрывалась от него, ей казалось, что сердце разрывается у нее в груди. Наконец она решилась уезжать: провожал ее весь двор, ни разу не изменивший по отношению к ней ни рыцарственной учтивости, ни усердного почтения. Несчастная мать, бледная, еле держась на ногах, чуть живая, шла, опираясь на руку Андрея, чтобы не упасть. Взойдя на корабль, которому предстояло навсегда разлучить ее с сыном, она в последний раз прижалась к его груди, надолго замерла, молча, без слез, без движений, когда был дан сигнал к отплытию, она почти без чувств упала на руки своих прислужниц. Томимый смертельной тревогой, Андрей остался на берегу, провожая глазами быстро удалявшийся парус, уносивший все, что было ему дорого в мире. Вдруг ему показалось, что издали машут чем-то белым: это его мать, огромным усилием воли овладев собой, выбралась на палубу, чтобы послать ему последнее прости: она, горемычная, чувствовала, что видит сына в последний раз.

Почти в тот самый миг, когда мать Андрея удалялась из королевства, испустила последний вздох бывшая королева Неаполя, вдова Роберта, донья Санча Арагонская. Ее погребли в монастыре Санта-Мария-делла-Кроче под именем Клары, которое она приняла, когда приносила монашеский

обет, как говорится о том в ее эпитафии. Вот эта эпитафия:

> *«Здесь, примером великого смирения, покоится прах святой сестры Клары, в прошлом – светлой памяти Санчи, королевы Сицилийской и Иерусалимской, вдовы его светлейшего величества Роберта, короля Сицилийского и Иерусалимского; оная королева после кончины своего супруга-короля год вдовела, а затем сменила преходящие блага на вечные и из любви к Господу избрала бедность, раздала свое добро неимущим и принесла обет послушания в созданной ее попечением славной обители Святого Креста, а было это в 1344 году, 21 генваря XII индикта[76]; там вела благочестивую жизнь по правилам, установленным блаженным Франциском, отцом бедных, и окончила свои дни в праведности в году от Рождества Христова 1345, 28 июля XIII индикта. На другой день она была погребена в этой гробнице».*

Смерть доньи Санчи ускорила катастрофу, которой суждено было обагрить кровью неаполитанский трон: казалось, Господь пожелал уберечь от жестокого зрелища этого ангела любви и смирения, эту заступницу, которая рада была бы принести себя в жертву, чтобы искупить злодеяния своей семьи.

Спустя неделю после погребения прежней королевы к Иоанне вошел бледный, небрежно одетый, растрепанный

---

[76] Индикт – введенный в 312 г. византийским императором Константином I цикл 15-летнего исчисления времени. Просуществовал до XVIII в.

Бертран д'Артуа; невозможно описать его смятение и растерянность. Иоанна в испуге устремилась навстречу возлюбленному, взглядом вопрошая его о причине такого волнения.

– Я предрекал, государыня, – в гневе воскликнул молодой граф, – что в конце концов вы всех нас погубите, если будете упорно отказываться слушать мои советы.

– Заклинаю вас, Бертран, говорите без обиняков: что еще стряслось, каким советам я отказалась последовать?

– Стряслось то, государыня, что Авиньонский двор только что признал вашего высокородного супруга Андрея Венгерского королем Иерусалимским и Сицилийским, и отныне вы – его раба.

– Вы бредите, граф д'Артуа.

– Нет, государыня, это не бред, и правота моих слов подтверждается тем, что в Капую прибыли папские легаты, которые привезли с собой коронационную буллу, и нынче же вечером они могли бы уже явиться в Кастельнуово, если бы не хотели дать новому королю время для приготовлений.

Королева поникла головой, словно у самых ног ее ударила молния.

– Когда я говорил вам, – продолжал граф со все возрастающей яростью, – что силу можно победить только силой, что следует сокрушить ярмо этой унизительной тирании, что необходимо избавиться от этого человека прежде, чем он сумеет вам навредить, вы всегда отступали, охваченная дет-

ским страхом и презренной женской нерешительностью.

Иоанна подняла на возлюбленного глаза, полные слез.

– Боже мой! Боже мой! – воскликнула она, с отчаянием простирая молитвенно сложенные руки. – Неужели я вечно буду слышать вокруг себя этот роковой клич, зовущий к убийству! И вы, Бертран, вы тоже его повторяете, как Карл Дураццо, как Роберт Кабанский! Почему вы хотите, несчастный, чтобы меж нами встал окровавленный призрак и чтобы его ледяная рука стала преградой нашим преступным поцелуям? Довольно преступлений! Пускай он царствует, если его злополучное честолюбие влечет его к трону. На что мне власть? Лишь бы он не отнимал у меня вашей любви!

– Наша любовь едва ли продлится долго.

– Что вы хотите сказать, Бертран? Вам нравится меня безжалостно мучить.

– Я говорю, государыня, что новый король Неаполитанский приготовил черный стяг, который понесут впереди него в день коронации.

– И вы полагаете, – спросила Иоанна, побледнев, как покойница, завернутая в саван, – вы полагаете, что этот стяг означает угрозу?

– Которая уже начинает осуществляться.

Королева пошатнулась и оперлась о стол, чтобы не упасть.

– Расскажите мне все, – задыхающимся голосом проговорила она, – не бойтесь меня напугать; вот видите, я не дрожу. О Бертран, умоляю вас!

– Предатели начали с человека, которого вы более всего почитаете, с самого мудрого из королевских советников, с самого безупречного судьи, с самого благородного сердца, с самой строгой добродетели…

– Андреа д'Изерниа!

– Его больше нет, государыня.

Иоанна испустила крик, словно видела, как при ней убивают благородного старца, которого она чтила наравне с отцом, и без сил молча опустилась в кресло.

– Как же его убили? – наконец заговорила она, устремив на графа перепуганный взгляд.

– Вчера вечером, когда он выходил из дворца, направляясь к себе домой, перед Порта-Петручча на пути у него внезапно вырос человек, один из фаворитов Андрея, Корадо Готтис, который был, несомненно, избран потому, что у него были основания жаловаться на неподкупного судью: тот недавно вынес ему обвинительный приговор, так что убийство могло объясняться личной местью. Негодяй подал знак двум-трем соучастникам, которые окружили жертву, не оставляя ей ни одной лазейки к спасению. Несчастный старик пристально взглянул на своего убийцу и спокойно спросил, что тому надо. «Мне надо лишить тебя жизни, как ты лишил меня победы в тяжбе», – воскликнул головорез и, не оставляя судье времени для ответа, пронзил его шпагой. Тогда и остальные набросились на беднягу, который даже не пытался звать на помощь, и нанесли ему множество ран,

изуродовав самым безжалостным образом его труп, который затем бросили плавать в луже крови.

– Ужасно! – прошептала королева, закрыв лицо руками.

– Это лишь первый, пробный удар: уже составлены пространные проскрипционные списки; Андрею нужна кровь, чтобы отпраздновать свое восшествие на неаполитанский трон. А знаете ли вы, Иоанна, кем открывается список приговоренных?

– Кем? – спросила королева, содрогаясь с головы до пят.

– Мною, – как ни в чем не бывало ответствовал граф.

– Тобой? – возопила Иоанна, выпрямляясь во весь рост. – Теперь они хотят расправиться с тобой? О, берегись же, Андрей, ты сам подписал свой смертный приговор. Я долго отводила кинжал, приставленный к твоей груди; но ты исчерпал мое терпение. Горе тебе, принц Венгерский! Кровь, пролитая тобой, падет на твою голову!

Пока она говорила, бледность сбежала с ее щек, прекрасное лицо разгорелось пламенем мщения, глаза начали метать молнии. На это шестнадцатилетнее создание страшно было смотреть: она с судорожной нежностью стиснула руку возлюбленного и прижалась к нему, словно хотела прикрыть его своим телом.

– Твой гнев запоздал, – печальным и нежным голосом продолжал молодой граф, которому Иоанна показалась в этот миг столь прекрасной, что у него не было сил ее упрекать. – Разве ты не знаешь, что его мать оставила ему талис-

ман, хранящий от яда и стали?

– Он умрет, – твердым голосом ответила Иоанна, и лицо ее озарилось столь странной улыбкой, что граф смутился: ему тоже сделалось страшно.

На другой день молодая королева Неаполитанская, более прекрасная и сияющая, чем когда бы то ни было, непринужденно и изящно уселась у окна, за которым открывался волшебный вид на залив, и принялась ткать своими белыми руками белую с золотом ленту. Пробежав на две трети свою огненную дорогу, солнце медленно погружало лучи в синие прозрачные воды, в которых отражалась вершина Позилиппо, увенчанная цветами и зеленью. Теплый, напоенный ароматами бриз, мимолетно скользнув по апельсиновым рощам Сорренто и Амальфи, нес восхитительную прохладу жителям столицы, окованным блаженной истомой. Весь город просыпался после долгой сиесты, вздыхал с облегчением и раскрывал сомкнутые дремотой глаза; мол покрылся шумной многолюдной толпой, пестревшей самыми яркими красками; праздничные клики, веселые песни, любовные куплеты слышались со всех сторон обширного амфитеатра, представляющего собой одно из удивительнейших чудес света, и достигали ушей Иоанны, которая внимала им, склонясь над работой и погрузившись в глубокую задумчивость. Внезапно, когда она, казалось, была всецело поглощена своим рукоделием, ее заставил вздрогнуть еле слышный звук осторожного дыхания и почти неразличимое шуршание ткани,

задевшей ее за плечо; она обернулась, словно ее внезапно разбудило прикосновение змеи, и заметила мужа: разодетый в пышный наряд, он небрежно оперся о спинку ее кресла. Принц давно уже не приходил вот так, запросто, к своей супруге. И это движение, свидетельствовавшее о ласке и преданности, показалось королеве дурным предзнаменованием. Андрей, казалось, не заметил взгляда, полного ненависти и ужаса, который невольно устремила на него королева, и, придав холодному правильному лицу выражение самой явной нежности, на какую только он был способен в этих обстоятельствах, спросил:

– Зачем вы мастерите эту ленту, моя любимая и верная супруга?

– Чтобы повесить вас, ваше высочество! – улыбаясь в свой черед, отвечала королева.

Андрей пожал плечами, расслышав в этой неслыханной дерзкой угрозе лишь грубую шутку. Потом, видя, что Иоанна опять принялась за рукоделие, он вновь попытался завязать разговор.

– Признаю, – продолжал он с отменным спокойствием в голосе, – что вопрос мой был по меньшей мере излишним; по усердию, какое вы вкладываете в вашу искусную работу, мне следовало догадаться, что она предназначена для какого-нибудь прекрасного кавалера, которому вы собираетесь послать эту ленту, дабы ваши цвета хранили его в опасных предприятиях. В таком случае, моя прекрасная повелитель-

ница, прошу, чтобы ваши уста произнесли приказ: укажите место и время испытания, и я заранее уверен, что приз, который я готов оспорить у всех ваших обожателей, останется за мной.

– Сомнительно, – возразила Иоанна, – так же ли вы отважны в военном деле, как в любви?

И она бросила на мужа такой вызывающий и презрительный взгляд, что молодой человек залился румянцем.

– Надеюсь, – сдерживая себя, ответил Андрей, – что вскоре дам вам такие свидетельства своей приязни, что вы уже не сможете в ней усомниться.

– И что же внушает вам такую надежду, ваше высочество?

– Об этом я скажу, если вам будет угодно серьезно меня выслушать.

– Я слушаю вас.

– Ну что ж! Я с доверием смотрю в грядущее, а причиной тому – сон, который приснился мне минувшей ночью.

– Сон! Вам следовало бы дать мне хоть какие-нибудь пояснения на сей предмет.

– Мне снилось, будто в городе великий праздник: многолюдная толпа заполнила улицы, подобно вышедшему из берегов потоку, и в поднебесье звенели ее радостные клики; угрюмые мраморные и гранитные фасады скрылись под шелковыми полотнищами и цветочными гирляндами, церкви были украшены, как во время больших торжеств. Я ехал верхом бок о бок с вами. (Иоанна сделала исполненный гор-

дыни жест.) Простите, государыня, это всего лишь сон; итак, я ехал справа от вас на прекрасном белом коне в роскошной попоне, и верховный юстициарий королевства нес передо мной почетный знак – развернутое знамя. Торжественно проследовав по главным улицам города, мы под звуки фанфар и труб прибыли в королевскую церковь Санта-Кьяра, где погребен ваш дед и мой дядя, и там, перед главным алтарем, папский легат вложил вашу руку в мою, а затем произнес долгую речь и по очереди увенчал нас короной Иерусалима и Сицилии; потом знать и народ вскричали в едином порыве: «Да здравствуют король и королева Неаполитанские!» И я, желая увековечить память о столь славном дне, посвятил в рыцари самых ревностных придворных.

– А не помните ли вы имена этих избранных, которых сочли достойными монаршей милости?

– Отчего же, государыня, отчего же: Бертран, граф д'Артуа…

– Довольно, ваше высочество, избавлю вас от труда перечислять остальных: я всегда верила, что вы великодушный и искренний государь; но сейчас вы дали мне новое тому доказательство, обратив свою милость на людей, которых я более всего удостаиваю доверия. Не знаю, скоро ли суждено осуществиться вашим желаниям, но, как бы то ни было, не сомневайтесь в моей вечной признательности.

В голосе Иоанны не чувствовалось ни малейшего волнения, взгляд стал ласков, и на губах блуждала нежнейшая

улыбка. Но с этого мига в сердце своем она обрекла Андрея смерти. В принце, слишком поглощенном собственными мстительными замыслами и слишком уверенном в могуществе талисмана и в своей воинской доблести, не шевельнулось ни малейшего подозрения, которое могло бы его предостеречь. Он долго беседовал с женой в том же дружелюбном и шутливом тоне, пытаясь вызнать ее секреты и выдавая ей свои обрывками фраз и таинственными недомолвками. Когда ему показалось, что на челе у Иоанны растаяло последнее облачко прежней вражды, он стал умолять ее принять вместе со всей ее свитой участие в великолепной охоте, которую он назначил на 20 августа; Андрей добавил, что такая любезность со стороны королевы послужит для него надежнейшим залогом их полного примирения и полного забвения минувшего. Иоанна с очаровательной любезностью дала ему согласие, и принц удалился, полностью удовлетворенный разговором и убежденный, что стоит ему перебить фаворитов королевы, как она ему подчинится, а может быть, еще и полюбит его.

Но накануне 20 августа в глубине одной из боковых башен Кастельнуово разыгралась странная и ужасная сцена. Карл Дураццо, не перестававший во тьме лелеять свой адский замысел, получил от нотариуса, которому поручил следить за успехами заговора, предупреждение о том, что вечером того же дня назначено окончательное собрание заговорщиков; закутанный в черный плащ, он проскользнул в подземный

коридор и, спрятавшись за колонной, стал ждать исхода совещания. После двух часов изнурительного ожидания, ежесекундно слыша биение собственного сердца, Карл, как ему показалось, уловил шум отворяемой с великими предосторожностями двери; из щели фонаря вырвался слабый луч света и упал на свод, не рассеяв темноты: от стены отделился какой-то человек и пошел к нему, похожий на оживший барельеф. Карл легонько кашлянул: то был условный сигнал. Человек погасил фонарь и спрятал кинжал, который держал наготове из страха перед неожиданной опасностью.

– Это ты, мессир Никколо? – тихо спросил герцог.

– Я, ваша светлость.

– Ну?

– Решено убить принца завтра во время охоты.

– Ты узнал всех заговорщиков?

– Всех, хотя они прячут лица под масками; но когда они подавали голоса за его смерть, я узнал их по голосам.

– Ты мог бы мне их указать?

– И очень скоро: они пройдут в глубине этого коридора; постойте-ка, вот Томмазо Паче, который идет впереди, освещая им путь.

В самом деле, долговязый призрак в черном с головы до ног, с лицом, тщательно скрытым под бархатной маской, с факелом в руке, прошел в глубине коридора и остановился на первой ступеньке винтовой лестницы, что вела на верхние этажи. Заговорщики, пара за парой, словно вереница при-

видений, тихо приближаясь, на мгновение попадали в круг света, отбрасываемого факелом, и исчезали в темноте.

– Вот Карл и Бертран д'Артуа, – сказал нотариус, – вот графы Терлицци и Катандзаро; вот верховный адмирал и верховный сенешаль королевства, Годфруа де Марсан, граф де Скиллаче, и Роберт Кабанский, граф д'Эболи; эти две женщины, что тихо беседуют с такими оживленными жестами, – Екатерина Тарантская, императрица Константинопольская, и Филиппа-катанийка, воспитательница и первая дама королевы; вот донна Конча, статс-дама и наперсница Иоанны, а вот графиня Морконе…

Нотариус остановился, видя, что появилась еще одна тень: она шла отдельно, понурив голову, бессильно уронив руки, и из-под складок ее просторного черного капюшона доносились приглушенные рыдания.

– А кто эта женщина, которая словно через силу бредет вслед зловещей процессии? – спросил герцог, сжимая руку спутника.

– Эта женщина? – шепнул нотариус. – Это же королева!

«А, она у меня в руках!» – подумал Карл, переводя дух с тем глубоким удовлетворением, которое, вероятно, испытывает сатана, когда в лапы к нему попадает душа, которой он долго домогался.

– А теперь, ваша светлость, – вновь подал голос мессир Никколо, когда кругом опять воцарились мрак и молчание, – если вы поручили мне следить за действиями заговорщиков,

чтобы спасти юного принца, хранимого вашей бдительной дружбой, поспешите его предупредить, потому что завтра, быть может, будет уже поздно.

– Следуй за мной! – властно вскричал герцог. – Пришла пора открыть тебе мои истинные намерения, дабы ты со всей точностью мог исполнять мои приказания.

И с этими словами он увлек нотариуса в сторону, противоположную той, где скрылись заговорщики. Мессир Никколо машинально брел за ним по лабиринту темных коридоров и потайных лестниц, не в силах объяснить себе внезапную перемену, явно произошедшую в уме его господина, как вдруг, проходя по одной из дворцовых передних, они повстречали Андрея, который весело их окликнул; принц с обычным дружелюбием пожал руку своему кузену Дураццо и спросил его с уверенностью, не допускавшей мысли об отказе:

– Ну, герцог, вы будете завтра на охоте?

– Простите меня, ваше высочество, – отвечал Карл, кланяясь до земли, – завтра я никак не могу вас сопровождать, поскольку моя жена тяжко заболела, но я прошу вас принять лучшего моего сокола.

И он бросил на нотариуса взгляд, пригвоздивший того к месту.

Утро 20 августа было светлым и ясным по иронии природы, столь разительно контрастирующей со страданиями людей. Едва рассвело, все уже были на ногах – господа и слуги, пажи и рыцари, принцы и придворные; со всех сторон гря-

нули радостные клики, когда появилась королева верхом на белоснежном скакуне во главе блестящей молодежи. Иоанна была, быть может, бледнее обычного, но эту бледность легко было объяснить тем, что королеве пришлось подняться очень рано. Андрей, рядом с Иоанной, горяча шенкелями одного из самых неистовых коней, на каких он ездил в жизни, заставлял его делать полуобороты то в одну, то в другую сторону; он красовался своим благородным обликом и наслаждался своей силой, юностью, тысячами лучезарных надежд, расцвечивавших перед ним грядущее самыми яркими красками. Никогда еще неаполитанский двор не блистал такой пышностью; казалось, вся ненависть и все подозрения исчезли без следа; и даже сам брат Роберт, недоверчивый служитель Творца, видя, как под его окном проходит эта веселая кавалькада, разгладил свой насупленный лоб и гордо провел рукой по бороде.

Андрей намеревался несколько дней поохотиться между Капуей и Аверсой и вернуться в Неаполь не ранее, чем все будет готово для его коронации. Соответственно, в первый день охотились близ Мелито и миновали две-три кампанские деревушки. К вечеру двор остановился на ночлег в Аверсе, а поскольку в те времена в городе не было замка, достойного дать пристанище королеве и ее супругу с их многочисленной свитой, в королевский приют был преображен монастырь Сан-Пьеро в Манджелле, выстроенный Карлом II в год 1309-й от Рождества Христова.

Покуда верховный сенешаль отдавал распоряжения насчет ужина и требовал поскорее приготовить покои для Андрея и его жены, принц, который весь день под палящим солнцем со страстью, присущей юности, предавался своему любимому развлечению, поднялся на террасу, чтобы подышать вечерним бризом вместе со своей доброй Изольдой, любимой кормилицей, которая, любя его больше матери, ни на мгновение с ним не расставалась. Принц был, казалось, оживлен и доволен, как никогда; он восхищался красотой природы, прозрачностью небес, ароматом листвы и засыпал кормилицу множеством вопросов, не заботясь об ответах, которые изрядно запаздывали, потому что бедная Изольда глядела на него с тем глубоким восхищением, которое делает матерей столь рассеянными, когда они любуются своими детьми. Андрей пылко толковал об ужасном кабане, которого гнал утром по лесу, а потом поверг его, покрытого пеной, к своим ногам, а Изольда перебивала его, говоря, что у него в уголке глаза соринка. Андрей строил планы на будущее, а Изольда, гладя его по белокурым волосам, заботливо замечала, что он, должно быть, сильно притомился. Молодой принц, весь во власти восторга, говорил, что хочет бросить вызов судьбе, и мечтал об опасностях, чтобы побороться с ними, а бедная кормилица, заливаясь слезами, восклицала: «Вы больше меня не любите, дитя мое!»

Андрея рассердило, что она то и дело его перебивает, и он ласково побранил ее и высмеял за детские страхи. Потом,

безотчетно отдаваясь во власть нежной меланхолии, которая мало-помалу им овладела, он стал требовать у нее все новых и новых подробностей о своем детстве и долго беседовал с ней о своем брате Людовике, об уехавшей матери, и, когда вспомнил о прощании с нею, на глаза ему навернулись слезы. Изольда слушала его с радостью, с готовностью отвечала на все вопросы, но никакое предчувствие не шевельнулось у нее в сердце; бедная женщина любила Андрея всеми силами души, она отдала бы за него жизнь на земле и вечное блаженство на небе, но она не была ему матерью!

Когда все было готово, Роберт Кабанский пришел уведомить принца, что королева его ожидает; Андрей бросил последний взгляд на живописные поля, на которые ночь набросила усеянное звездами покрывало, поднес руку кормилицы к губам и сердцу, а затем медленно и словно с сожалением пошел за верховным сенешалем. Но вскоре огни, сиявшие в зале, вина, которые лились рекой, веселые речи, пылкие рассказы о дневных подвигах развеяли грусть, которая на мгновение омрачила чело принца. Только королева, облокотясь на стол, устремив в пространство неподвижный взгляд, плотно сжав губы, сидела на этом странном пиршестве, бледная и холодная, как зловещий призрак, вставший из могилы, чтобы нарушить веселье пирующих. Андрей, чей рассудок помрачился под влиянием кипрского и сиракузского вина, возмутился тем, как ведет себя его жена, приписав ее манеру презрению; он налил кубок до краев и поднес его королеве.

Иоанна заметно содрогнулась, и губы ее судорожно искривились, но заговорщики звонкими восклицаниями заглушили невольный ропот, который вырвался у нее из груди. Посреди всеобщей неразберихи Роберт Кабанский предложил обильно угостить теми же винами, какие подавались к королевскому столу, венгерскую стражу, которая несла караул на подступах к монастырю, и эта необычная щедрость была встречена бурными рукоплесканиями. Вскоре крики солдат, свидетельствовавших свою признательность за столь неожиданное великодушие, смешались с приветственными криками пирующих. Чтобы окончательно одурманить принца винными парами, все то и дело восклицали: «Да здравствует королева! Да здравствует его величество король Неаполитанский!»

Оргия затянулась далеко за полночь; все с восторгом говорили об удовольствиях, которые предстоят им на другой день, и Бертран д'Артуа заметил вслух, что после такого позднего застолья едва ли все сумеют проснуться вовремя. Андрей объявил, что ему-то будет довольно часа или двух отдыха, чтобы полностью оправиться от усталости, и что он от души желает, чтобы все прочие последовали его примеру. Граф Терлицци со всей почтительностью усомнился в том, что принц окажется столь точен. Принц запротестовал и бросил вызов всем присутствующим баронам, утверждая, что встанет раньше всех; затем он вместе с королевой удалился в отведенные им покои, где вскоре забылся тяжелым глубо-

ким сном. Около двух часов ночи Томмазо Паче, камердинер принца и первый страж королевских покоев, постучался в дверь к своему хозяину, чтобы будить его на охоту. Ответом на первый стук была тишина; на второй Иоанна, не смыкавшая глаз всю ночь, шевельнулась, словно желая встряхнуть мужа и предупредить о грозящей ему опасности; по третьему стуку несчастный юноша резко пробудился и, слыша в соседней комнате смех и шушуканье, убежденный, что его лень дала повод к насмешкам, соскочил с постели – с непокрытой головой, одетый в одну рубашку, едва обутый – и отворил дверь. Далее приводим слово в слово рассказ Доменико Гравины, одного из наиболее достоверных хроникеров.

Едва показался принц, заговорщики набросились на него все разом, чтобы задушить голыми руками, – ведь он не мог погибнуть ни от стали, ни от яда благодаря кольцу, которое дала ему его несчастная мать. Но Андрей был силен и проворен; видя бесчестную измену, он стал защищаться с нечеловеческой силой; испуская страшные вопли, он вырывался из рук убийц; лицо его кровоточило, из головы были выдраны клочья белокурых волос. Несчастный юноша попытался вернуться к себе в опочивальню, чтобы взять оружие и дать мужественный отпор убийцам, но нотариус Никколо ди Мелаццо подбежал к двери, просунул свой кинжал наподобие засова в скобы замка и помешал ему войти. Принц, по-прежнему крича и призывая себе на помощь своих верных слуг, вернулся в залу, но все двери были заперты, и никто не спе-

шил ему на подмогу; королева молчала, нисколько не заботясь о том, что ее мужа убивают.

Между тем кормилица Изольда, до которой донеслись вопли ее любимого питомца и господина, вскочила с постели и, подбежав к окну, огласила дом душераздирающими криками. Хотя место было безлюдное и так удалено от центра города, что некому было прибежать на шум, все же предатели, испуганные криком, который она подняла, уже готовы были выпустить свою жертву, но тут Бертран д'Артуа, чувствуя за собой бóльшую вину, чем остальные, и одержимый сатанинской яростью, изо всех сил обхватил принца и после отчаянной борьбы повалил на землю, а потом выволок его за волосы на балкон, выходивший в сад, и, придавив ему грудь коленом, вскричал, обращаясь к остальным:

– Ко мне, бароны! У меня есть чем его удавить!

И он накинул ему на шею бело-золотую ленту; несчастный между тем отбивался изо всех сил, но Бертран проворно завязал узел, а другие, перекинув тело через парапет балкона, оставили его так болтаться между небом и землей, пока он не задохнулся насмерть. Граф Терлицци в ужасе отвел глаза от зрелища этой страшной агонии, и Роберт Кабанский повелительно крикнул ему:

– Что вы мешкаете, кузен? Веревка достаточно длинна, и каждый из нас может за нее подержаться: нам нужны не свидетели, а сообщники.

Едва затихли последние содрогания умирающего, труп

его был сброшен с высоты трех этажей, двери в залу отворены, и убийцы разошлись как ни в чем не бывало.

Изольда наконец раздобыла огня, поспешно поднялась в опочивальню королевы и, найдя дверь запертою изнутри, принялась во весь голос звать своего мальчика. Никакого ответа; но королева между тем была в опочивальне! Растрепанная, потерявшая голову кормилица, дрожа, прошла по всем переходам, стуча во все кельи, перебудила всех монахов, одного за другим, и стала умолять их поискать принца вместе с ней. Монахи отвечали, что в самом деле слышали шум, но думали, что это ссорятся пьяные или мятежные солдаты, и не сочли нужным вмешиваться. Изольда настаивала, упрашивала их все горячее; по монастырю распространилась тревога; отшельники потянулись следом за кормилицей, которая шла впереди со светильником. Она вышла в сад; заметила на траве что-то белое, трепеща, подошла поближе, испустила пронзительный вопль и упала ничком.

Несчастный Андрей лежал в луже крови, на шее веревка, как у вора, голова разбита от падения с высоты. Тогда двое монахов поднялись в покои королевы и, почтительно постучавшись в двери, спросили у нее заунывными голосами:

– Ваше королевское величество, что прикажете делать с трупом вашего супруга?

Королева не отвечала, и тогда они спустились в сад и, преклонив колена – один в головах, а другой в ногах покойного, – принялись тихими голосами читать покаянные псалмы.

Они молились час, затем два других монаха вновь поднялись к дверям опочивальни и повторили тот же вопрос, но Иоанна снова не дала ответа; тогда эти двое сменили первых монахов и тоже стали молиться. Наконец третья пара монахов выросла у дверей неумолимой опочивальни, и когда они тоже вернулись, удрученные тем, что их обращение не возымело успеха, народ вокруг монастыря возмутился, и из смятенной толпы стали раздаваться негодующие крики. Толпа все густела, в голосах слышалось все больше угроз, людской поток готов был захлестнуть монастырь, послуживший пристанищем королеве, как вдруг появилась королевская стража, вооруженная копьями, а затем пораженную, изумленную толпу пересекли наглухо закрытые носилки, окруженные наиболее влиятельными придворными баронами. Иоанна, укутанная черным покрывалом и окруженная эскортом, направилась в Кастельнуово, и ни одна душа, как утверждают историки, не осмелилась более заговорить с ней об этой смерти.

Но ужасная роль Карла Дураццо должна была начаться немедля после преступления. Герцог на два дня бросил на ветру и под дождем без почестей и погребения останки человека, которого папа римский уже нарек королем Сицилии и Иерусалима, дабы это жалкое зрелище разжигало гнев толпы. Затем, на третий день, он велел с величайшими почестями перевезти убитого в неаполитанский собор и, собрав вокруг катафалка всех венгров, вскричал громовым голосом:

– Дворяне и простолюдины, вот наш король, подло заду-

шенный бесчестными предателями. Бог не замедлит открыть нам имена всех преступников. Пускай те, кто желает, чтобы свершилось правосудие, поднимут руку и поклянутся обрушить на убийц кровавую кару, беспощадную ненависть, вечную месть!

В ответ грянул единодушный крик, поселивший отчаяние и страх в сердцах заговорщиков, и народ рассеялся по городу, восклицая: «Мщение! Мщение!»

Божественное правосудие, не ведающее привилегий и не испытывающее трепета перед коронами, настигло сначала Иоанну и ее любовь. Стоило влюбленным увидеться, их обоих охватил ужас и отвращение, и они отшатнулись друг от друга: королева увидела в нем лишь палача ее мужа, а он в ней – причину своего злодейства и, быть может, неминуемого наказания. На лице у Бертрана д'Артуа запечатлелось смятение, щеки ввалились, глаза были обведены свинцово-серыми тенями; когда перед ним возникло чудовищное видение, рот его мучительно искривился, рука с указующим перстом простерлась вперед. Лента, которой он удавил Андрея, виделась теперь ему на шее у королевы; она была затянута так туго, что врезалась в тело, и какая-то невидимая сила, какое-то дьявольское внушение побуждало его, Бертрана, своими руками удавить эту женщину, которую он так любил, которую когда-то обожал, преклоняясь перед нею. Граф бросился вон из комнаты, в отчаянии размахивая руками и произнося бессвязные слова; поскольку в нем заметны были признаки ду-

шевной болезни и безумия, отец его, Карл д'Артуа, увел его с собой, и в тот же вечер оба уехали в свое поместье в Санта-Агату и стали укреплять замок на случай нападения.

Но мука Иоанны, медленная и чудовищная мука, которой предстояло длиться тридцать семь лет и завершиться ужасной смертью, только началась. Все злодеи, запятнавшие себя кровью Андрея, явились к ней один за другим и потребовали платы за убийство. Катанийка и ее сын, ныне державшие в руках не только честь, но и самое жизнь королевы, удвоили алчность и требовательность; донна Конча не знала удержу в разгуле, а императрица Константинопольская потребовала у племянницы, чтобы та вышла замуж за ее старшего сына Роберта, принца Тарантского. Иоанна, терзаемая угрызениями совести, снедаемая возмущением, униженная спесью своих подданных, снизошла к уговорам и ограничилась тем, что попросила несколько дней отсрочки; императрица согласилась с условием, что ее сын поселится в Кастельнуово и получит разрешение видеть королеву, и Роберт Тарантский обосновался во дворце.

Со своей стороны, Карл Дураццо, который после смерти Андрея стал чуть ли не главой семьи и который по завещанию старого короля в случае, если Иоанна умрет, не оставив законных детей, становился через свою жену Марию наследником королевской короны, объявил королеве два требования: во-первых, чтобы она не смела вступать в новый брак, не испросив у него совета в выборе супруга; во-вторых, что-

бы она немедля пожаловала его титулом герцога Калабрийского, а чтобы подвигнуть кузину на эту двойную жертву, он добавил, что в случае, если она намерена отказать ему в какой-либо из этих просьб, он представит правосудию доказательства преступления и имена злодеев. Иоанна, поникнув под тяжестью этого нового бедствия, не видела способа его избежать, но Екатерина, которая одна ощущала в себе силы бороться против своего племянника, отвечала, что следует сбить спесь с герцога Дураццо и развеять его надежды, объявив, прежде всего, что королева ожидает ребенка, что было чистой правдой, а если, несмотря на это известие, он будет упорствовать в своих планах, тогда уж она берется найти способ посеять в семье племянника смятение и раздоры, чтобы уязвить его в самых заветных привязанностях или интересах и публично опозорить в глазах жены и матери.

Карл холодно улыбнулся, когда тетка явилась к нему и сообщила от имени королевы, что Иоанна готовится стать матерью и что отец ребенка – Андрей. В самом деле, какое значение мог иметь еще не рожденный младенец, который и впрямь прожил всего несколько месяцев, в глазах человека, который с поразительным хладнокровием, подчас с помощью своих недругов, избавлялся от всех, кто оказывался препятствием у него на пути? Он ответил императрице, что радостная весть, которую он имел честь услышать из ее уст, не только не уменьшает его снисходительности к кузине, но, напротив, обязывает его отнестись к Иоанне с еще большей

добротой и большим вниманием; а посему он настаивает на своем предложении и подтверждает обещание не мстить ей за смерть любезного Андрея, тем более что если родится ребенок, значит, преступление словно бы не вполне удалось; но в случае отказа он будет неумолим. Он искусно намекнул Екатерине Тарантской, что она также замешана в убийстве принца, а потому ей самой было бы выгодно уговорить королеву не доводить дело до судебного разбирательства.

Императрица, судя по всему, не осталась безучастна к угрозам племянника и пообещала ему сделать все возможное, чтобы убедить королеву уступить всем его притязаниям, однако с условием, чтобы Карл дал ей время, достаточное для исполнения столь деликатного поручения. Но Екатерина воспользовалась отсрочкой, которой сумела добиться у честолюбивого герцога Дураццо, чтобы обдумать мщение и обеспечить себе средства для верного успеха. После нескольких планов, за которые она с восторгом хваталась, а потом с сожалением отвергала их, она остановилась наконец на адском неслыханном замысле, – разум отказался бы в него поверить, если бы его не удостоверяли все историки как один. Уже несколько дней бедная Агнесса Дураццо страдала от загадочного недомогания, и, быть может, беспокойный, вспыльчивый нрав ее сына был не последней причиной ее коварной и мучительной хвори. И вот императрица решила обрушить на несчастную мать первые последствия своей ненависти. Она призвала графа Терлицци и его любовницу

донну Кончу, а поскольку эта последняя по приказу королевы ходила за Агнессой во время ее болезни, Екатерина подговорила молодую статс-даму, которая тогда была беременна, подменить мочу больной своею собственной, дабы врач, обманувшись этой уликой, открыл Карлу Дураццо вину и бесчестье его матери. С тех пор как граф приложил руку к цареубийству, он жил в постоянном страхе перед доносом и ни в чем не смел перечить воле императрицы, а донна Конча, чье легкомыслие не уступало развращенности, была вне себя от радости, что подвернулся случай сквитаться с добродетельной принцессой крови, которая одна хранила строгость нравов посреди двора, славившегося своей испорченностью. Заручившись согласием сообщников и их молчанием, Екатерина распустила смутные и неправдоподобные слухи, которые, однако, могли бы обернуться смертельной опасностью в случае, если бы обнаружились доказательства; гнусное обвинение пошло передаваться из уст в уста и наконец достигло ушей Карла.

Услыхав это чудовищное разоблачение, герцог содрогнулся, немедля призвал к себе домашнего лекаря и строго спросил у него, каковы причины недомогания его матери. Лекарь побледнел, смешался, но, подгоняемый угрозами Карла, признался: у него есть основания подозревать, что герцогиня беременна, но, поскольку в первый раз он мог ошибиться, то, прежде чем вынести суждение по столь серьезному поводу, он хотел бы произвести вторичную проверку. На

другой день, когда лекарь выходил из спальни Агнессы, герцог налетел на него и не успел задать ему вопрос, как по боязливому жесту и молчанию лекаря понял, что его опасения более чем справедливы. Однако лекарь, вооружась чрезмерной осторожностью, объявил, что желает произвести третью проверку. Для грешников в аду время не тянется так долго, как тянулось оно для Карла до того мгновения, когда он обрел уверенность в том, что мать его виновна. На третий день врач от всего сердца и с чистой совестью подтвердил, что Агнесса Дураццо беременна.

– Хорошо, – сказал Карл и отослал лекаря, не выказав ни малейшего волнения.

Вечером герцогине дали снадобье, прописанное лекарем, но спустя полчаса у нее начались нестерпимые боли; герцога известили о том, что следует, быть может, пригласить других врачей, поскольку лекарство, назначенное обычным доктором, не только не облегчает состояния больной, но и привело к ухудшению.

Карл не спеша поднялся к герцогине и отослал всех, кто находился у ее одра, под тем предлогом, что их неловкость только усугубляет страдания матери; он запер дверь и остался наедине с ней. Бедная Агнесса при виде сына забыла о боли, разрывавшей ей внутренности, нежно сжала руку сына и сквозь слезы улыбнулась ему.

Карл, у которого на лбу выступил холодный пот, лицо из медно-красного стало серым, а зрачки угрожающе расшири-

лись, склонился к больной и угрюмо спросил:

– Ну, матушка, вам уже полегчало немного?

– Ох, мне больно, мне ужасно больно, мой бедный Карл! У меня словно расплавленный свинец течет по жилам. О сын мой, созови братьев, чтобы я дала вам свое последнее благословение, потому что я недолго вынесу эту муку. Я горю! Ох, сжалься надо мной, скорее позови лекаря: я отравлена.

Карл застыл у ее изголовья.

– Воды! – пресекающимся голосом твердила умирающая. – Воды! Врача, исповедника, детей! Я хочу видеть детей!

Но герцог бесстрастно стоял на месте и молчал; бедная мать подумала, что сын от горя утратил дар речи и способность двигаться, и, хотя страдания изнурили ее, она отчаянным усилием воли села в кровати и, тряхнув его за руку, вскричала из последних сил:

– Карл, сын мой! Что с тобой? Бедное моя дитя, мужайся: надеюсь, все обойдется, но поспеши, позови на помощь, позови моего лекаря. О, ты не можешь вообразить, как я страдаю!

– Ваш лекарь, – холодно и медленно отвечал Карл, и каждое его слово впивалось в душу матери, словно удар кинжала, – ваш лекарь не может прийти к вам.

– Почему? – в ужасе спросила Агнесса.

– Тот, кто владел тайной нашего позора, не должен был остаться в живых.

– Несчастный! – возопила умирающая, вне себя от страха и горя. – Вы его убили. Вы, быть может, отравили вашу мать! О Карл, Карл! Да будет с тобой милость Божья!

– Вы сами того хотели, – глухо откликнулся Карл, – вы сами толкнули меня на злодейство и отчаяние; вы причина моего бесчестья в этом мире и моей погибели в мире ином.

– Что вы говорите? Карл, смилуйтесь, не допустите, чтобы я умерла в этом чудовищном неведении! Какое роковое заблуждение вас ослепляет? Говорите же, говорите, сын мой: я уже не чувствую убивающей меня отравы. Что я вам сделала? В чем меня обвиняют?

И она окинула сына растерянным взглядом, в котором материнская любовь еще боролась с жестокой мыслью о матереубийстве; потом, видя, что Карл молчит, несмотря на все ее мольбы, она повторила с душераздирающим стоном:

– Говорите! Во имя неба, говорите же, пока я еще не умерла!

– Вы беременны, матушка!

– Я? – возопила Агнесса, и, казалось, этот пронзительный вопль раздирает ей грудь. – Боже, смилуйся над ним! Карл, твоя мать прощает и благословляет тебя, умирая.

Карл бросился ей на шею, отчаянным голосом взывая о помощи, теперь он был бы рад спасти ее ценой собственной жизни, но было уже поздно. Он испустил стон, который шел из самой глубины его души, и упал на труп матери. Так его и нашли.

Смерть герцогини Дураццо и исчезновение ее лекаря вызвали при дворе странные толки; но никто не подвергал сомнению мрачную скорбь, которая углубила морщины на лбу Карла, и прежде столь насупленном. Одна Екатерина поняла, как на самом деле ужасно горе ее племянника: ей было ясно, что герцог убил лекаря и отравил мать. Но она не ожидала, что человек, не отступающий ни перед каким преступлением, так внезапно и жестоко раскается. Она полагала, что Карл способен на все, кроме угрызений совести. В его лютой и самозабвенной скорби ей виделось дурное предзнаменование. Она хотела ввергнуть племянника в домашние неурядицы, чтобы ему было недосуг препятствовать браку ее сына с королевой; но она достигла большего, чем добивалась, и Карл, которого пагубный шаг привел на стезю преступления, оборвал все самые священные узы и с лихорадочным пылом, с ненасытной жаждой мести предался самым дурным страстям.

Тогда Екатерина попыталась пустить в ход почтительность и мягкость. Она дала понять сыну, что ему осталось единственное средство добиться руки королевы: льстить самолюбию Карла и, так сказать, ввериться его покровительству. Роберт Тарантский понял положение дел: он перестал оказывать знаки внимания Иоанне, которая принимала его усердие с доброжелательным безразличием, и принялся ходить по пятам за своим кузеном. Он оказывал Карлу почтение и внимание, какие тот оказывал Андрею в те времена,

когда задумал его погубить. Но герцог Дураццо не обманулся знаками дружбы и преданности, которые оказывал ему глава Тарантского дома: он притворился, будто весьма тронут этой нежданно ожившей приязнью, а сам зорко следил за хлопотами Роберта.

Расчеты обоих кузенов были опрокинуты событием, коего никто на свете не мог предвидеть. Однажды, когда оба они отправились на прогулку верхом, что вошло у них в обычай со времени их лицемерного примирения, Людовик Тарантский, самый младший брат Роберта, который всегда любил Иоанну рыцарственной и простодушной любовью, пряча ее, как сокровище, в глубине сердца, что так естественно для двадцатилетнего юноши, прекрасного, как день, – так вот, Людовик, который оставался в стороне от бесчестного заговора своих родных и не был запятнан кровью Андрея, поддался внезапному порыву страсти, явился к воротам Кастельнуово, и, покуда его брат тратил драгоценные мгновения, добиваясь согласия на брак, он приказал поднять мост и грозно повелел солдатам никому не отворять. Далее, нисколько не заботясь о ярости Карла и ревности Роберта, он ринулся в покои королевы и там, как утверждает Доменико Гравина, без лишних разговоров овладел королевой.

По возвращении с прогулки Роберт Тарантский удивился, почему перед ним немедленно не опускают мост; сперва он зычно окликнул солдат, охранявших крепость, и стал грозить им строгой карой за столь непростительную небреж-

ность; но поскольку ворота замка по-прежнему не отворялись, а в солдатах не заметно было ни страха, ни раскаяния, принца обуял страшный гнев, и он поклялся, что мерзавцы, не пускающие его домой, будут повешены, как собаки. Тем временем императрица Константинопольская, боясь, что между братьями вот-вот вспыхнет кровавая распря, одна, пешком, вышла навстречу сыну и, используя свою материнскую власть, попросила его умерить свое негодование в присутствии толпы, которая уже набежала поглазеть на столь странное зрелище, а затем, понизив голос, поведала ему, что случилось в его отсутствие.

Роберт взревел, как раненый тигр, и, ослепленный бешенством, чуть не растоптал мать копытами своего коня, который, словно разделяя гнев хозяина, яростно взвился на дыбы, и ноздри его покрылись кровавой пеной. Изрыгнув на голову брата все мыслимые проклятия, принц дернул поводья и галопом поскакал прочь от проклятого дворца прямо к герцогу Дураццо, с которым едва успел распроститься; он спешил донести о нанесенном оскорблении и потребовать возмездия.

Карл непринужденно беседовал со своей молодой женой, которая вовсе не приучена была к столь мирным беседам и столь доверительным излияниям; тут явился измученный, запыхавшийся, покрытый потом принц Тарантский со своим известием, в которое с трудом верилось. Карл заставил его дважды кряду повторить рассказ, настолько немыслимой

ему казалась дерзкая затея Людовика. Затем, внезапно перейдя от сомнения к ярости и хлопнув себя по лбу рукой в железной перчатке, он вскричал, что королева, дескать, бросила ему вызов, но он заставит ее трепетать в стенах ее дворца и объятиях любовника; и, бросив тяжелый взгляд на Марию, которая со слезами молила за сестру, он крепко сжал руку Роберта и пообещал ему, что, покуда он жив, Людовику не быть мужем Иоанны.

В тот же вечер он заперся у себя в кабинете и отправил письма к Авиньонскому двору; последствия этих писем не замедлили сказаться. Бертрану де Бо, графу Монте-Скальозо, верховному юстициарию Королевства Сицилия, была направлена булла, помеченная 2 июня 1346 года, с приказом произвести тщательнейшее дознание об убийцах Андрея, коим папа объявлял анафему, и покарать их по всей строгости закона. Однако к этой булле была приложена секретная бумага, резко противоречащая намерениям Карла; в ней папа особо наказывал верховному юстициарию не привлекать к суду ни королеву, ни принцев крови, чтобы избежать великих потрясений; как высший князь церкви и сеньор королевства, папа намеревался со временем судить их сам, по своему разумению.

Бертран де Бо обставил этот ужасный суд с огромной пышностью. В большой зале суда был возведен помост, и все офицеры короны, все высшие сановники государства, все главные бароны королевства расселись позади загородки, за

которой помещались судьи. Через три дня после того, как в столице была обнародована булла Климента VI, верховный юстициарий уже успел приступить к публичному допросу двоих обвиняемых. Первыми виновниками, угодившими в руки правосудия, были, как можно себе представить, люди не слишком высокопоставленные, чья жизнь не представляла большой ценности, – Томмазо Паче и мессир Никколо ди Мелаццо. Они предстали перед судом, чтобы, как это было принято, подвергнуться предварительной пытке. Когда нотариуса вели на суд, он, проходя по улице мимо Карла, успел ему потихоньку сказать:

– Ваша светлость, для меня настало время расстаться ради вас с жизнью; я исполню свой долг; поручаю вам свою жену и детей.

И, ободренный кивком своего покровителя, он пошел далее твердой поступью и с непринужденным видом. Верховный юстициарий, удостоверив личность обвиняемых, вверил их палачу и его подручным, чтобы те подвергли их пытке на площади, что должно было послужить зрелищем и назиданием толпе. Но один из обвиняемых, Томмазо Паче, не успели его связать, объявил, к великому разочарованию толпы, что готов во всем сознаться, и попросил, чтобы его немедленно отвели к судьям. При этих словах граф Терлицци, который в смертельной тревоге следил за каждым движением обвиняемых, решил, что он погиб, а вместе с ним все сообщники, и в тот миг, когда Томмазо Паче со связанными за спиной

руками в сопровождении двух стражников шел впереди нотариуса в залу суда, граф, пользуясь своей властью, крепко сдавил ему горло, тот высунул язык, и он отхватил ему язык бритвой.

Вопли несчастного, который был так нещадно изувечен, достигли слуха герцога Дураццо; он проник в комнату, где свершился этот варварский поступок, в тот миг, когда оттуда выходил граф Терлицци, и приблизился к нотариусу, который присутствовал при этом жестоком зрелище, не обнаруживая ни малейшего признака страха или беспокойства. Мессир Никколо ди Мелаццо, полагая, что ему уготована та же участь, бестрепетно повернулся к герцогу и сказал ему с печальной улыбкой:

– Ваша светлость, предосторожности были бы излишни: вам незачем отрезать мне язык, как отрезал высокородный граф моему товарищу по несчастью. Меня скорее разорвут на куски, чем из уст моих вырвется хоть единое слово; я вам это обещал, и порукой моего слова служат жизнь моей жены и будущее детей.

– Я прошу не о молчании, – угрюмо ответил герцог, – напротив, своими разоблачениями ты можешь избавить меня разом от всех врагов, и я приказываю тебе донести о них суду.

Нотариус понурился в горестном смирении; потом, с внезапным страхом подняв голову, он шагнул к герцогу и сдавленным голосом прошептал:

– А королева?

– Если ты осмелишься на нее донести, тебе не поверят; но если на нее дружно покажут, не вынеся пытки, те, на кого ты донесешь, – Катанийка и ее сын, граф Терлицци и его жена, самые близкие к ней люди…

– Понимаю, ваша светлость: вам нужна не только моя жизнь, но и моя душа. Что ж, повторяю: я поручаю вам моих детей.

И с глубоким вздохом он пошел в залу, где заседал суд. Верховный юстициарий обратился к Томмазо Паче; когда же несчастный с отчаянным видом раззявил окровавленный рот, собрание содрогнулось от ужаса. Но изумление и страх достигли предела, когда мессир Никколо ди Мелаццо медленным, твердым голосом назвал одного за другим всех убийц Андрея, кроме королевы и принцев крови, и во всех подробностях поведал об убийстве принца.

Верховный сенешаль Роберт Кабанский, а также графы Терлицци и Морконе, которые находились в зале и не смели сделать ни единого движения в свою защиту, тут же были арестованы. Через час в тюрьму были препровождены также Филиппа, две ее дочери и донна Конча, напрасно молившие королеву о защите. Что до Карла и Бертрана д'Артуа, они укрылись в своей крепости в Санта-Агате и бросили вызов правосудию; а другие заговорщики, в числе которых находились граф Милето и граф Катандзаро, были вынуждены бежать.

Как только мессир Никколо объявил, что более ему не в чем признаваться, что он рассказал суду всю правду и чистую правду, верховный юстициарий среди гробовой тишины произнес приговор; а затем, без промедления, Томмазо Паче и нотариуса привязали к хвостам коней, которые проволокли их по главным улицам города, и, наконец, обоих преступников повесили на рыночной площади.

Других арестованных бросили в глубокое подземелье, дабы на следующий день подвергнуть их допросу и пытке; вечером, очутившись вместе в каменном мешке, они стали осыпать друг друга упреками: каждый уверял, что в преступление его вовлекли другие, но тут донна Конча, чей причудливый нрав не изменился даже перед пыткой и смертью, заглушила жалобы своих сотоварищей взрывом смеха и весело воскликнула:

– Полно, дети мои, к чему столь горькие упреки и столь неучтивые взаимные обвинения! Оправдания нам нет, все мы одинаково виноваты. Что до меня, то я, которая моложе вас всех и, с позволения дам, недурна собой, если меня приговорят, умру ублаготворенная, потому что не отказывала себе в этом мире ни в единой радости; и могу похвастать, что мне многое простится, ибо я много возлюбила, – уж вам-то об этом кое-что известно, господа. А ты, старый злыдень, – продолжала она, обратясь к графу Терлицци, – не помнишь разве, как переспал со мной в передней королевы? Ну, не красней перед своим высокородным семейством; по-

кайтесь, сударь, вы же знаете, что я беременна от вашего сиятельства; вы знаете, каким образом мы уличили в беременности бедняжку Агнессу Дураццо, Господь упокой ее душу! Не думала я, что шутка выйдет нам боком, да так скоро; вы все об этом знаете да и о многом другом тоже; хватит вам жаловаться – это уже становится невыносимо скучно, и давайте лучше приготовимся умереть так же весело, как пожили.

С этими словами юная статс-дама легонько зевнула, опустилась на солому и крепко заснула, и сны ей снились самые что ни на есть приятные.

На другой день, едва рассвело, берег моря заполонила огромная толпа. За ночь был выстроен громадный частокол, который должен был удерживать народ на таком расстоянии, чтобы люди видели осужденных, но не слышали их голосов. Близ ограды во главе блестящего кортежа рыцарей и пажей верхом на великолепном скакуне гарцевал Карл Дураццо, весь в черном в знак траура. Когда осужденные со связанными руками по двое проходили сквозь толпу, его лицо озарила свирепая радость, поскольку герцог ждал, что с их губ с минуты на минуту сорвется имя королевы. Но верховный юстициарий, человек ловкий и находчивый, предупредил любую нескромность такого рода, прицепив к языку каждого из осужденных рыболовный крючок. Несчастных подвергли пытке на мачте одной из галер, и никто не услышал ни слова из ужасных признаний, которые исторгла у них боль.

Между тем Иоанна, несмотря на то что большая часть

ее сообщников так перед ней провинилась, вновь поддалась чувству жалости к женщине, которую почитала как родную мать, к подругам детства, к приятельницам, а может быть, в ней шевельнулись и остатки любви к Роберту Кабанскому; она отправила двух гонцов, дабы умолить Бертрана де Бо пощадить преступников; но верховный юстициарий схватил посланцев королевы и подверг их пытке; а поскольку они сознались в том, что также участвовали в убийстве Андрея, он приговорил их к той же казни, что и остальных. Одна донна Конча, ввиду беременности, избежала допроса с пристрастием, и приговор ей был отсрочен до времени родов.

И вот на обратном пути в тюрьму, посылая улыбки самым красивым кавалерам, каких замечала в толпе, пригожая статс-дама прошла мимо Карла Дураццо и подала ему знак приблизиться; поскольку в силу той же привилегии в язык ее не была воткнута проволока, она, понизив голос, что-то ему сообщила.

Карл страшно побледнел и, схватясь за меч, воскликнул:

– Мерзавка!

– Вы забываете, ваша светлость, что я нахожусь под защитой закона.

– О матушка! Бедная матушка! – сдавленным голосом пробормотал Карл и упал навзничь.

На следующее утро народ, поднявшийся раньше палачей, стал требовать жертвы. Все отечественные и наемные войска, какими только располагали судебные власти, выстрои-

лись на улицах, сдерживая напор толпы. В людях пробудилась ненасытная жестокость, которая столь часто позорит человеческую натуру, ненависть, жажда крови и мщения кружили всем головы; сбившиеся в кучки мужчины и женщины ревели, словно дикие звери, и угрожали сокрушить стены тюрьмы, если им не позволят проводить приговоренных к месту казни, ровный, несмолкаемый гул вскоре перешел в громовые раскаты и заставил сердце королевы сжаться от ужаса.

Как ни старался Бертран де Бо, граф Монте-Скальозо, поскорее ублаготворить народ, приготовления к торжественной экзекуции были закончены лишь к полудню, в час, когда солнце уже залило жгучими лучами весь город. Едва по толпе пробежала весть о том, что преступников вот-вот выведут, как раздался тысячеголосый крик, тут же сменившийся мгновением тишины, в которой послышался скрежет ржавых петель: ворота тюрьмы стали медленно отворяться. Сначала тремя шеренгами из них выехали всадники с опущенными забралами и копьями наперевес, за ними под крики и проклятия толпы показались тележки: к каждой был привязан обнаженный до пояса преступник, рядом с каждой шли два палача, которым было поручено пытать осужденного на всем протяжении пути. На первой тележке везли бывшую прачку из Катании, ставшую супругой великого сенешаля и воспитательницей королевы, госпожу Филиппу Кабанскую; два палача, державшиеся чуть позади, слева и справа, биче-

вали ее с такой яростью, что за тележкой тянулся длинный кровавый след.

Далее следовали тележки с ее дочерьми, графинями Терлицци и Морконе, старшей из которых было всего девятнадцать лет. Сестры были столь хороши собою, что по толпе зрителей пролетел шепоток восхищения; жадными взглядами они пожирали обнаженные и дрожащие тела девушек. Но их роскошные и прельстительные формы заставляли палачей лишь свирепо ухмыляться: с помощью бритв они со сладострастной медлительностью отрезали кусочки этой восхитительной плоти и бросали в толпу, которая алчно набрасывалась на них, а потом указывала палачам наиболее предпочтительные места на телах несчастных жертв.

Роберта Кабанского, великого сенешаля королевства, графов Терлицци и Морконе, Раймондо Паче, брата камердинера, казненного два дня назад, равно как и остальных приговоренных, также везли на тележках, пытая плетьми и бритвами; кроме того, палачи раскаленными клещами рвали их тела и бросали куски мяса на дымящиеся жаровни. На протяжении всего пути великий сенешаль ни разу не вскрикнул от боли, ни разу не шелохнулся под плетью или клещами, хотя палачи его действовали с таким усердием, что бедняга умер еще до прибытия на место казни.

На площади Сант-Элиджо был разведен громадный костер – сюда привезли осужденных и стали бросать в огонь останки изуродованных тел. Граф Терлицци и вдова вели-

кого сенешаля были еще живы; из глаз несчастной матери покатились кровавые слезы, когда она увидела, как летят в огонь труп ее сына и изуродованные, трепещущие тела обеих дочерей, стоны которых указывали на то, что в них еще теплились остатки жизни. Внезапно, заглушая хрипы жертв, толпа загудела, опрокинула ограждение, и самые неистовые с саблями, топорами и ножами в руках бросились к костру и, вытащив из пламени тела мертвых и еще живых осужденных, принялись кромсать их на куски, чтобы добраться до костей и на память об этом страшном дне сделать себе из них свистульки или рукоятки кинжалов.

Даже эта ужасная казнь не удовлетворила мстительного Карла Дураццо. При споспешестве верховного юстициария он каждый день учинял новые и новые казни, и вскоре гибель Андрея превратилась в предлог для официальной расправы со всеми, кто противился его намерениям. Однако Людовик Тарантский, уже завладевший душою Иоанны и стремившийся как можно скорее узаконить свой брак, теперь стал рассматривать как личное оскорбление все решения верховного суда, которые принимались вопреки его воле и представляли собою явное попрание прав королевы; поэтому, вооружив своих приспешников и увеличив их число за счет всяческих пройдох, каких только ему удалось подкупить, он сколотил отряд, достаточно сильный, чтобы защищать свои интересы и препятствовать действиям кузена. Неаполь, таким образом, оказался разделенным на два враждующих ла-

геря: по самому ничтожному поводу противники сразу хватались за оружие, и ежедневные стычки заканчивались, как правило, грабежом и убийствами.

Однако, чтобы платить наемникам и поддерживать непрекращающуюся борьбу с герцогом Дураццо и собственным братом Робертом, Людовику Тарантскому требовалось много денег, и в один прекрасный день он обнаружил, что сундуки королевы пусты. Иоанна впала в мрачное отчаяние, любовник старался утешить ее как мог, хотя при всей своей отваге и благородстве сам не знал, как ему удастся выбраться из этого сложного положения. Но тут его мать Екатерина, чье честолюбие ласкала мысль о том, что ее сын, неважно который, может оказаться на неаполитанском троне, неожиданно пришла к ним на помощь и торжественно заявила, что не пройдет и несколько дней, как она положит к ногам племянницы такие сокровища, о каких та, хоть она и королева, не могла даже мечтать.

Забрав у сына половину войска, Екатерина дошла до Санта-Агаты и осадила крепость, в которой скрывались от преследования властей Карл и Бертран д'Артуа. Старый граф, удивленный появлением женщины, которая была душою заговора, и не понимая смысла предпринятого ею враждебного шага, направил к ней гонцов, и те от его имени осведомились о цели вооруженного выступления. На этот вопрос Екатерина ответила буквально следующее:

– Дорогие мои, передайте от меня Карлу, нашему верно-

му другу, что мы желаем побеседовать с ним один на один о деле, интересующем нас обоих, и пусть появление наших войск его не тревожит, поскольку это сделано нами с целью, каковая будет открыта ему в ходе беседы. Нам известно, что подагра приковала его к постели, поэтому мы не удивляемся, что он не встречает нас самолично. Итак, благоволите приветствовать его от нашего имени и успокоить, а также передайте, что мы хотели бы с его позволения войти в замок вместе с мессиром Никколо Аччаджуоли, нашим личным советником, и десятью солдатами, чтобы переговорить о деле первостепенной важности, которое мы не можем доверить его посланцам.

После столь откровенных и дружеских объяснений Карл д'Артуа оправился от удивления и выслал к императрице сына Бертрана, чтобы тот встретил ее со всеми почестями, подобающими особе, столь высокородной и занимающей столь значительное положение при Неаполитанском дворе. С выражениями чистосердечной радости Екатерина вошла в замок, справилась у графа о его здоровье и, выразив ему свою сердечную дружбу, осталась с ним один на один, после чего таинственным шепотом объяснила, что цель ее визита – посоветоваться со столь умудренным опытом и летами человеком о делах в Неаполе и попросить его оказать поддержку королеве; однако поскольку она может пробыть в Санта-Агате сколь угодно долго, то почитает за лучшее дождаться выздоровления графа, а потом уже ввести его в курс событий,

происшедших после того, как он удалился от двора, и воспользоваться его просвещенными советами. В конце концов Екатерина завоевала доверие старика и так ловко усыпила его подозрения, что тот попросил оказать ему честь и оставаться в замке так долго, насколько позволят дела; все войско, таким образом, постепенно оказалось в стенах замка. Только этого Екатерине и было надо; в день, когда последний из ее солдат обосновался в Санта-Агате, она вместе с четырьмя солдатами ворвалась в спальню графа и, схватив его за горло, гневно воскликнула:

– Подлый предатель! Мы не выпустим тебя из рук, пока ты не понесешь заслуженную кару. А теперь показывай, где ты прячешь свои сокровища, ежели не хочешь, чтобы мы бросили твой труп на растерзание воронам, сидящим на донжонах твоей крепости.

Задыхающийся граф, к груди которого был приставлен кинжал, не смог даже позвать на помощь; упав на колени, он стал умолять императрицу пощадить хотя бы его сына, который не оправился еще от черной меланхолии, помутившей его рассудок после ужасной катастрофы, а затем, с трудом дотащившись до каморки с сокровищами, граф указал на них пальцем, всхлипывая и повторяя:

– Берите все, и мою жизнь в придачу, только пощадите сына!

Екатерина была вне себя от радости, увидев у своих ног изысканнейшие и драгоценнейшие вазы, ларцы с редкими

жемчугами, алмазами и рубинами, сундуки, полные золотых слитков, и прочие азиатские чудеса, которые не в силах представить себе даже самое богатое воображение. Старик дрожащим голосом продолжал умолять, чтобы взамен этих драгоценностей и его жизни сын был оставлен на свободе, но императрица с ледяной безжалостностью ответила:

– Я уже приказала привести вашего сына сюда, однако приготовьтесь распроститься с ним навеки, так как он будет отправлен в крепость Мельфи, а вы, по всей вероятности, окончите свои дни здесь, в Санта-Агате.

Бедняга граф так страдал от насильственной разлуки, что через несколько дней его нашли в темнице мертвым – с кровавой пеной на губах и искусанными от бессильной ярости руками. Бертран пережил отца ненадолго. При известии о смерти родителя умопомешательство его усугубилось, и он повесился на решетке окна в своей камере. Так убийцы Андрея умерщвляли друг друга, словно кровожадные звери, запертые в одной клетке.

Забрав столь честно добытые сокровища, Екатерина Тарантская, гордая победой, вернулась в Неаполь и принялась вынашивать обширные планы. Но в ее отсутствие на двор обрушились новые беды. Карл Дураццо, в очередной раз потребовав у королевы титул герцога Калабрийского, который искони принадлежал наследнику престола, и приведенный в ярость ее отказом, написал Людовику Венгерскому послание, в котором предлагал тому захватить Неаполитанское ко-

ролевство, обещал помочь всеми имеющимися в его распоряжении войсками и выдать главных виновников убийства его брата, которым до сих пор удавалось ускользнуть из рук правосудия.

Король Венгрии охотно откликнулся на это предложение и стал готовить войска для похода на Неаполь и мести за брата. Слезы его матери Елизаветы и советы брата Роберта, бывшего воспитателя Андрея, который жил теперь в Буде, только утвердили Людовика в его намерении отомстить. Он обратился в авиньонскую курию с горькой жалобой на то, что в Неаполе покарали лишь второстепенных пособников убийства, а главная зачинщица, до сих пор пребывая в возмутительной безнаказанности, запятнанная кровью собственного мужа, продолжает предаваться беспутству и разврату. На это папа рассудительно ответил, что лично он всегда дает ход законным жалобам, однако любое обвинение должно быть ясно сформулировано и подкреплено доказательствами; разумеется, поведение Иоанны во время и после убийства мужа достойно всяческого порицания, но его величеству следует принять во внимание, что римская церковь, которая прежде всего стремится к истине и справедливости, всегда действует с крайней осмотрительностью и что в столь серьезном деле поверхностные суждения неуместны.

Со своей стороны, Иоанна, напуганная приготовлениями к войне, направила во Флорентийскую республику послов с целью снять с себя подозрения в злодействе, приписываемом

ей молвою, и даже обратилась с извинениями к Венгерскому двору, на которые получила от брата Андрея весьма краткую отповедь:

«Вся твоя распутная жизнь, неограниченная власть, захваченная тобою в королевстве, твое нежелание отомстить убийцам мужа, твое вторичное замужество и даже эти извинения с достаточной убедительностью доказывают, что ты – одна из виновниц гибели собственного супруга».

Нисколько не обескураженная угрозами Людовика Венгерского, Екатерина острым и хладнокровным взглядом, который ей никогда не изменял, оценила положение сына и королевы и поняла, что единственное спасение – это союз с их заклятым врагом Карлом, возможный при условии, что все его требования будут удовлетворены. Одно из двух: или он поможет им отразить нападение короля Венгрии, а потом, когда с непосредственной угрозой будет покончено, они посчитаются, или же он потерпит поражение, и тогда им принесет удовлетворение сама мысль, что, низвергаясь в пропасть, они утянули за собой и его.

Соглашение было заключено в саду Кастельнуово, куда Карл явился по приглашению королевы и своей тетки. Иоанна согласилась пожаловать кузену долгожданный титул герцога Калабрийского, а Карл, решив, что отныне он наследник престола, пообещал незамедлительно двинуть войска на

Л'Аквилу, где уже было поднято венгерское знамя. Несчастный не предполагал, что идет навстречу собственной гибели.

Глядя, как этот самый ненавистный ей человек радостно удаляется, императрица Константинопольская мрачно проводила его глазами, угадывая женским чутьем, что с ним приключится беда, однако через несколько дней она скоропостижно скончалась от неизвестного недуга без стонов и угрызений совести – можно подумать, что Екатерина была уже по горло пресыщена изменами и местью.

Тем временем венгерский король с грозной армией пересек Италию и вступил в королевство со стороны Апулии; во время похода его повсюду встречали с любопытством и сочувствием, а владетели Вероны Альберто и Мартино делла Скала в знак поддержки прислали ему три сотни всадников. Весть о приближении венгров повергла Неаполитанский двор в неописуемое смятение. Одно время появилась надежда, что короля остановит папский легат, который прибыл в Фолиньо и именем папы и под страхом отлучения от церкви запретил Людовику двигаться дальше без согласия святейшего престола, однако король ответил легату Климента, что, лишь взяв Неаполь, он будет считать себя вассалом церкви, а пока отчитывается лишь перед Господом да собственной совестью. И вот армия мстителей молниеносно оказалась в самом сердце королевства, где еще и не помышляли о серьезной обороне. Выход оставался один: собрав наиболее преданных ей баронов, королева заставила их поклясть-

ся на верность Людовику Тарантскому, которого представила как своего супруга, и, со слезами распростившись с любимейшими из подданных, тайком, среди ночи взошла на борт провансальской галеры и отплыла в Марсель. Людовик Тарантский, как истый рыцарь без страха и упрека, выехал из Неаполя во главе трех тысяч всадников и значительного числа пехотинцев и расположился лагерем на берегах Вольтурно, чтобы дать отпор неприятелю, однако венгерский король предвидел и этот маневр, и, пока противник ждал его в Капуе, он, перейдя через горы в районе Алифе и Морконе, оказался в Беневенто, где в тот же день принял неаполитанских послов, которые, в цветистых выражениях поздравив его с удачным походом, вручили ему ключи от города и обещали повиновение как законному наследнику Карла Анжуйского. Весть о сдаче Неаполя быстро долетела до лагеря королевы, и все принцы крови, а также военачальники бросили Людовика Тарантского и вернулись в столицу. Сопротивляться дальше было бессмысленно; Людовик вместе со своим ближайшим советником Никколо Аччаджуоли отправился в Неаполь в тот же вечер, когда его родственники сдались врагу. С каждым часом надежды на спасение оставалось все меньше; братья и кузены принялись умолять Людовика как можно скорее покинуть город, чтобы не навлекать на него гнев короля, однако в гавани не оказалось ни одного судна, готового сразу же выйти в море. Принцы были вне себя от ужаса, когда Людовик, доверившись своей звезде, вместе с

отважным Аччаджуоли сел в полуразломанную лодку и, велев четверым матросам грести что есть мочи, через несколько минут скрылся из виду. Семейство его пребывало в растерянности до тех пор, пока не узнало, что он добрался до Пизы, откуда отбыл к королеве в Прованс.

Карл Дураццо и Роберт Тарантский, старшие представители двух ветвей королевского рода, спешно посовещавшись, решили смягчить венгерского монарха безоговорочной капитуляцией и, оставив в Неаполе младших братьев, не мешкая направились в Аверсу, где обосновался король. Людовик принял их весьма благосклонно и поинтересовался, почему с ними нет их братьев, на что оба принца ответили, что те остались в Неаполе, чтобы подготовить встречу, достойную его королевского величества. Людовик поблагодарил их за добрые намерения, однако попросил пригласить младших братьев, поскольку ему будет неизмеримо приятнее вступить в Неаполь в окружении всего семейства, да и вообще не терпится обнять своих кузенов. Карл и Роберт, повинуясь королевской воле, немедленно отправили своих оруженосцев пригласить братьев в Аверсу, однако самый старший из них, Людовик Дураццо, со слезами на глазах стал умолять остальных не исполнять эту просьбу, а сам заявил посланцам, что из-за нестерпимой головной боли не может покинуть Неаполь. Столь ребяческое извинение, естественно, раздражило короля, и в тот же день он строго-настрого велел несчастным детям без промедления явиться к нему. Когда они прибыли,

Людовик Великий расцеловал их одного за другим, принялся ласково расспрашивать, оставил отужинать вместе с ним и отпустил лишь далеко за полночь.

Когда герцог Дураццо удалился в отведенную ему опочивальню, Лелло де Л'Аквила и граф Фонди тайком пробрались к его постели и, убедившись, что их никто не подслушивает, предупредили: утром на совете король решил его убить, а других принцев лишить свободы. Карл с недоверчивым видом молча выслушал их и, подозревая предательство, сухо ответил, что не ставит под сомнение честность своего кузена и не может поверить поэтому столь низкой клевете. Клянясь всем, что у него есть самого дорогого, Лелло умолял его послушать их совета, но раздраженный герцог сухо велел им покинуть спальню.

На следующий день – такое же, как накануне, отношение со стороны короля, те же расточаемые детям ласки, то же приглашение отужинать. Пиршество было выше всяческих похвал: потоки света заливали залу и отражались в стоявших на столах золотых вазах, цветы струили свои пьянящие ароматы, вино расплавленным рубином лилось из амфор и кипело в кубках, повсюду слышались горячие, чуть бессвязные речи, лица присутствующих порозовели от возбуждения.

Карл Дураццо ужинал, сидя вместе с братьями за отдельным столом напротив короля. Взгляд его понемногу становился отсутствующим, выражение лица – задумчивым. Он размышлял о том, что в этой самой зале накануне своей тра-

гической гибели пировал Андрей и что одни из тех, кто повинен в его смерти, скончались от пыток, другие чахли в тюрьме, королева находится в изгнании и живет милостью чужих людей, и только он пока на свободе. Эта мысль заставила его содрогнуться. Он внутренне поздравил себя с невероятной ловкостью, с какою ему удавалось плести свои адские козни, и, отбросив печаль, улыбнулся с выражением неописуемой гордости на лице. В эту секунду безумец смеялся над правосудием Божиим. Но Лелло де Л'Аквила, прислуживавший принцу за столом, наклонился и повторил грустным шепотом:

– Несчастный герцог, почему вы отказываетесь мне поверить? Бегите, пока не поздно.

Карл, раздосадованный упрямством этого человека, пригрозил, что еще слово, и он расскажет все королю.

– Я лишь выполняю свой долг, – опустив голову, прошептал Лелло. – Пусть будет так, как угодно Господу.

Едва он договорил, как король встал и, когда герцог подошел к нему, чтобы откланяться, вскричал страшным голосом:

– Предатель! Наконец-то ты у меня в руках, тебя ждет заслуженная смерть, но прежде, чем ты будешь отдан палачам, признайся сам во всех своих преступлениях против короля, и тогда у нас не будет нужды прибегать к показаниям других свидетелей, чтобы определить меру наказания, соответствующую твоим преступлениям. А теперь к делу, герцог

Дураццо. Прежде всего, скажи: зачем посредством бесчестных козней и с помощью своего дяди кардинала Перигорского ты препятствовал коронации моего брата, вследствие чего он был лишен королевской власти и столь печально окончил свои дни? О, не пытайся ничего отрицать. Вот письмо, скрепленное твоей печатью, – ты писал его втайне, но оно обвиняет тебя при всем народе. Почему, позвав нас сюда отомстить за смерть брата, которая, без сомнения, тоже была делом твоих рук, когда ты вдруг переметнулся на сторону королевы, – почему ты напал на наш город Л'Аквилу, осмелился напустить солдат на наших верных подданных? Ты надеялся, предатель, воспользоваться нами как ступенькой к трону, избавившись с нашей помощью от всех соперников. Ты надеялся дождаться нашего ухода, убить оставленного нами наместника и завладеть таким образом королевством. Но на этот раз твой дар предвидения тебе отказал. Однако ты совершил еще одно преступление, которое тяжестью своей превосходит все остальные, – ты совершил государственную измену, и я покараю тебя за это без всякой жалости. Ты похитил женщину, которую дед наш Роберт предназначил нам в супруги – его завещание тебе известно. Отвечай, несчастный: можешь ли ты оправдаться в похищении принцессы Марии?

Голос Людовика так изменился от ярости, что последние слова походили более на рев дикого зверя; глаза короля лихорадочно блестели, побелевшие губы дрожали. Охваченные смертельным ужасом Карл с братьями упали на колени; бед-

няга герцог дважды пытался что-то сказать, но зубы его стучали с такой силой, что он не сумел вымолвить ни слова. Наконец он огляделся вокруг и, увидев своих ни в чем не повинных братьев, которые должны были по его вине погибнуть, обратился к королю:

– Ваше величество, вы смотрите на меня с таким ужасным выражением, что я содрогаюсь. На коленях умоляю вас: если я совершил ошибку, сжальтесь – ведь Бог свидетель, я позвал вас в королевство без каких бы то ни было дурных намерений, я всегда, всею душой желал и желаю вашего владычества. А теперь, я в этом уверен, коварные советчики навлекли на меня вашу ненависть. Вы говорите, что я привел войска в Л'Аквилу, – это так, но меня вынудила к этому королева Иоанна – ведь, узнав, что вы прибыли в Фермо, я тотчас же отвел армию назад. Да поможет Иисус вернуть мне вашу благосклонность – хотя бы ради моих прошлых заслуг и непоколебимой верности. Но вы раздражены, и поэтому я умолкаю и надеюсь, что гнев ваш минует. Умоляю еще раз, имейте сострадание к нам, ведь мы всецело в руках у вашего величества.

Король повернулся и медленно вышел, оставив пленников на попечение воеводы Иштвана и графа Зомика, которым предстояло сторожить их ночью в комнате, примыкающей к королевским покоям. На следующий день Людовик, еще раз выслушав мнение совета, приказал задушить Карла Дураццо на том же месте, где был повешен Андрей, а осталь-

ных принцев крови заковать в цепи, отправить в Венгрию и в течение длительного срока держать там под стражей. Карл, с помутившимся от нежданной беды разумом, раздавленный воспоминаниями о собственных преступлениях, трусливо дрожащий перед лицом смерти, был полностью уничтожен. Закрыв лицо руками, он стоял на коленях и, судорожно всхлипывая, пытался остановить мысли, которые кружились у него в голове, словно какой-то чудовищный сон. На душу его опустилась ночь, которую ежесекундно пронизывали вспышки молний, из глубин его помраченного сознания выплывали светлые лица, насмешливо улыбались и вновь пропадали. Затем в ушах герцога зазвучали голоса с того света, и он увидел перед собою длинную вереницу призраков – как в ту ночь, когда Никколо ди Мелаццо показал ему заговорщиков, исчезающих в подземельях Кастельнуово. Однако на этот раз одни из призраков держали свои головы за волосы и стряхивали с них кровь прямо на Карла, другие размахивали бичами и потрясали бритвами, угрожая ему орудиями своей казни. В ужасе от этого адского шабаша несчастный хотел закричать что есть мочи, но дыхание у Карла перехватило, и крик замер у него на губах. Тут он увидел свою мать, которая издали протягивала к нему руки; в помутненном сознании мелькнула мысль, что если он доберется до нее, то будет спасен. Ему казалось, будто он стремится к ней по коридору, но с каждым шагом тот становится все тесней и тесней, вот каменные стены уже обдирают ему кожу; еще немного, и он,

весь в крови, обнаженный и задыхающийся, достигнет своей цели, но мать опять удалялась, и все начиналось сызнова. Позади бежали ухмыляющиеся призраки и ревели ему в ухо:

– Да будет проклят негодяй, убивший свою мать!

От этих чудовищных видений Карла отвлек плач младших братьев, которых привели проститься с ним перед отправкой на галере к месту заточения. Глухим голосом герцог попросил у них прощения, и отчаяние охватило его с новой силой. Дети ползали по земле и истошно вопили, умоляя позволить им разделить участь брата, желая себе смерти как избавления от страданий. Наконец их удалось увести, но жалобные детские голоса еще долго звучали в ушах осужденного. В конце концов наступила тишина, но через несколько минут двое солдат и двое конюхов-венгров, войдя в комнату, объявили герцогу Дураццо, что настал и его час.

Не оказывая ни малейшего сопротивления, Карл последовал за ними на балкон, где был повешен Андрей. Там у него спросили, не желает ли он исповедаться. Герцог ответил утвердительно, и к нему привели монаха из того самого монастыря, где он теперь ожидал казни. Монах выслушал исповедь герцога и отпустил ему грехи. Затем Карла подвели к месту, где Андрея в свое время сбили с ног и затянули ему на шее петлю; герцог встал на колени и спросил у палачей:

– Друзья, умоляю вас, скажите: неужели у меня нет никакой надежды?

Услышав отрицательный ответ, Карл вскричал:

– Тогда делайте, что вам приказано!

В тот же миг один из конюхов вонзил в грудь Карлу меч, а другой кинжалом перерезал ему горло, и труп герцога был сброшен с балкона в сад, где убитый Андрей пролежал трое суток, прежде чем его тело предали земле.

После этого венгерский король под погребальным стягом направился в Неаполь; он отказался от почестей, отослал назад балдахин, под которым он должен был вступить в столицу, по пути ни разу не остановился, чтобы принять выборных от города, и не отвечал на приветственные возгласы толпы. В полном вооружении он направился прямо к Кастельнуово, оставляя позади себя горе и страх. Въехав в столицу, он прежде всего повелел немедленно сжечь донну Кончу, чья казнь, как нам известно, была отложена из-за ее беременности. Как и прочих, женщину провезли на тележке до площади Сант-Элиджо и там бросили в костер. Молоденькая статс-дама, чью красоту не заставили поблекнуть даже страдания, была разряжена как на праздник, до последней секунды издевалась над палачами и посылала толпе воздушные поцелуи.

Через несколько дней король приказал арестовать Годфруа де Марсана, графа Скиллаче, генерал-адмирала королевства, и пообещал сохранить ему жизнь, если тот выдаст своего родича Коррадо Катандзаро, также обвиненного в участии в заговоре против Андрея. Генерал-адмирал, решив купить себе жизнь ценою бесчестного предательства, без ка-

ких бы то ни было угрызений совести послал своего сына, чтобы тот пригласил Коррадо вернуться в город. Несчастного доставили к королю, который тут же велел его колесовать на колесе, утыканном бритвами. Но вместо того, чтобы успокоить гнев короля, эти зверства, казалось, ожесточили его еще сильнее. Каждый день поступали новые доносы, за которыми следовали новые казни. Тюрьмы уже не могли вместить всех заключенных, а Людовик все свирепствовал; начало создаваться впечатление, что он считает весь город, все королевство, а значит, и весь народ виновными в гибели Андрея. Столь варварское правление стало вызывать ропот, и взоры неаполитанцев обратились к изгнанной королеве. Бароны с большою неохотой присягали королю на верность; когда же дошла очередь до графов Сан-Северино, то, опасаясь какой-нибудь ловушки, они отказались немедленно предстать перед королем и, укрепившись в городе Салерно, выслали вперед своего брата архиепископа Руджеро, чтобы тот выяснил намерения короля относительно их семейства. Однако Людовик оказал тому великолепный прием и назначил своим личным советником и протонотарием королевства. Но и тогда лишь Роберто ди Сан-Северино и Руджеро, граф Кьярамонте, отважились предстать перед королем и, признав себя его вассалами, вернулись в свои земли. Другие бароны проявили такую же сдержанность и, пряча недовольство под внешней почтительностью, стали дожидаться благоприятного момента, чтобы сбросить чужеземное иго.

Бежав из Неаполя, королева через пять дней плавания беспрепятственно достигла Ниццы. Ее шествие по Провансу вылилось в подлинный триумф. Красота и молодость женщины, ее несчастья и даже таинственные слухи относительно будущего королевы – все вызывало интерес у населения Прованса. Чтобы смягчить изгнаннице горечь жизни на чужбине, для нее устраивали всяческие игры и празднества, однако среди выражений всеобщей радости Иоанна, снедаемая вечной печалью, везде предавалась немому горю и мрачным воспоминаниям – в деревнях, замках, городах.

Встречавшие ее у ворот Экса духовенство, дворяне и городские власти отнеслись к ней с почтением, но без особого восторга. Она ехала по городу, и удивление ее становилось все сильнее: народ приветствовал ее довольно равнодушно, сопровождавшие вельможи были угрюмы и немногословны. В голове у нее зароились тревожные мысли, она начала опасаться какой-либо интриги со стороны венгерского короля. Когда кортеж добрался до Шато-Арно, дворяне, став шпалерами, пропустили королеву, ее советника Спинелли и двух камеристок в замок, а затем сомкнули ряды и отрезали Иоанну от остальной свиты. После этого дворяне стали по очереди дежурить у ворот замка.

Теперь сомнений уже не оставалось: королеву взяли в плен, но причин этого странного шага она доискаться не могла. На ее расспросы все сановники лишь заявляли о своей преданности и почтении, но отказывались объясниться до

получения вестей из Авиньона. Иоанне продолжали оказывать королевские почести, однако держали ее под наблюдением и не позволяли выходить из замка. Такое противоречивое отношение лишь усугубило ее печаль; не зная, что стало с Людовиком Тарантским, она рисовала в своем воображении картины несчастий и твердила себе, что вскоре ее ждет гибель.

Людовик же Тарантский, сопровождаемый верным Аччаджуоли, после многотрудного плавания высадился наконец в Пизе, откуда направился во Флоренцию в надежде добыть там людей и денег, однако флорентийцы, решив сохранять полный нейтралитет, отказались впустить его в город. Расставшись с последней надеждой, принц стал лелеять мрачные замыслы, но Никколо Аччаджуоли решительно заявил:

– Ваша светлость, людям не дано постоянно наслаждаться благополучием: бывают беды, предвидеть которые человек не в силах. Вы были богаты и могущественны, теперь же вы беглец, который просит помощи у чужих людей. Вы должны поберечь себя для лучших дней. У меня осталось значительное состояние, есть родственники и друзья, чье богатство в моем распоряжении; так давайте попытаемся добраться до королевы, а уж там решим, что делать дальше. Я же всегда буду защищать вас и повиноваться вам как своему хозяину и сеньору.

Принц выразил живейшую благодарность за столь благородное предложение и заявил, что вручает свою жизнь

и будущее в руки советника. Аччаджуоли, выказав таким образом свою преданность, склонил вдобавок своего брата Анджело, архиепископа Флорентийского, к которому была весьма расположена курия Клемента VI, обратить внимание папы на положение Людовика Тарантского. Недолго думая, принц, его советник и добрый прелат сели на судно и направились в Марсель, но, узнав по пути, что королеву держат в Эксе под замком, сошли на берег в Эг-Морт и поспешили в Авиньон. Там они сразу почувствовали, какое уважение и любовь питает папа к архиепископу Флорентийскому за его характер: авиньонская курия приняла Людовика с поистине отцовской добротой, чего он никак не ожидал. Когда он склонил колени перед первосвятителем, его святейшество наклонился и ласково поднял принца, величая его при этом королем.

Через два дня другой прелат, архиепископ Экса, явился к королеве и, отвесив торжественный поклон, произнес следующую речь:

– Милостивейшая и возлюбленная государыня, позвольте самому скромному и преданному из ваших слуг от имени подданных вашего величества попросить прощения за тягостную, но необходимую меру, которую мы сочли своим долгом принять по отношению к вам. Когда вы прибыли в наши края, совету преданного вам города Экса из верных источников стало известно, что король Французский имеет намерение отдать нашу страну одному из своих сыновей, в

качестве возмещения передав вам иные свои владения, что герцог Нормандский отправился в Авиньон, чтобы лично испросить разрешение на сей обмен. Мы были полны решимости, государыня, и поклялись в том Всевышнему, скорее погибнуть всем до единого, нежели покориться гнусной французской тирании. Не желая доводить дело до кровопролития, мы решили беречь у себя вашу августейшую персону как священный залог, как архисвятыню, к коей ни одна живая душа не смеет прикоснуться без опасения быть пораженной громом небесным и которая отвратит от наших стен угрозу войны. Только что мы получили из Авиньона грамоту, в которой его святейшество запрещает эту гнусную сделку и ручается за ваше монаршее слово. Итак, мы целиком и полностью возвращаем вам свободу и отныне будем пытаться удержать вас у себя только уговорами и мольбами. Уезжайте, государыня, коли такова ваша воля, но, прежде чем вы покинете наши места, которые отъезд ваш повергнет в скорбь, позвольте нам надеяться, что вы простите то мнимое насилие, которое мы проявили по отношению к вам из боязни вас лишиться, и не забудьте, что в день, когда ваше величество перестанет быть нашею королевой, вы подпишете смертный приговор всем своим подданным.

Иоанна успокоила архиепископа и делегацию славного города Экса улыбкой, полной печали, и заверила их, что вечно будет помнить их любовь и верность. На сей раз она не могла ошибиться в истинности чувств дворян и народа, и столь

редкая преданность, выражавшаяся в искренних слезах, тронула королеву до глубины души и заставила с горечью обратиться мыслями к своему прошлому. Но за лье до Авиньона ее ждал триумфальный прием. Навстречу ей вышел Людовик Тарантский и все кардиналы курии. Пажи в ярких нарядах несли над головой Иоанны алый бархатный балдахин, расшитый золотыми лилиями и украшенный плюмажами. Впереди шли красивые юноши и девушки в венках и пели королеве хвалу. По сторонам улиц, где следовал кортеж, в два ряда стояла живая людская изгородь, дома были расцвечены флагами, колокола звонили тройным перезвоном, словно в большой церковный праздник. Климент VI принял королеву в Авиньонском замке со всею пышностью, какой он окружал себя в торжественных случаях, после чего Иоанна разместилась во дворце кардинала Наполеоне Орсини, который после возвращения с конклава в Перудже построил в Вильневе это обиталище королей, где поселились папы.

Сегодня трудно представить, насколько необычным и шумным городом был в те времена Авиньон. С тех пор как Климент перенес папский престол в Прованс, в стенах этого соперника Рима появились площади, церкви, дворцы, где кардиналы купались в неслыханной роскоши. Все дела народов и королей рассматривались в Авиньонском замке. В городе можно было встретить посла любого двора, купца из любой страны, искателя приключений любой национальности; гудящие от разноголосицы улицы были запружены ита-

льянцами и венграми, испанцами и арабами, цыганами и евреями, солдатами и бродягами, шутами и поэтами, монахами и придворными. Тут перепутались языки, обычаи и наряды, это была невообразимая смесь роскоши и нищеты, пышных одеяний и рубищ, распутства и величия. Недаром средневековые поэты заклеймили в своих стихах этот проклятый, по их мнению, город именем нового Вавилона.

Во время пребывания в Авиньоне Иоанна своей королевской властью оставила после себя любопытный памятник. Возмущенная бесстыдством падших женщин, осквернявших своим присутствием все самое достойное в городе, неаполитанская королева издала знаменитый указ, первый в своем роде и в дальнейшем послуживший образцом для других ему подобных, по которому эти несчастные женщины, торговавшие своей честью, должны были жить в специальном пристанище, открытом круглый год, за исключением последних трех дней Страстной недели; доступ туда евреям был категорически запрещен. Этим своеобразным монастырем управляла аббатиса, избираемая каждый год. Были разработаны правила распорядка, за нарушение которых виновные строго наказывались. Законоведы того времени славили это полезное заведение на всех углах, прекрасные авиньонские дамы грудью встали на защиту королевы от порочащих ее репутацию слухов, все в один голос превозносили мудрость вдовы Андрея; в этот поток хвалы вмешивались лишь недовольные голоса отшельниц, которые без обиняков заяв-

ляли, что Иоанна Неаполитанская портит им весь промысел, поскольку стремится стать в нем монополисткой.

Между тем Мария Дураццо приехала к своей сестре. После гибели мужа ей удалось вместе с двумя малолетними дочерьми укрыться в монастыре Санта-Кроче, и, пока Людовик Венгерский сжигал очередных недругов, юной вдове, поменявшейся одеждой со старухой-монахиней, чудом удалось сесть на судно, отправлявшееся в Прованс. Мария поведала сестре о зверствах венгерского короля. Новые доказательства его ненависти к Иоанне не заставили себя ждать: в авиньонскую курию явились послы Людовика с просьбой предать королеву суду.

Это был великий день: Иоанна Неаполитанская сама защищала себя перед папой в присутствии авиньонских кардиналов, иностранных послов и прочих важных особ, съехавшихся со всех концов Европы, чтобы присутствовать на этой уникальной в анналах истории тяжбе. Представьте себе громадную залу, посредине которой на приподнятом над уровнем пола престоле восседает председатель Священной консистории, наместник Божий на земле, верховный судья, облеченный светской и духовной властью, обладающий людским и божественным могуществом. Справа и слева от него в расставленных полукружием креслах сидят кардиналы в пурпурных мантиях, а позади их Священной коллегии, занимая почти всю залу, расположилась курия – епископы, викарии, каноники, диаконы, архидиаконы и прочие предста-

вители разветвленной церковной иерархии. Прямо напротив папского престола был воздвигнут помост для Неаполитанской королевы и ее свиты. Перед папой стояли послы Людовика Венгерского, выполнявшие роль смиренных и немых обвинителей, поскольку само преступление и его доказательства были заранее обсуждены созданной для этой цели комиссией. Оставшуюся часть залы заполняла блестящая толпа из сановников, прославленных полководцев, иностранных посланников, соревновавшихся друг с другом в роскоши и высокомерии. Затаив дыхание, собравшиеся не сводили взгляда с помоста, откуда Иоанна должна была произнести речь в свою защиту. По зрителям то и дело пробегала дрожь возбуждения и любопытства; они походили на волнуемое ветерком поле ржи, среди которого алыми маками возвышались кардиналы в пурпурных мантиях.

И вот появилась королева, поддерживаемая под руки своим дядей, престарелым кардиналом де Перигор, и теткой, графиней Агнессой. Иоанна вошла так скромно и в то же время гордо, лицо ее сияло такой грустью и невинностью, в ее взоре было столько беспомощности и вместе с тем твердости, что она еще не начала говорить, а сердца присутствующих уже были на ее стороне. В ту пору Иоанне было двадцать лет, она находилась в самом расцвете своей удивительной красоты, однако невероятная бледность скрадывала великолепие ее атласной нежной кожи, а исхудалое лицо несло следы очистительных страданий. Среди пожиравших ее гла-

зами зрителей можно было заметить молодого темноволосого человека с горящим взглядом и лицом, искаженным состраданием; позже мы его еще встретим, а сейчас, чтобы не рассеивать внимание читателя, скажем только, что это был инфант Мальорки Хайме Арагонский и что он был готов отдать всю свою кровь до последней капли, только бы удержать хоть одну из слезинок, дрожавших на ресницах королевы. Иоанна говорила робким, дрожащим голосом, то и дело останавливаясь, чтобы смахнуть с повлажневших глаз слезы или испустить вздох, идущий из самой глубины души. Она рассказывала о гибели мужа с такою мукой, так чистосердечно пеняла себя за растерянность и ужас, словно приковавшие ее к месту после этих страшных событий, с таким отчаянием закрывала лицо руками, словно стараясь сбросить с себя остатки безумия, что по собравшимся прошла дрожь ужаса и жалости. Все понимали, что даже если она говорит неправду, то боль ее сильна и неподдельна. Ангел, исчахнувший из-за совершенного им преступления, Иоанна лгала, словно сатана, однако бесконечные муки гордыни и угрызения совести раздирали ее тоже как сатану. Когда она закончила и, заливаясь слезами, попросила помощи и защиты от человека, узурпировавшего ее королевство, одобрительные возгласы, несшиеся со всех сторон, заглушили ее последние слова, множество рук потянулось к рукояткам мечей, и венгерским послам в смущении и стыде пришлось покинуть залу.

В тот же вечер, ко всеобщему удовлетворению, было объ-

явлено, что Иоанна Неаполитанская не виновна и не причастна к убийству своего мужа. Однако поскольку последующему поведению королевы и ее небрежению в преследовании преступников никаких оправданий не было, папа признал, что тут не обошлось без колдовства и что приписываемая Иоанне вина – не что иное, как наведенная на несчастную женщину порча, защититься от которой она не могла[77]. Одновременно его святейшество утвердил брак королевы с Людовиком Тарантским и пожаловал последнему орден Золотой Розы и титул короля Иерусалима и Сицилии.

Следует заметить, что накануне дня, когда ей был вынесен оправдательный приговор, Иоанна продала папе город Авиньон за восемьдесят тысяч флоринов.

Пока королева защищала себя перед папской курией, в Неаполитанском королевстве, а потом и во всей Италии разразилась эпидемия страшной болезни, называемой черной чумой, которую так хорошо описал Боккаччо. Согласно подсчетам Маттео Виллани, Флоренция потеряла три пятых своего населения, Болонья – две трети, да и по всей Европе потери были примерно такими же. Уставшие от варварства и алчности венгров неаполитанцы только и ждали случая, чтобы подняться на борьбу с чужеземными захватчиками и вернуть назад свою законную государыню, которую, несмотря ни на что, они продолжали любить – так на них действовали ее красота и молодость. Едва моровое поветрие внесло

---

[77] Маттео Виллани, II, 24. *(Примеч. автора.)*

разброд в ряды войска и взволновало город, как тут же на головы тирана и его палачей посыпались проклятья. Оказавшись перед лицом угрозы гнева небесного и народного возмущения, испугавшись эпидемии восстания, Людовик Венгерский одной прекрасной ночью внезапно сбежал из Неаполя, оставив его на попечение одного из своих военачальников, Коррадо Лупо, сел в Барлетте на судно и покинул королевство, как это сделал несколько месяцев назад Людовик Тарантский.

Эти вести достигли Авиньона как раз в тот момент, когда папа собирался вручить королеве буллу об отпущении грехов. Тут же было решено отобрать королевство у наместника Людовика Венгерского. Никколо Аччаджуоли выехал в Неаполь, взяв с собою чудодейственную буллу, которая перед лицом всего народа должна была подтвердить невинность королевы, рассеять подозрения и возбудить всеобщий энтузиазм. Прежде всего советник направился в замок Мельци, гарнизоном которого командовал его сын Лоренцо: это была единственная крепость, не сдавшаяся врагу. Отец с сыном обнялись, испытывая законную гордость от того, что оба они, члены одной семьи, героически выполнили свой долг. Губернатор Мельци сообщил советнику Людовика Тарантского следующее: народ устал терпеть высокомерие и гнет врагов королевы, и заговор, имеющий целью вернуть на престол Иоанну и ее мужа и зародившийся в Неаполитанском университете, уже расползся по всему королевству, а чуже-

земное войско охвачено распрями. Неутомимый советник отправился из Апулии в Неаполь, останавливаясь по пути в деревнях и городах и громко заявляя об оправдании королевы, ее браке с Людовиком Тарантским, а также о прощении, которое папа обещал всем, кто окажет дружеский прием своим законным монархам. Увидев, что народ кричит повсюду: «Да здравствует Иоанна! Смерть венграм!», он вернулся к своим повелителям и доложил, в каком умонастроении пребывают их подданные.

Иоанна, набрав в долг денег, где только могла, снарядила галеры и 10 сентября 1348 года вышла из Марселя в море вместе с мужем, сестрами и двумя верными советниками – Аччаджуоли и Спинелли. Не имея возможности войти в гавань, которая находилась в руках врага, король с королевой высадились в Санта-Мария-дель-Кармине близ Себето и под рукоплескания жителей в сопровождении неаполитанских дворян направились во дворец мессира Аджуторио близ Порта-Капуана, тогда как Никколо Аччаджуоли во главе сторонников королевы повел столь успешную осаду городских замков, в которых укрепились венгры, что вскоре часть врагов вынуждена была сдаться в плен, а остальные рассеялись по королевству. Мы не станем описывать труднейший поход Людовика Тарантского по Апулии, Калабрии и Абруцци, во время которого он обнаружил не одну крепость, занятую врагом. Проявив беспримерное мужество и терпение, он постепенно овладел почти всеми более или ме-

нее значительными укрепленными пунктами, но обстоятельства вдруг резко переменились, и бранная Фортуна вторично показала ему спину. Немецкий военачальник по имени Вернер, который дезертировал из венгерской армии и продался королеве, вдруг вновь продался венграм и, позволив Коррадо Лупо, наместнику Людовика Венгерского, захватить себя врасплох при Корнето, открыто перешел на его сторону вместе с множеством наемников, сражавшихся под его знаменами. Это неожиданное предательство заставило Людовика Тарантского вернуться в Неаполь, и вскоре венгерский король, узнав, что его войска вновь собрались вместе и ждут лишь его возвращения, чтобы двинуться на столицу, высадился с крупным отрядом кавалерии в порту Манфредония, после чего, захватив Трани, Каноссу и Салерно, осадил Аверсу.

Для Иоанны и ее мужа это было как гром среди ясного неба. Венгерское войско состояло из десяти тысяч всадников и более семи тысяч пехотинцев, тогда как Аверсу защищали всего пятьсот солдат под началом Джакомо Пиньятелли. Несмотря на столь колоссальный перевес врага, неаполитанский военачальник яростно отбил первый приступ, и сражавшийся в первых рядах венгерский король был ранен стрелой в ногу. Видя, что взять город штурмом ему не удается, Людовик решил уморить его жителей голодом. В течение последующих трех месяцев осажденные выказывали чудеса мужества, однако держаться становилось все труднее, и венгры со дня на день ждали, что защитники города капитули-

руют, если, конечно, не решат погибнуть все до единого. Рено де Бо, который должен был прийти из Марселя с десятью галерами для защиты гавани и города, а также чтобы в случае нужды помочь королеве спастись, задерживался где-то в пути из-за встречных ветров. Казалось, все на свете было на руку врагу. Людовик Тарантский, чья благородная душа противилась тому, чтобы его смельчаки проливали кровь в неравном бою, поступил как истинный рыцарь, предложив венгерскому королю решить их спор в поединке. Вот подлинные тексты письма Людовика Тарантского и полученного им ответа:

> *«Прославленный король Венгрии, пришедший захватить наше королевство! Мы, Божией милостью король Иерусалима и Сицилии, вызываем вас на поединок. Нам известно, что гибель ваших копейщиков и прочих варваров, которых вы привели с собой, беспокоит вас не более, чем если бы это были псы, но мы, опасаясь бед, могущих приключиться с нашими солдатами и рыцарями, желаем сразиться лично с вами, чтобы положить конец войне и вернуть мир нашему королевству. Кто из нас двоих победит, тот и будет королем. А чтобы поединок состоялся по всем правилам, мы предлагаем провести его или в Париже, в присутствии французского короля, или в Перудже, или в Авиньоне, или в Неаполе. Выберите одно из этих четырех мест и сообщите свой ответ».*

Выслушав мнение совета, венгерский король ответил так:

«Великий король, мы прочитали и приняли к сведению письмо, отправленное вами с присутствующими тут гонцами, и ваш вызов на поединок пришелся нам в высшей степени по душе, однако мы не можем согласиться ни с одним из предложенных вами мест его проведения, поскольку все они по многим причинам вызывают наше подозрение. Король Франции является вашим предком по материнской линии, и хотя мы тоже связаны с ним кровными узами, он нам не столь близкий родственник. Город Авиньон действительно принадлежит главе церкви, но вместе с тем является столицей Прованса и всегда подчинялся вам. Не больше мы доверяем и Перудже, поскольку этот город вам предан. Что же до Неаполя, то даже нет нужды писать, что мы его отвергаем, поелику он восстал против нас и сейчас в нем правите вы. Но ежели вам все же угодно сразиться с нами, пусть это произойдет в присутствии германского императора, верховного властителя, или короля Английского, с которым мы оба находимся в дружбе, или же доброго католика патриарха Аквилейского. Если же вам не понравится ни одно из предложенных нами мест, то, дабы исключить дальнейшие отговорки и затяжки, мы вскоре будем у вас вместе с нашим войском. Выходите к нам навстречу, и мы сможем начать поединок на глазах у наших солдат».

После обмена письмами вызов Людовика Тарантского

дальнейшего продолжения не имел. Гарнизон Аверсы сдался, хотя и оказал героическое сопротивление; все прекрасно понимали, что если венгерский король сумеет дойти до стен Неаполя, то завладеет городом, не подвергая опасности свою жизнь. По счастью, провансальские галеры достигли наконец гавани. В самый последний момент королева с мужем успели выйти в море и добраться до Гаэты. Венгерская армия стояла уже перед Неаполем. Город решил сдаться и выслал к венгерскому королю послов со смиренной просьбой даровать им мир, однако венгры ответили им столь заносчиво, что возмущенные жители города взялись за оружие, готовые защищать свои очаги до последней капли крови. Пока неаполитанцы сражались с врагом у Порта-Капуана, на другом конце города происходил странный эпизод, красочно рисующий те времена с их варварскими нравами и бесчестным предательством. Вдова Карла Дураццо, укрывавшаяся в замке д'Ово, в страшном нетерпении поджидала галеру, на которой собиралась присоединиться к королеве. Сжимая в объятиях заплаканных дочерей, бедняжка Мария – бледная, с растрепанными волосами, искаженным лицом и блуждающим взглядом – прислушивалась к каждому шороху, разрываясь между страхом и надеждой. Внезапно в коридоре раздались шаги и послышался хорошо знакомый ей голос. Мария упала на колени и радостно вскрикнула: это явился ее спаситель.

Рено де Бо, адмирал провансальской эскадры, почтитель-

но приблизился; чуть позади держались его старший сын и капеллан.

– Хвала Создателю, мы спасены! – воскликнула Мария, поднимаясь с колен.

– Минутку, сударыня, – жестом остановил ее Рено. – Спасены, но при одном условии.

– При каком условии? – пролепетала пораженная принцесса.

– Послушайте, сударыня; венгерский король, погубитель вашего мужа, который мстит за смерть Андрея, уже у ворот Неаполя; жители города и солдаты скоро будут побеждены, несмотря на всю их отвагу, и тогда армия-победительница огнем и мечом станет сеять повсюду опустошение и смерть. На сей раз венгерский палач не поскупится на жертвы: он станет убивать матерей на глазах у детей и детей на руках у матерей. Подъемный мост, ведущий в этот замок, опущен, и на страже нет ни одного солдата – все, кто способен держать в руках меч, находятся на другом конце города. Горе вам, Мария Дураццо, если король Венгерский вспомнит, что вы отдали предпочтение его сопернику!

– Но разве вы явились не за тем, чтобы меня спасти? – вскричала Мария голосом, полным смертельной тревоги. – Разве моя сестра Иоанна не приказала вам доставить меня к ней?

– Ваша сестра находится уже не в том положении, чтобы отдавать приказы, – с презрительной улыбкой ответил Ре-

но. – Ей остается лишь благодарить меня за то, что я спас жизнь ей, равно как ее мужу, трусливо сбежавшему при появлении человека, которого он осмелился вызвать на поединок.

Мария пристально посмотрела на адмирала, словно желая удостовериться, что это именно он столь вызывающе говорит о своих хозяевах, однако, напуганная невозмутимым выражением его лица, мягко продолжала:

– Поскольку своею жизнью и жизнью моих детей я буду обязана вашему благородству, то я заранее бесконечно вам признательна. Но поспешим же, господин граф: мне то и дело слышатся вопли о мщении. Вы ведь не оставите меня на растерзание свирепым врагам?

– Сохрани Господь, сударыня! Я готов спасти вас, рискуя собственной жизнью, но, как уже говорил, лишь при одном условии.

– Каком же? – с вынужденным смирением спросила Мария.

– При условии, что вы прямо сейчас выйдете замуж за моего сына в присутствии нашего почтеннейшего капеллана.

– Наглец! – попятившись, вскричала Мария, и лицо ее запылало от стыда и презрения. – Да как ты смеешь вести такие речи с сестрой своей законной государыни? Благодари Бога, что я готова отнести это оскорбление на счет мимолетного умопомрачения, и пытайся преданностью загладить свою вину.

Ни слова не говоря, граф, сделав знак сыну и священнику, направился к выходу. Когда он уже занес ногу над порогом, Мария бросилась к графу и, стиснув руки, именем Господа принялась умолять его одуматься.

– Я мог бы отомстить, – проговорил Рено, – за оскорбление, которое вы мне нанесли, столь высокомерно отказав моему сыну, но я оставлю мщение за Людовиком Венгерским: он справится с этим наилучшим образом.

– Пожалейте моих бедных дочерей! – твердила принцесса. – Пожалейте хотя бы их, раз мои слезы не способны вас тронуть.

– Если бы вы и впрямь любили своих детей, – нахмурившись, ответил адмирал, – то уже приняли бы решение.

– Но я же не люблю вашего сына! – воскликнула Мария дрожащим от гордости голосом. – О Боже, неужто возможно такое надругательство над чувствами бедной женщины! Святой отец, вы же исповедуете истину и справедливость, так хоть вы объясните этому человеку, что нельзя призывать в свидетели Всевышнего, когда клятву вырывают у слабого и отчаявшегося существа!

И, повернувшись к сыну адмирала, она сквозь слезы продолжала:

– Вы молоды, возможно, любимы и когда-нибудь непременно полюбите сами. Я обращаюсь к вашему прямодушию, к вашей рыцарской учтивости, ко всем благородным порывам вашей души: помогите мне убедить вашего отца отка-

заться от этого ужасного замысла. Вы никогда меня не видели и не знаете, а вдруг в глубине сердца я кого-нибудь люблю? Ваша гордость должна восстать при виде того, как обижают молодую женщину, которая лежит у ваших ног и просит милосердия и защиты. Одно ваше слово, Робер, и я буду всю жизнь благословлять вас, вы навсегда останетесь в моей душе как ангел-хранитель, а мои дети запомнят ваше имя, чтобы каждый вечер повторять его, моля Бога об исполнении ваших желаний. Скажите же, что спасете меня. Кто знает, быть может, когда-нибудь я вас действительно полюблю.

– Я обязан повиноваться отцу, – ответил Робер, не поднимая глаз на прекрасную просительницу.

Священник хранил молчание. Прошло несколько минут; участники сцены, погруженные в свои мысли, сохраняли полную неподвижность, словно статуи, поставленные по углам чьей-то гробницы. За этот короткий, но страшный промежуток времени Мария трижды испытывала желание броситься в море. Но внезапно до ее слуха донесся отдаленный ропот, который неуклонно приближался; наконец уже можно было различить отчаянные голоса женщин:

– Спасайтесь! Спасайтесь! Господь нас покинул! Венгры в городе!

Дети Марии тут же расплакались, а младшая, Маргарита, протянув ручонки к матери, выражала свой ужас совсем не детскими словами. Рено, не глядя на эту трогательную сцену, увлек сына к двери.

– Стойте! – проговорила принцесса, протягивая руку в торжественном жесте. – Раз Господь не посылает моим детям иной помощи, значит, ему угодно, чтобы жертва была принесена.

С этими словами, упав на колени перед священником, принцесса склонила голову, словно жертва под топором палача. Робер де Бо занял место рядом с нею, и священник, произнеся слова, которые связывали их навеки, освятил бесчестное насилие святотатственным благословением.

– Все кончено, – прошептала вдова Дураццо, бросив на детей взор, полный слез.

– Нет, еще не все, – твердо возразил адмирал, подталкивая женщину к другой комнате. – Прежде чем мы отправимся, брак должен быть довершен.

– Боже милосердный! – душераздирающим голосом воскликнула принцесса и упала без чувств.

Рено де Бо направил галеры в сторону Марселя, где намеревался возложить на голову сына корону графа Прованского благодаря его необычному браку с Марией Дураццо. Однако это подлое предательство не осталось безнаказанным. Поднялся сильнейший шторм, который отнес суда к Гаэте, куда как раз только что прибыли королева с мужем. Рено велел матросам не приближаться к берегу, суля бросить в море любого, кто осмелится нарушить его приказ. Сперва матросы лишь глухо роптали, но вскоре повсюду зазвучали крики: «Смерть адмиралу!» – и тот, поняв, что погиб, от угроз пе-

решел к мольбам. Принцесса, которая при первом же раскате грома пришла в чувство, вышла на палубу и стала звать на помощь:

– Сюда, Людовик! Сюда, мои бароны! Смерть негодяям, столь подло оскорбившим меня!

Людовик Тарантский вместе с десятком наиболее отважных рыцарей бросился в шлюпку. Они налегли на весла и быстро доплыли до галеры. Мария, одним духом рассказав о том, что произошло, повернулась к адмиралу, словно запрещая тому оправдываться, и бросила на него испепеляющий взгляд.

– Негодяй! – вскричал король и, бросившись на предателя, пронзил его мечом.

Потом он велел заковать в цепи сына адмирала и недостойного священника как соучастника гнусного насилия, которое адмирал уже искупил смертью, после чего пересадил к себе в шлюпку принцессу с дочерьми и вернулся в гавань.

А тем временем венгры, прорвавшись в город через одни из ворот, торжествующе приближались к Кастельнуово. Однако, когда они пересекали площадь Корреджие, неаполитанцы обратили внимание, что лошади захватчиков так слабы, а всадники так измождены после осады Аверсы, что стоит только дунуть, и эта армия призраков рассеется. Сменив страх на отвагу, народ бросился на победителей и выгнал их вон из города, в который они только что вступили. Это внезапное народное возмущение несколько смирило гордыню

венгерского короля и сделало его уступчивее к предложениям Климента VI, который счел наконец долгом вмешаться. Первоначальное перемирие длилось с февраля 1350-го по начало апреля 1351 года, а на следующий год превратилось в мир, который Иоанна заключила, возместив венгерскому королю военные издержки в размере трехсот тысяч флоринов.

После ухода венгров папа прислал легата для коронации Иоанны и Людовика Тарантского; торжество было назначено на 25 мая, в Троицын день. Историки того времени с восторгом описывают это великолепное празднество, навеки запечатленное Джотто на фресках церкви, которая по этому случаю получила название «Инкороната». Была объявлена амнистия для всех, кто в предыдущих войнах сражался на той или иной стороне; радостные возгласы раздавались вокруг короля с королевой, когда они торжественно ехали верхом под балдахином, сопровождаемые всеми баронами королевства.

Однако радость была в этот день омрачена происшествием, которое суеверные неаполитанцы расценили как недоброе предзнаменование. Верхом на коне, покрытом богатой попоной, Людовик Тарантский въехал в Порта-Петручча, и дамы, наблюдавшие за кортежем сверху, из окон своих домов, засыпали его таким множеством цветов, что конь, испугавшись, стал на дыбы и порвал узду. Король, не справившись со скакуном, легко соскочил на землю, но уронил при

этом корону, которая упала на землю и разбилась на три части. В этот же день скончалась единственная дочь Иоанны и Людовика.

Между тем король, не желая, чтобы столь блестящая церемония была омрачена знаками траура, велел в течение трех дней устраивать всяческие турниры и поединки и в память о своей коронации учредил рыцарский орден Узла. Но начиная с дня, отмеченного дурным предзнаменованием, жизнь его обернулась чередой жестоких разочарований. После войн на Сицилии и в Апулии, а также усмирения мятежа Людовика Дураццо, который окончил свои дни в темнице замка д'Ово, Людовик Тарантский, изнуренный удовольствиями, подтачиваемый медленным недугом и уставший от несчастий в стране, скончался от тяжелой лихорадки 5 июня 1362 года в возрасте сорока двух лет. Не успели опустить его гроб в могилу королевской усыпальницы в церкви Сан-Доменико, как несколько претендентов стали оспаривать руку королевы.

Победителем оказался инфант Мальорки – о нем мы уже упоминали, – которому удалось одолеть всех соперников, включая даже сына короля Французского. Хайме Арагонский обладал той мягкой и меланхоличной внешностью, перед которой не может устоять ни одна женщина. Юность его, словно погребальным крепом, была покрыта пеленою несчастий: тринадцать лет провел он взаперти в железной клетке; освободившись из этой ужасной тюрьмы с помощью подде-

ланного ключа, он стал скитаться по дворам Европы, пытаясь вернуть свое королевство, и говорят даже, что, дойдя до крайней нищеты, он просил милостыню. Красота юного иностранца и его рассказ о том, что он пережил, поразили Иоанну и Марию еще в Авиньоне. У Марии вспыхнула страсть к инфанту, усугублявшаяся тем, что молодой женщине стоило больших трудов тайно хранить ее у себя в сердце. Когда Хайме Арагонский прибыл в Неаполь, несчастная принцесса, выданная замуж, можно сказать, под угрозой кинжала, решила купить себе свободу ценой преступления. В сопровождении четырех вооруженных человек она вошла однажды в тюрьму, где Робер де Бо томился во искупление греха, совершенного скорее его отцом, нежели им самим. Скрестив руки на груди, побелевшая, с трясущимися губами, Мария встала перед узником. Свидание было ужасным. На сей раз угрожала принцесса, а молодой человек молил о милосердии. Но Мария осталась глуха к его просьбам, и голова несчастного скатилась к ее ногам, а тело палачи выбросили в море. Однако Господь покарал преступницу: Хайме предпочел ей королеву, а на долю вдовы Дураццо осталось лишь презрение любимого человека да угрызения совести, которые в конце концов свели ее совсем молодой в могилу.

Иоанна была замужем за Хайме Арагонским, сыном короля Мальорки, а потом за Оттоном Брауншвейгским из Саксонской династии. Этих лет мы коснемся лишь вскользь, поскольку спешим добраться до развязки этой истории о зло-

действах и искуплении. Хайме, отлученный от супруги, продолжал вести бурную жизнь, долгое время сражался в Испании против Педро Жестокого[78], который узурпировал его королевство, и погиб под Наваррой в конце 1375 года. Что же до Оттона, то и он не избежал божественного возмездия, тяготевшего над Неаполитанским двором, но отважно разделял участь королевы до самого конца. Видя, что у нее нет законного наследника, Иоанна усыновила своего племянника, Карла Мирного, получившего это прозвище в честь заключения Тревизского мира. Этот молодой человек был сыном Людовика Дураццо, который бесславно окончил свои дни, заточенный в замке д'Ово. Сын должен был разделить участь отца, но тут в его жизнь вмешалась Иоанна и, осыпая благодеяниями, женила на Маргарите, дочери ее сестры Марии и Карла Дураццо, задушенного венгерским королем.

Вскоре у Иоанны возникли серьезные распри с одним из ее бывших подданных, Бартоломео Приньяни, который стал папой Урбаном VI. Раздраженный непокорностью королевы, папа в приступе гнева заявил однажды, что он заточит ее в монастырь прясть пряжу. Чтобы отомстить за это оскорбление, Иоанна открыто стала на сторону антипапы Климента VII[79], предложив ему убежище у себя в замке, когда тот, преследуемый войсками Урбана, бежал в Фонди. Но народ вос-

---

[78] *Педро Жестокий* (1334–1369) – король Кастилии в 1350–1369 гг.

[79] Против избрания Урбана VI (1378 г.) протестовали многие кардиналы и выбрали на его место Роберта Женевского (Климента VII).

стал против Климента, убил архиепископа Неаполитанского, голосовавшего за него на выборах, сломал крест, который во время процессии несли перед антипапой, и тот едва успел сесть на галеру, отправлявшуюся в Прованс. Урбан низложил Иоанну, освободил ее подданных от клятвы на верность и отдал корону короля Иерусалима и Сицилии Карлу Мирному, который пошел походом на Неаполь во главе восьмитысячного венгерского войска. Королева, не в силах поверить в подобную неблагодарность, выслала навстречу приемному сыну его жену Маргариту, которую держала у себя в качестве заложницы, и двух его детей – Владислава и Иоанну, также ставшую впоследствии королевой. Но победоносная армия вскоре подошла к Неаполю, и Карл окружил замок королевы, в своей неблагодарности забыв, что эта женщина спасла ему жизнь и заменила мать.

Во время осады Иоанна вынесла столько, сколько не вынести и самому закаленному в тяготах войны солдату. Оставшиеся ей верными люди умирали вокруг нее от голода и лихорадки. Лишив королеву возможности запасаться продовольствием, враг стал ежедневно бомбардировать осажденных полуразложившимися трупами, чтобы заразить воздух в крепости. Оттон с войском задерживался в Аверсе, Людовик Анжуйский, брат французского короля, которого Иоанна объявила своим наследником вместо взбунтовавшегося племянника, на помощь не шел, а галеры, обещанные Климентом VII, прибыли в гавань, когда все было уже кончено.

Иоанна попросила о пятидневном перемирии, после которого обещала сдать крепость, если Оттон не придет на выручку.

На пятый день со стороны Пьедигротто появился Оттон с войсками. Завязалась схватка, и Иоанна, стоя на башне, наблюдала за облаком пыли, вздымаемой лошадью ее супруга там, где бой был самым жарким. Его исход долго оставался неясным; в конце концов принц, желая схватиться с врагом лицом к лицу, стал прокладывать себе путь к королевскому штандарту и врезался в неприятельские ряды так глубоко, что, окруженный со всех сторон, залитый потом и кровью, со сломанным мечом в руке, вынужден был сдаться. Часом позже Карл уже писал своему дяде, венгерскому королю, что взял Иоанну в плен и теперь ждет распоряжений его величества относительно ее участи.

Стояло ясное майское утро; королева находилась под стражей в Аверсе, Оттон был отпущен на свободу при условии, что покинет Неаполь, Людовик Анжуйский, собрав пятнадцатитысячную армию, спешил покорить все королевство. До Иоанны новости не доходили: уже несколько дней она пребывала в полном одиночестве. Весна со всею пышностью расположилась на волшебных равнинах, прозванных счастливой и благословенной землей, campagna felice. Апельсинные деревья, покрытые белоснежной благоухающей пеной, стройные черешни с рубиновыми ягодами, оливы с их мелкой изумрудной листвой, гранатник, усеянный красными колокольчиками цветов, дикая шелковица, вечнозеленый лавр

– вся эта пышная растительность, не требующая ухода человека в этих излюбленных природой местах, образовывала как бы громадный сад, который был там и сям прорезан тихими тенистыми тропками, окаймленными живой изгородью и орошаемыми подземными источниками. Этот очаровательный уголок мира походил на позабытый Эдем. Облокотившись о подоконник, Иоанна вдыхала весенние ароматы; ее подернутые влагой глаза отдыхали на ковре из травы и цветов; легкий ветерок, неся с собой благоухание, освежал ее горящий лоб и покрытое лихорадочной испариной лицо. И только далекие мелодичные голоса, напевавшие хорошо знакомую песенку, нарушали тишину убогой комнатки, одинокого гнезда, где в слезах и раскаянии угасала самая блистательная и беспокойная женщина этого бурного и яркого века.

Королева медленно перебирала в памяти всю свою жизнь с тех пор, как себя помнила: пятьдесят лет разочарований и мук. Сначала ей вспомнилось счастливое, нежное детство, слепая любовь деда, чистые и наивные ребячьи радости, шумные игры с младшими сестрами и более старшими кузенами. Затем королева вздрогнула; она подумала о своем замужестве, стеснении, утраченной свободе, горьких сожалениях; с ужасом вспомнила она о лживых словах, нашептываемых ей на ухо, чтобы посеять в ее юном сердце семена греха и разврата, которые отравили ей потом всю жизнь. Жгучие воспоминания о первой любви, вероломство и уход Робер-

та Кабанского, минуты упоения в объятиях Бертрана д'Артуа, пролетевшие, как сон, – вся драма с ее трагической развязкой огненными чертами вырисовывалась на темном фоне печальных мыслей королевы. Потом в душе у нее зазвучали крики ужаса, как в ту страшную, роковую ночь. Это был голос умирающего Андрея, просившего у злодеев пощады. За этой жуткой агонией последовало долгое молчание смерти: перед глазами Иоанны проплывали позорные телеги, на которых истязали ее сообщников. Дальше были одни преследования, бегство, изгнание, угрызения совести, кары небесные, земные проклятия. Вокруг королевы образовалась пугающая пустота: муж, любовники, родня, друзья – все, кто ее окружал, мертвы, все, кого она любила или ненавидела, перестали существовать, и ее радости, огорчения, желания, надежды исчезли навсегда. Несчастная королева, не в силах более выносить эти скорбные картины, выбросила из головы ужасные воспоминания и, преклонив колени на скамеечке, принялась истово молиться и горько плакать. Несмотря на крайнюю бледность, она была еще хороша собой: благородный и чистый овал лица, прекрасные черные глаза, освещенные огнем неподдельного раскаяния, губы, улыбающиеся небесной улыбкой в надежде на прощение.

Внезапно дверь в комнату, где Иоанна так самозабвенно молилась, с грохотом распахнулась: два венгерских барона в латах знаком велели королеве следовать за ними. Иоанна молча встала и послушно пошла за баронами, но, когда узна-

ла место, где Андрей и Карл Дураццо погибли насильственной смертью, из груди у нее вырвался крик отчаяния. Однако, собрав последние силы, она ровным голосом поинтересовалась, почему ее сюда привели. И тогда один из баронов показал ей шитую золотом шелковую ленту…

– Да свершится правосудие Господне! – падая на колени, вскричала Иоанна.

Через несколько минут страдания ее прекратились.

Это был третий труп, сброшенный с балкона в Аверсе.